

АЛЕКСАНДР ПЕШНЬ
ВАСИЛЬЕВ
О ПЕРЕМЫШЛЕ



АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ

**ПЕСНЬ
О ПЕРЕМЫШЛЕ**

ПОВЕСТИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1981

9(С)27
В19

Рецензент кандидат исторических наук **Ю. К. Стрижков**

Васильев А. С.
В19 Песнь о Перемышле: Повести.— М.: ДОСААФ,
1981.— 239 с.
85 к.

В книге рассказывается о героических делах советских бойцов и командиров, которых роднит Перемышль — город, где для них началась Великая Отечественная война.
Для массового читателя.

В $\frac{11205-021}{072(02)-81}$ 7—80 1304040200

ББК 9(с)27
722.11

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОГНЮ

Вместо пролога

Это было уже давно, в начале шестидесятых годов. В Москве в Центральном доме журналистов шло обсуждение книги писателя С. С. Смирнова, выдвинутой на соискание Ленинской премии. Приехали гости из Подмосковья, чтобы принять участие в этом вечере и отдать дань уважения писателю-гражданину.

...Сергей Сергеевич сидел за столом президиума на сцене, украшенной цветами, улыбающийся, красивый, нарядный, совсем не похожий на того Смирнова, каким я увидел его впервые лет десять назад, когда он вернулся из поездки в Брест, и возбужденно, восторженно рассказывал о том, что ему удалось найти в развалинах бывшей крепости — свидетельства небывалого героизма ее защитников. «Придется бросать службу!» — говорил тогда еще сравнительно молодой и неизвестный писатель, предвидя трудности, связанные с работой над задуманной книгой.

И вот эта работа — гигантский труд, занявший лучшую и большую часть жизни, — завершена. Перед народом во всей полноте предстала истина о Бресте, были названы имена тех, кто сражался там до последнего патрона, последнего глотка воды. Героизм небывалый. О нем говорили все: и писатели, и журналисты, и бывшие войны, и простые люди, пришедшие по поручению многочисленных коллективов поблагодарить автора.

Обычно не принято говорить о мужестве писателя, но здесь говорили и об этом. Какая-то женщина, приехавшая из рязанской деревни, произносит, заглядывая в бумажку, короткую, сбивчивую речь про то, как в их колхозе, узнав о героической смерти ее мужа-пограничника, решили на правлении вывесить его портрет в клубе, а ей и детям назначить пенсию. «Стараниями вашими, — говорит она, оборачиваясь к Смирнову, — трудом вашим неустанным...» Но, не договорив, машет рукой и, приложив платочек к глазам, поспешно идет на место.

А писатель скромн. Он говорит, что сам должен принести сердечную благодарность всем людям, которые помогли ему собрать материал о героической обороне Бреста.

В заключение выступил директор издательства, выпустившего книгу,— молодой, круглолицый, энергично поблескивающий очками. Смысл его коротенькой речи: «Брест — не конец, а лишь начало. Успешное начало большого всенародного поиска, который ныне идет и будет продолжаться. Чем больше замечательных подвигов мы спасем от забвения, чем больше героев отыщем,— тем богаче станет история нашей страны, нашего народа».

...К себе в Переделкино я приехал поздно. Шел не спеша, прислушиваясь к перестуку колес удалявшейся последней электрички. В темноте глухо шумели высокие сосны. «Э-эх,— катился надо мной неясный лесной гул, словно чей-то тяжелый вздох.— Э-эх!»

И под этот шум ночного леса само собой приходили воспоминания, отсылая к далекому прошлому.

...Это случилось на четвертый или пятый день войны. Наша дивизия, стоявшая под Кременцом почти в двухстах километрах от границы, еще не вступала в бой. Но фронт был уже близко. Он приближался быстро и неутомимо. За горизонтом в небо вздымались черные столбы дыма.

Тревожно сжималось сердце, когда мы читали сводки Совинформбюро.

Так было все эти дни. И вдруг... Я помню лес, где расположился штаб нашего арtpолка, сосны в косых лучах предзакатного солнца и радиста, бегущего с только что полученной сводкой в руке. «Победа!» — радостно кричал он. А в сводке была лишь одна обнадеживающая строчка: «Стремительным контрударом наши войска овладели Перемышлем». Где этот город? Командир полка пожилой подполковник Логунович попросил меня, своего, как он называл, неофициального порученца, принести из машины атлас. Мы все, кто был тогда в штабе, склонились над картой. Вот Западная Украина, вот Кременец, а вот, на самой границе, Перемышль.

Затаив дыхание, мы смотрели на маленький кружок, перерезанный голубой полоской реки. Кто-то из «стариков» вспомнил первую империалистическую войну:

«Тогда под Перемышлем русская армия нанесла удар по врагу, сорвала его планы». Комиссар подхватил: «Так же может произойти и сейчас. Надо немедленно рассказать об этом победном контрударе в подразделениях, провести беседы. Жаль, что в сводке не упоминаются ни номера частей, ни фамилии героев».

Помню, как мы все воспрянули духом.

Перемышль! Он еще долго светил нам, как яркая звездочка среди хмурого неба первых дней войны.

Сражение с врагом было жестоким, но силы неравны. Закованные в железо гитлеровские полчища теснили нас. Но видя, как тянутся по дорогам толпы людей, покидающих родные места, только чтобы не попасть в неволю, слыша, как жалобно скрипят повозки, плачут дети, ревет скот, как беспомощно кружатся над свежими пепелищами большие белые птицы с опаленными крыльями и стонут, кричат, отыскивая годами насиженные гнезда, как черным тяжелым дымом уходят в небо еще недавно так бдительно охраняемые нами, а теперь нами же подожженные запасы нефти, хлеба,— видя все обидное и горькое для нашего сердца, мы жадно, больше, чем пищи, воды, тепла, даже больше, чем жизни, жаждали одного — повернуть врага вспять. Ведь смогли же это сделать наши там, в Перемышле!

Жарким июльским днем — полк уже прошел с боями километров сто, а может, и больше — мы вступили в бой с вражескими танками, без доброй половины орудий, с почти пустыми зарядными ящиками. Врагу удалось окружить нас, мы бились до последнего снаряда, подожгли несколько танков... Но связь полка со штабом дивизии была прервана. Подполковник, собрав командиров подразделений, приказал пробиваться малыми группами. Мне и шоферу поручили уничтожить ненужное теперь штабное имущество. Мы загнали машину, нагруженную мешками и ящиками с документами, в болото и, облив бензином, сожгли.

С полмесяца мы шли по пыльным украинским шляхам, то и дело сворачивая в леса. Ночевали на сеновалах заброшенных хуторов или прямо в стогах, спали чутким сном, сжимая в руке револьвер.

Где-то уже на Киевщине, возле села Украинка, наша группа вышла к Днепру. Сивоусый лодочник переправил нас на другой берег, там перед нами, как из-под земли,

выросли два красноармейца с суровыми лицами: «Руки вверх!». Однако, убедившись, что мы свои, бдительная охрана сопровождала нас к спрятанной неподалеку в укрытии машине, которая отвезла всех в тыл.

И вот мы на пункте формирования в Броварах, неподалеку от Киева.

По радио передают указ о награждении какой-то девяносто девятой стрелковой дивизии. Музыка. Стихи. У репродуктора толпа, все слушают с восхищением, обмениваются репликами. «Подумать только: первая орденосная из всех с начала войны! — говорит с легкой завистью один из слушавших, высокий, худой, с запавшими щеками мужчина в штатском, но с выправкой кадрового военного.— Везет этой девяносто девятой!» «Ну знаете, Суворов сказал: раз везет, два везет, помилуй бог — надобно и уменье! — возражает ему седой полковник в пенсне.— А то, что девяносто девятая умеет воевать, она доказала еще в Перемышле...» Я невольно настаораживаюсь: так, значит, вот кто там сражался!

На следующий день приносят газеты. Они тоже заполнены описаниями подвигов «Первой Краснознаменной». Теперь уже можно не сомневаться, что это она вместе с пограничниками и другими приданными частями остановила врага на границе, а затем, получив приказ об отходе из Перемышля, совершила беспрецедентный многокилометровый марш, прорвав несколько вражеских колец и заслонов.

По казармам ходят агитаторы из политотдела, читают вслух очерки, рассказы, стихи. «Навеки овеянный славой крылатой, да здравствует путь девяносто девятой!» Мы вглядываемся в фотографии героев. Ничего особенного в них нет — люди как люди, такие же, как и мы. И всем нам хочется скорее на фронт!

А он километрах в двадцати пяти, на той же стороне Днепра. Оттуда доносятся далекие глухие взрывы. Иногда в небе появляются вражеские корректировщики. Мы уже хорошо знаем этих «стрекоз» — следом за ними начинает бить тяжелая артиллерия. Но снаряды не долетают до нас.

В ожидании назначения мы читаем газеты. В них еще пишут о 99-й. А потом вдруг умолкают.

...Вскоре, уже на фронте, я снова услышал об этой прославленной дивизии.

Под Киевом, в районе села Жуляны, шел бой. К нам в штабной блиндаж привели пополнение — угловатых новичков в необмятых гимнастерках. Они толпились у стола, где писаря заполняли учетные карточки, и с беспокойством озирались на дверь, за которой грохотали взрывы.

Но один боец вел себя как-то странно, почти безучастно. Он стоял в стороне, привалившись к бревну, подпиравшему накат, и курил. У него не было ни вещмешка, ни сумки с противогазом, только трофейный автомат и такой же нож, засунутый за голенище. Я обратил внимание на его лицо со впалыми щеками и большим хрящеватым носом, мне показалось, что где-то я его уже видел.

Наконец очередь дошла до него. Писарь быстро, не глядя, записал фамилию, имя, отчество...

— Наград, конечно, нет?

— Есть. Медаль «За отвагу».

Писарь поднял голову.

— Ты уже воевал!.. А в какой части?

— В девяносто девятой, Краснознаменной.

Так вот откуда он!

Меня словно толкнуло к нему — поговорить, расспросить о боях, узнать, за что он получил награду. Но солдат быстро подхватил свой автомат и побежал догонять строй.

...Все это вспомнилось, когда я шел по ночному лесу. Картины вставали перед глазами живо и ярко, будто бы не прошло двадцати с лишком лет... Почти четверть века отделяла меня, уже пожилого человека, от того девятнадцатилетнего юнца, который встретил тогда под Киевом человека из легенды. Но прежний интерес не погас. Наоборот, я чувствовал, что он загорелся с новой силой. «Жив ли этот герой? — билось в мозгу. — И живы ли другие?»

Разбуженные на рассвете

Советский Комитет ветеранов войны. Только что закончилась какая-то встреча, где я в который уже раз пытался получить ответ на интересующие меня вопросы. Нет, и здесь никого не было из бывшей «девяносто девятой».

«Опять не повезло!» — думаю, направляясь к дверям. Кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь. Передо мной рослая женщина с круглым загорелым лицом и проседею в волосах.

— Мой муж служил в этой дивизии,— и чуть смущаясь моей радости, добавляет:— Только сама я о ней почти ничего не знаю.

Но и это для меня находка! Крепко жму ее руку, смотрю, куда бы нам сесть. Находим в полутемном коридоре укромный уголок, и беседа начинается.

Жещину зовут Варвара Артемовна Грисенко. Она из Днепропетровска — там родилась и теперь после долгих странствий по белу свету снова живет на прежнем месте.

— Словно и жизни не было,— слышу се ровный, спокойный голос и вижу белую полоску мелькнувших в улыбке зубов.— А помотало меня не дай бог! И партизанила и в гестапо сидела... Есть что вспомнить на старости лет.

Чувствую, что ей очень хочется рассказать не только о войне, но еще о чем-то для нее дорогим и неповторимом. И она рассказывает.

...Приехала в Перемышль летом 1940 года. По вербовке, как вольнонаемная, в одну из военных строительных организаций. Почему именно в Перемышль, она сейчас не помнит. Да и тогда, наверное, не знала точно. Просто тянуло по молодости в дальние края. А тут еще говорили, что в Западной Украине, которую недавно, год назад, освободили от панов, жизнь какая-то особенная, чудная, вот и поехала посмотреть.

И правда, попала она словно в другой мир. Городок старинный, чистенький, улицы узенькие, вымощенные каменными плитками, а дома высокие, под черепицей. Много церквей и монастырей. Начнут в колокола звонить — хоть уши затыкай. И попов в городе было много. А еще больше военных.

— Ну, обвыкла, поосмотрелась. Город пограничный: бóльшая его часть — наша, советская, а меньшая — Засанье — была оккупирована фашистской Германией. Граница проходила по реке Сан, небольшой реке шагов в сто шириной. Через реку мост — высокий, чугунный, на две железнодорожные колен, у каждой арки с той и другой стороны пограничные будки. Наша — зеленая, с красной звездой, у немцев — полосатая, черная с белым.

По набережной гражданским ходить запрещалось: там была «зона» и шло строительство дотов. Вот в этом самом управлении, которое их строило, я и работала машинисткой. Работали мы, вольнонаемные девчата, дружно, весело,— говорит женщина.— Иной раз до поздней ночи стучали на машинке, а усталости не чувствовали. Потому что молодость. И еще замуж выйти успела.— Она машет рукой и вдруг вопросительно смотрит на меня.— Может, вам это неинтересно?

— Рассказывайте, Варвара Артемовна, все рассказывайте.

В ее глазах мелькает озорной огонек.

— Глупая я тогда была. А хитрая! Пошли мы как-то в кино с подружкой — тоже вольнонаемной, ее Марией звали. А там к нам перед сеансом два лейтенанта подошли. Откуда, мол, вы, девушки, такие красивые, как вас звать и где вы работаете? Ну, я Марию толкнула в бок и говорю им, что мы грузчицы со станции. Они вроде поверили. Один лейтенант, высокий, красивый, пошел с Марией. А со мной пошел другой лейтенант, который посерьезнее. И росточком поменьше, так невидненький. Я тогда на него даже внимания не обратила. Ну сели мы, картину смотрим. Он молчит, и я молчу. Он мне только сказал, что его Василием зовут. Так и просидели весь сеанс молча.

Вышли из кино все вместе, лейтенанты нас до дому проводили Мария их на чай пригласила. А дома у нас холодно было. Я, как пришла, села на кровать, накрыла ноги одеялом и сижу, книжку читаю. Мария со своим лейтенантом стали печку растапливать и чайник поставили. А этот Василий ко мне подсел и смотрит на меня, смотрит и руку мне гладит. А рука у меня тогда была не такая, как сейчас, помягче. Вот и говорит: «Зачем же вы меня, Варя, обманываете? Вы же не грузчица». Так он это жалостливо сказал, что я не нашлась даже, что ответить. Но когда, уходя, он попросил разрешения завтра прийти, я разрешила.

Стали мы встречаться. А весной сорок первого расписались и я перешла жить в его квартиру.

Многие нашей жизни завидовали. Василий водки не пил, гулянками не увлекался. Мне с ним не было скучно. Как у нас вечер свободный, так он предлагает: «Пойдем, Варенька, побродим немного». Мы шли обычно на

Замковую гору — это в Перемышле так называется гора, где стоит старинный замок какого-то короля или графа. А вокруг замка большой парк. Вот и бродим мы по дорожкам и говорим, говорим... А то залезем на башню и смотрим на ту сторону Сана. Там немцы. Ходят их офицеры важные, как гусаки, в лаковых сапогах и с тросточками. Или дамы — нарядные, в широких шляпах. А иногда проедет карета с кожаным верхом. Я еще мечтала: «Вот бы в такой карете покататься!» А Василий смеялся: «Подожди, Варя, когда мы с тобой до золотой свадьбы доживем, я тебе еще лучше карету подарю, тоже из золота!»

Так мы и прожили три с половиной месяца. Двадцать первого июня, в субботу, помню, наше городское начальство решило в Замковом парке праздник устроить, почему — не знаю. Только народу там собралось — масса: и военные, и гражданские. В ларьках чего только не было: и шоколад, и апельсины, и вина разные, одного птичьего молока не хватало. Ну танцы, конечно. Музыка играла, фейерверки пускали. Одним словом, чтобы все любовались на нашу мирную жизнь. Мы с Василием тоже там были, но только часов до десяти. Его товарищи нас в ресторан звали, но он не пошел. «Мы, — говорит, — лучше с Варюхой по-семейному, дома поужинаем».

Вдруг ночью взрыв. Я глаза открыла, вижу — рассвет, красное солнце в лицо бьет, больше ничего не разберу. Только грохочет вокруг и дом ходуном ходит. А Василий уже собирается: «Это, Варя, война!» Так и сказал уверенно, будто знал. Быстро натянул гимнастерку, схватил сумку и — к двери. Но вернулся, поцеловал меня и приказал немедленно бежать за ним, в его часть. Я оделась кое-как. Выбежала из дому, а по улице бегут такие же, как и я, — кто полуодетый, кто просто в нижнем белье. Кругом снаряды рвутся, дети плачут.

Служил он в автороте. Когда я добежала до нее, Василия там уже не было. Нас, женщин, сразу же погрузили в автобусы и повезли за город. Я поехала в Днепропетровск к родителям...

Варвара Артемовна сидит, опустив глаза, старательно разглаживает складку на платье.

— А что же дальше было с вашим мужем?

— Убили его, — просто и как-то очень спокойно го-

ворит она:— Уже за Проскуровом встретила я случайно его ординарца. Сначала не узнала: был мальчик, а здесь ко мне подошел ну прямо, как старик — обросший весь, черный и худой-худой. Он меня сам узнал, подбежал с шинелью в руках, говорит: «Вот возьмите, это Василь Никитича шинель». И убежал обратно в колонну. А я посмотрела — вешалка, что я ему перед войной пришивала, оторвана, воротник в крови, и так мне дурно стало, еле до вагона добралась...

...Мы выходим на улицу. Женщина идет крепкая, осанистая, и уже кажется, что не было с ней сейчас тяжелого разговора. А я боюсь одного: расстанемся, и ниточка оборвется.

Спрашиваю, как называлась организация, где она работала.

— Строительное управление восьмого Перемышльского укрепрайона.

— А людей помните? Хотя бы кого-нибудь из командиров?

С минуту она сосредоточенно думает, потом неуверенно называет несколько фамилий.

— Запаятовала уже, наверное, склероз.— Она с досадой стучит себя по лбу.

И, тряхнув мне руку, бежит к переполненному автобусу, прыгает на подножку.

«И грянул бой»

Жаркий летний полдень. Я иду по Киеву и узнаю и не узнаю его. Этот город и раньше казался мне прекрасным, но сейчас он еще лучше... Вот Крещатик — многоэтажный, светлый, весь какой-то сверкающий. С трудом нахожу дом с башенкой, который я запомнил еще тогда, когда нас, прибывших из Броваров, сажали здесь на машины и отправляли на фронт... А вот бульвар, та же литая чугунная решетка и два ряда тополей, стоящих плотно, как солдаты в строю. По этому бульвару в тревожную осень того же сорок первого года мы шагали, оставляя Киев.

Это было ночью, где-то недалеко рвались снаряды, выбрасывая высоко, до самого неба, оранжево-черные сполохи огня. Моросил дождь. И деревья стояли молча

в своих рваных, порыжевших одеждах, словно предчувствуя беду... А сейчас они чуть покачиваются под легким игривым ветром, блестят на солнце густой клейкой листвой. И как будто не было ничего — ни войны, ни моей молодости, а вечно был этот мир, шумный и пестрый, немного ленивый от жары, погруженный в тысячи повседневных забот и служебных обязанностей.

Маслюк живет в пригороде. Здесь тихо. Домик утопает в зелени, золотятся стройные стволы сосен, жужжат над цветами шмели, кудахчут куры. Румяная черноглазая женщина варит варенье из клубники. Из медного таза струится сладковатый запах, привлекает пчел. Сам Дмитрий Матвеевич тоже хозяйничает — вооружившись молотком, чинит наличники на окнах. Он без рубахи, в стоптанных тапочках на босу ногу — ни дать ни взять добродушный, неторопливый сельский «дид», всю жизнь только и занимавшийся плотницким делом...

Но это первое впечатление. Хозяин легко соскакивает с завалинки и оценивающе смотрит на меня. А я смотрю на него. Нет, он вовсе не «дид» и даже не «дядько». Правда, немного огрузнел, но мышцы рук упруги, кисть небольшая, крепкая, поигрывает молотком. Я мысленно прикидываю на него военную форму: наверное, бравый был командир.

Садимся в беседке. Хозяин говорит о себе: служебная лестница давалась ему легко, начальство его замечало. В армию он пошел еще мальчишкой, участвовал во многих походах, во время осенней кампании 1939 года получил звание полковника. Перед войной, еще не дотянув до сорока, был назначен на «генеральскую» должность — стал командовать Перемышльским укрепрайоном, который до этого сам же начал строить.

Участок у него был ответственный. Дмитрий Матвеевич называет Перемышль «роковым городом». «Всегда, и в прежние войны, ему доставалось,— говорит он.— А почему? Потому, что там узел коммуникаций: железная дорога, шоссейные дороги, мосты через Сан, а перед войной был еще проложен главный телефонный кабель, по которому велись государственные переговоры».

Он рассказывает мне о том, как осенью 1939 года началось строительство новой системы оборонительных сооружений на границе.

Пограничную полосу разбили на ряд укрепрайонов —

только один из них, Перемышльский, тянулся на сто с лишним километров по извилистому берегу Сана.

— Работали, не щадя сил, торопились. Мы же, те кто служил на границе, все видели — и как немцы устанавливают орудия на господствующих высотах, как ведут визуальную разведку, разгуливая с биноклями и планшетами вдоль берега Сана. Они действовали нахально, в открытую, почти не маскируясь... Их самолеты летали над нашей территорией и фотографировали. Приказы из Москвы строго предупреждали — не давать малейшего повода для возникновения конфликта.

Вечером двадцать первого июня, — продолжает он, — мне сообщили из Киева, что к нам направлен поезд со взрывчаткой. «Саперам приказано начать немедленно минировать границу на всем протяжении укрепрайона». Сказано было коротко, никаких разъяснений. И только поздно ночью получили приказ срочно привести в боевую готовность войска... Сели мы с начальником штаба за стол, я диктую, начштаба пишет. Но только — помню, как сейчас — он вывел первые две буквы «Пр...», как раздался выстрел. И сразу с той стороны Сана ударили десятки орудий. Четыре снаряда — один за другим — разорвались тут же, во дворе. Посыпались стекла, раздался крики. Мы выбежали на балкон, смотрим: Перемышль в дыму! Снаряды рвутся в разных местах города, но именно там, где важнейшие военные объекты — казармы, склады, гаражи... В районе госпиталя тоже все заволочло дымом... Но я взял себя в руки, надо же дописать приказ! Вернулся к столу, продолжаю диктовать. Разумеется, кое-где уже пришлось поправки внести согласно обстановке... Закончил, хочу передать по рации, а радист докладывает, что в радиостанцию попал снаряд, рация вышла из строя. Я — к телефонистам, те отвечают: «Связь не работает, провода или перебиты, или перерезаны». И все это произошло буквально за какие-нибудь минуты. Что делать? Остается одно: отправить приказ с посыльным. Прикидываю обстановку. Часть дотов здесь же, в Перемышле, — туда приказ дойдет быстро. Другая группа дотов неподалеку, на востоке, в районе села Медыки, — это в тылу, добраться несложно. Но большая часть линии протянулась на юго-запад, до городка Лиско, почти на сотню километров... Что там, думаю, и как? По берегу дорога короче, но

вдруг она тоже простреливается немцами, тогда по ней не пройдешь — убьют. Приказываю идти по двое, пробираться скрытно, по-за холмами и любой ценой доставить приказ. А тут еще женщины прибежали, многие с детьми на руках. Кричат, плачут...

С большим трудом навожу порядок. Женщин и детей приказываю отвести в укрытие, в подвалы. Затем пытаюсь связаться с командованием полевых войск. Некоторые из них уже заняли свои заранее подготовленные КП, приводят в боеготовность войска, ждут приказа об открытии огня.

Я тоже решил последовать их примеру и перебраться на свой командный пункт, который находился за городом в районе соляных копей... Но прибегает связной, докладывает: «Немцы готовятся форсировать Сан». Я сначала не поверил. Захотел посмотреть сам. Беру с собой несколько штабных командиров и иду в одну из укрепленных точек к самому берегу. Выходим. Вокруг рвутся снаряды, а с чердаков строчат пулеметы и автоматы — это уже действует «пятая колонна». Кто-то падает убитый. Пробираемся, прижимаясь к стенам домов. Приходим. Здесь есть связь с соседними дотами: из «точки» проложен под землей бронированный кабель. Узнаю, что мой приказ получили. Подтверждают данные связного о подготовке немцев к переправе. Значит, и там тоже... Смотрю в перископ. Все правильно: немцы сгруппировались на берегу, тащат надувные резиновые лодки, спускают на воду. Их много, вероятно, целый полк. Погружаются. Плывут.

Наступает критическая минута.

Связисты соединили меня с командиром стрелкового корпуса генералом Снеговым. Докладываю о действиях немцев, спрашиваю: «Как мне поступить?» Но Снегов рассердился: «Все указаний ждете? Принимайте решение сами в соответствии с обстановкой». Это мне сразу развязало руки. Ну я и решил: если немцы дойдут до середины реки — открою огонь. Ждем. Смотрим. Они плывут. Растянулись широко. На каждой лодке по шесть-семь человек с пулеметами и минометами. Но пока не стреляют. Я в перископ различаю даже лица плывущих на ближайших лодках. Парни молодые, здоровые, рукава мундиров закатаны по локоть, — как на пикник едут... Даю команду: «Огонь». Первый ответный

залп! То был как вздох... Реку заволокло дымом. Когда он рассеялся, вижу: чистая река, где-то вдали несколько пустых резиновых лодок беспомощно кружатся на стремнине... Скажу честно: стало мне в этот момент как-то не по себе от сознания, что началась война!

«Война!» — я ловлю себя на мысли, что мой собеседник впервые упомянул это слово.

Маслюк продолжает:

— Примерно через час немцы повторили попытку форсировать Сан уже под прикрытием массированного огня артиллерии. Они вывели на берег танки, подтянули бронепоезд. Все же мы потопили и этот десант... В полдень снова звоню — докладываю генералу Снегову: так, мол, и так, война уже идет вовсю. А он вдруг отвечает: «Теперь, брат, она у всех нас идет, у всей страны. Только что Молотов по радио выступал». И вдруг через час — другая новость. Из дотов, с правого фланга, сообщают: противнику удалось форсировать Сан. Это примерно в десяти километрах от нас на восток, недалеко от Медыки... Вот тебе и на! Решаю немедленно идти на командный пункт. Прибыл на командный пункт к двум часам дня. Запрашиваю Медыку: как дела? Мне отвечают: немцы окружили несколько наших дотов, обкладывают толлом, сейчас будут взрывать... Снова звоню командиру корпуса, прошу дать артогонь в этот район. А ребятам говорю: «Держитесь!» И вскоре слышу, как начали бить наши орудия. Немцев отогнали. Но и нашим досталось от немецкой взрывчатки и от своих же снарядов. К вечеру, когда я прибыл туда, хлопцы повывезли из дотов, как чумные...

— Ну а сам Перемышль, — спрашиваю я, — что же было там после того, как вы оттуда ушли?

— Там? Немцам все-таки удалось переправиться через Сан, где точно не знаю, это могут сказать только пограничники, но к полудню центр города и основные объекты: мост, почта, телеграф и другие — были заняты врагом.

— Значит, город фактически сдали?

— И да и нет... Дело в том, что, заняв центр, немцы натолкнулись на подготовленный пехотинцами оборонительный рубеж. Девяносто девятая дала отпор. К тому же противник за день выдохся. Ведь он не был готов к такому сопротивлению. Не было еще нигде, чтобы гит-

леровцев выбили из занятого ими населенного пункта. Они же хвастались: «Куда ступила нога немецкого солдата, там она будет стоять тысячу лет!» А вот тут не получилось. Вышибли их из Перемышля и буквально на другой день. Причем, заметьте, ровно час в час!

Но, перейдя к описанию контратаки, Дмитрий Матвеевич предупреждает, что может сказать о ней лишь в общих чертах с точки зрения человека, находившегося в сравнительном отдалении от главных событий.

На флангах укрепрайона тоже шли ожесточенные бои. Маслюк рассказывает, что в районе той же Медыки он попросил пехотинцев отбить атаку группы немцев, вышедших к его дотам. Они поднялись, не мешкая, и во главе со своим комбатом двинулись на помощь. Завязался ожесточенный бой.

— Штыковая атака в масштабе батальона — такое я видел впервые! — говорит Дмитрий Матвеевич. — Это невозможно забыть. Наши бойцы были героями. Пятнадцать фашистов взяли в плен.

И мой собеседник вспоминает о том, как он допрашивал первых пленных, доставленных к нему на командный пункт. Особенно ему запомнился один из них — белокурый фриц лет двадцати семи, изрядно помятый в схватке, тем не менее самоуверенный, без тени страха. Он сидел, закинув ногу на ногу, видимо, подражая кому-то из своих начальников, курил предложенную ему папиросу и охотно отвечал на вопросы. Сказал, что он берлинец, до армии работал слесарем, женат, жена прачка и пока живет в подвале.

«Что значит пока?» — поинтересовался Маслюк. Парень усмехнулся: «Скоро война кончится, и мы переедем в наше русское поместье». Полковник подумал, что это шутка. Но немец не шутил. Оказывается, фюрер заранее обещал каждому из участников похода на Россию по пятьдесят гектаров пахотной земли и крупную сумму денег. «А фюрер всегда исполняет то, что говорит! — добавил пленный. — Например, после победы над Францией мы получили по ящику отличного вина и радиоприемнику».

— Мне было противно слушать разглагольствования этого фашиста, — морщась, признается Маслюк. — Мы не обещали нашим бойцам ничего, но они уже на второй день войны превзошли противника и смелостью, и бое-

вой выучкой. А терпение, находчивость, верность присяге — все это в полной мере проявили те, кто находился в дотах, но в первые часы были лишены взаимосвязи и, случалось, управления с КП.

По его словам, даже в таких условиях уровцы и взаимодействующие с ними бойцы и командиры из других подразделений нанесли врагу немалый урон. Держали под обстрелом дороги, мосты, переправы, не давали подбрасывать подкрепления. Словом, делали все, что могли. Уже потом, после отхода из Перемышля или после войны, стали известны случаи, когда окруженные в дотах бойцы сражались до последнего снаряда. «Если бы собрать все это! — Дмитрий Матвеевич кивает на мой магнитофон. — На годы хватило бы писать».

Но Дмитрий Матвеевич не знает о дальнейшей судьбе героев. После Перемышля его перебросили на другой участок фронта. А после войны он вышел в отставку, занялся, — хозяин с улыбкой показывает на пасеку, — мирными делами.

Я убираю магнитофон, поднимаюсь, благодарю. Маслюк провожает меня на крыльцо. Уже вечереет. Румяная женщина сливает варенье в банку, смеясь, отмахивается от пчел.

— Отож спасенья от них нет! — говорит она мужу. — Ты б развел свой дымарь, покурил трокси. Тю, проклятые! — машет она. — Геть!

— Сама справишься! — подмигивает хозяин и снова поднимается на завалинку.

Иду по тропинке, вдыхая душистый медовый запах. Женщина запекает песню. И я еще долго слышу ее высокий грудной голос...

Они шли впереди

...А этот человек стоит у меня перед глазами таким, каким был в свой лучший, или, как теперь говорят, звездный час жизни. Вот он, прославленный в книгах и газетных статьях, выступавший уже не раз с высокой трибуны совещаний и слетов, получивший, пусть с некоторым опозданием, все положенные ему почести, — Александр Николаевич Патарыкин только что вернулся из Пшемысля, куда ездил с группой боевых друзей по при-

глашению польских пограничников,— рассказывает о своих впечатлениях. «Сколько лет там не был, а все узнал — каждый уголок, каждый дворик, где хоть раз проходил. Дом наш старый цел, только числится по другой, большой, улице. А на берегу Сана, у моста, уже памятник стоит. И пост там поляки выставили — все честь по чести!»

Он весел, оживлен, обрадован теплым приемом, и, глядя на него, я думаю, что в народе недаром говорится: счастье красит человека. И раньше-то, года два или три назад, когда мы впервые встретились, Александр Николаевич выглядел бодрым и молодежавым. Но не было тогда в его глазах какой-то дерзкой торжествующей искорки, по которой угадывается праздник души. Сейчас весь он словно в полете. Румяное лицо дышит энергией, морщинки, если и были, разгладились.

А тут еще один подарок, еще один виток счастья. Местные власти приняли решение о присвоении Александру Николаевичу звания почетного гражданина Великого Любенья, где когда-то, в сорок первом, в жаркий летний день... Впрочем, об этом разговор еще впереди. А пока смотрю на моего доброго друга и откровенно люблюсь им. Трудно ему, человеку от природы скромному, простому, быть в центре внимания. Но он держится прекрасно, без натянутости или суетливости, и только глаза светятся. И уже не искорки горят в них, а целое солнце.

Есть от чего гореть! На площади собралось чуть ли не все население Любенья и окрестных сел. На трибуне рядом с героем представители властей и старейшины этих мест, все видевшие и перевидевшие, и потому степенные и важные, как апостолы. Вдоль изгороди белой шеренгой выстроились школьники в красных и синих шелковых шапочках, с красными галстуками, нарядные и торжественные. Волнуются учителя, заботясь о соблюдении ритуала. Волнуются родители: как бы их чада, кому поручено приветствовать героев, не сбились с шага, не запнулись, читая поздравление, написанное школьными поэтами под руководством учителя литературы.

Но все идет как положено. Дорогим гостям вручают тисненые золотом папки и надевают через плечо голубые ленты с надписью «Почетному гражданину». За ни-

ми, старательно пытаюсь шагать в ногу, подходят пионеры во главе с вожатой и начинают читать стихи. Читают долго, на разные голоса — кто ломающимся баском, кто дискантом, иногда от волнения пуская петуха, но все это трогательно, и я вижу, что Александр Николаевич едва сдерживается. Но кое-кто из публики, смущенно улыбаясь, лезет в карман за платком и смахивает слезу.

Заканчивается чтение стихов, и героям по местному обычаю дети вешают на грудь большую гирлянду цветов. В полевые лютики и ромашки вплетены белые и кроваво-красные розы, как символ подвига, совершенного на этой земле пахарей и садоводов. Приподнимается на носки маленькая девочка с косичками, поправляя на груди Александра Николаевича гирлянду, и он берет ребенка на руки, целует. Разрядами грозы беззвучно сверкают блицы, шуршит кинокамера. Оркестр играет туш. И катится по рядам дружный шквал рукоплесканий.

...А теперь вернемся на несколько лет назад, в Дарницу, новый район Киева, застроенный многоэтажными домами.

Вот он — проспект Гагарина, дом номер три.

Стучусь в дверь. Ответа нет. Прислушиваюсь. В квартире тишина. Только где-то далеко тикают ходики...

По лестнице поднимается женщина с тяжелой сумкой в руке.

— Вам Александра Николаевича? — говорит она.— Да он, наверное, еще спит. А вы хорошо стучали?

— Хорошо.

— А ну-ка, подождите, я попробую.

Но за дверью по-прежнему молчание.

— Значит, сегодня он работает. Или ушел в лес,— уверенно заключает женщина. Это соседка Патарыкина и всё знает.— Если он не работает и не спит, то обязательно в лесу. Его жена с детьми к родственникам уехала, у нее отпуск, а дома ему одному скучно. Вот и ушел в лес по грибы или по ягоды. А то просто так. Очень он природу любит. Мы с мужем тоже часто вместе ходим с ним и его семьей. Так я все на него люблюсь. Сядет наш Александр Николаевич на какой-нибудь замшелый пенек и рассматривает — каждую травинку, бабочек, муравьев. Человек тихий, мирный, не то что иные мужчи-

ны, которым только бы напиться и «козла» забить. Никогда даже голоса не повысит.

Вдруг она спохватывается.

— Да, уж простите. А зачем, собственно, вам Александр Николаевич понадобился?

Приходится объяснить.

— Александр Николаевич — герой? — переспрашивает она. — Ну, знаете ли, первый раз слышу. Да он, моему, и в войне-то не участвовал.

Вот тебе раз! Достаяю из кармана письмо, полученное из архива погранвойск. Или я что-то напутал?

Соседка пожимает плечами.

— Верно, и фамилия, и адрес... — И все-таки машет рукой. — Значит, там напутали!

Довод у нее довольно веский: ее муж приглашал как-то Патарыкина с собой на охоту, но тот отказался, сказав, что стрелять не умеет.

Решаю, однако, повидаться с этим человеком.

Женщина говорит, что работает он неподалеку отсюда, на маслозаводе диспетчером. И объясняет дорогу, глядя на меня с некоторым сожалением.

Я выхожу, сажусь на трамвай и еду на маслозавод.

Завод виднеется издалека. За голубым забором дымит труба. В широко распахнутые ворота въезжают машины с цистернами. Девушка на проходной будке поднимает телефонную трубку. «Сашко? До тебе пришли. Чтоб зараз на проходную!»

«Интересно, какой он?» — гадаю я, покуривая. По тому, что я слышал о Патарыкине, представляю его высоким, широкоплечим, немного суровым на вид...

Не проходит и минуты, как из цеха выбегает и направляется ко мне человек в синем комбинезоне. Небольшого роста, полный, он катится, как шарик, на бегу вытирая тряпкой замасленные руки. Лицо у него смущенное, на лбу испарина.

«Не он! — решаю я. — Конечно, произошла ошибка».

Мужчина извиняется, что не может пожать мою руку. «У нас там, знаете, машины, масло. А вы... вас... зачем я вам понадобился?» Показываю ему письмо. Он читает, и на его лице выступают красные пятна.

— Ошибки нет, — говорит он, — я служил в Перемышльском погранотряде. — И почему-то смущается. — Только какой герой... Товарищи мои — вот герои. Рас-

сказал бы вам, только не сегодня, а завтра. Завтра я от работы свободный. И жена с детьми из деревни вернется. Приходите, а? — Он смущенно разводит руками. — Здесь мне кабинета не положено.

...На другой день поднимаюсь по знакомой уже лестнице чуть раньше назначенного времени.

Звоню. Дверь распахивается. Хозяин, полуголый, в белой майке, всплескивает руками и, охнув, кричит:

— Мария, дай мне скорее рубашку!

Поспешно надевая белоснежную сорочку, Александр Николаевич суетится, объясняя, что только вернулась жена с детьми и в доме такой беспорядок, такой беспорядок, что даже не знаешь, куда провести гостя. Может быть, в эту комнату, а может быть, в эту. Нет, пожалуй, все-таки лучше будет в столовой, здесь и светлей и из большого окна открывается вид на Днепр и знаменитые мосты...

Но хозяин зря беспокоится — никакого беспорядка в квартире нет. Знакомлюсь с хозяйкой, тоже полной, загорелой и словоохотливой, Марией Емельяновной, с двумя дочерьми — ученицами старших классов, с «продолжателем фамилии» сыном Колей. Девушки, высокие, тоненькие, с модными челочками, сдержанно поздоровавшись, скрываются в своей комнате, а мы вчетвером — я, хозяин, хозяйка, ну и, конечно, Коля — усаживаемся за стол.

— Так у нас всегда, — говорит хозяйка. — Молчат, молчат, а потом вдруг вспомнят. А я этот Перемышль век не забуду. В свое время еле ноги оттуда унесла...

— Ладно уж, — весело перебивает хозяин. — Ты лучше покажи фотографии. Пусть товарищ посмотрит, какие мы с тобой тогда были.

Мария Емельяновна достает из шкафа потертый альбом, в котором сохранилось несколько довоенных фотографий.

— Это папа! — солидно поясняет Коля, тыча пальцем в молодого военного, лежащего на траве. Но фотография пожелтела, и, кроме фуражки, портупеи и сапог, я ничего разглядеть не могу. — А это тоже папа...

Ого! Теперь я вижу, каким был Патарыкин в молодости. Двое красавцев — один черноусый, с кавказским лицом, другой круглолицый крепыш — браво сидят на лошадях на фоне какой-то средневековой башни. Я вспо-

минаю рассказ Варвары Артемовны Грисенко о ее прогулках на Замковую гору и догадываюсь: так вот эта самая башня!..

«Да, это она»,— радостно подтверждают супруги Патарыкины. И наперебой рассказывают мне историю своего знакомства, как две капли воды похожую на ту, что рассказала мне та же Варвара Артемовна Грисенко. Разница только в деталях. Мария Емельяновна за год до войны окончила планово-экономический институт в Харькове и была направлена на работу в Перемышльский горком партии. Когда она познакомилась с Патарыкиным и молодые люди решили пожениться, то Патарыкин должен был «согласовать» этот вопрос в политотделе и еще каких-то инстанциях.

— У нас, пограничников, такой порядок был,— поясняет Александр Николаевич.— Семь раз отмерь, один отрежь. Чтоб невеста была, как в сказке, со всех сторон без изъяна.

— Правильно.— Хозяйка подмигивает.— Вот и не ошибся.

Мы все трое смеемся.

— Ты, папа, лучше про шпионов расскажи! — говорит Коля, недовольно хмуря брови.

— Что ж, можно и про шпионов,— соглашается отец.— Так вот, был я к тому времени уже начальником погранзаставы, которая несла охрану границы в самом Перемышле...

И Александр Николаевич рассказывает о своей службе. Она была напряженной, как и сама обстановка, сложившаяся в этом районе. «Что ни день, то нарушение границы,— вспоминает он.— А иной раз и несколько в день. И знаете, сколько нарушителей границы мы задержали за один последний, сороковой год? Около полутора тысяч! Это только наша застава. Был у нас такой боец Струков — мы его «снайпером-крысоловом» звали — он один задержал более трехсот. Талант!.. И диверсии тоже были: фашисты не раз пытались перерезать связь между дотами, взорвать подземный кабель, поджечь нефтехранилище. Нюхали, где и что у нас спрятано. Но мы их вовремя за руку хватали. Ребята у меня на заставе были отличные, один к одному, орлы!»

Александр Николаевич достает из альбома еще фотографию, на которой он снят вместе с группой бойцов.

С гордостью показывает мне, называя фамилии. Но и эта фотография уже истлела, и лица почти неразличимы — видны только сапоги и фуражки. Да точки вместо глаз...

Однако бывший начальник заставы узнает каждого безошибочно. «Вот Саша Калякин — огонь парень, границу знал назубок. Старшина Привезенцев — с характером, скажет — как отрубит. Мазаев — этот не ростом, так умом взял и храбростью...»

Слушаю восторженный рассказ бывшего начальника заставы о его «ребятах», и у меня невольно напрашивается вопрос, который я уже задавал Маслюку. Кому-кому, а уж пограничникам, конечно, лучше было знать, что творится на той стороне, у немцев?

Да, они знали, что война будет, и будет скоро. Об этом говорили не только данные наблюдений. Ведь границу пытались перейти не только вражеские лазутчики, но и люди, сочувствующие нам, нашей стране. Еще в начале весны через Сан на нашу сторону перешел немецкий солдат, который при допросе в комендатуре заявил, что Гитлер начнет войну в июне. А на участке у наших соседей реку переплыл унтер-офицер из «гренадерской» дивизии. Он сказал, что родился и вырос в рабочей семье, которая всегда ненавидела фашистов. Унтер подробно рассказал о военных приготовлениях командования, о формировании штурмовых групп, которые пойдут первыми. И он уже точно назвал не только день, но и час, когда должна начаться война: 22 июня ровно в 2.00 по берлинскому времени.

— Кто мог установить — так это или нет? Нас, как обычно, строго предупредили не распространяться.— Но и мы считали, раз воинские части стоят в лагерях, командирам дают отпуска, значит, пока ничего страшного нет. Моя Мария Емельяновна, например, в субботу притащила банку с белилами и говорит: «Завтра воскресенье, встанем пораньше, будем красить окна и двери». Забыла? А я помню. Хотел я тогда сказать ей про этого унтера, но воздержался, решил не расстраивать молодую жену...

— Положим, ты и сам не расстраивался,— замечает Мария Емельяновна.— С вечера нарядился, как на парад, новую габардиновую гимнастерку надел, сапоги начистил и пошел гоголем по набережной.

— Правильно! — подхватывает хозяин.— У нас, пограничников, такой закон: мысли носи при себе, а орден — на себе. Люди видят: идет начальник заставы подтянутый, значит, граница в порядке. Любимый город может спать спокойно!

И супруги Патарыкины припоминают, как будто это было вчера, все детали последнего мирного дня. Пока Александр Николаевич «гулял» (был он в этот день выходной, но все же решил обойти свой участок), Мария Емельяновна сидела на подоконнике, слушала доносившуюся из парка музыку и разговаривала с бойцами. Жили они на тихой маленькой Бандурской улице рядом с домом, где помещалась застава. Здесь же, во дворе, были конюшни — там стояли лошади. («Если бы вы знали, какие отличные были лошади!»), находились вольеры со служебными собаками («А до чего умные были эти собаки: глаза у них ну прямо, как у человека!»). И разве кто-нибудь думал, что через несколько часов все смешается в этом мире, таком привычном и налаженном?..

— Ты не думала, а я думал,— говорит Александр Николаевич.— Подошел к железнодорожному мосту — он был у нас, так сказать, объектом номер один,— зашел в будку и стал рассматривать в бинокль немецкую сторону города. На первый взгляд никаких изменений там не произошло: из кино народ выходит, люди смеются, наверное ничего не предполагают. На углу сидит слепой старик-нищий с большой белой бородой, как у святого, на сопилке играет. На набережной играют дети, в Сан камешки бросают... Но у меня глаз начеку! Вижу, на крыше самого высокого дома, того, где кинотеатр, одной черепичной плитки нет и что-то там в глубине блестит. Присмотрелся — пулеметный ствол. Значит, новую огневую точку установили... Веду биноклем дальше по крышам — вижу еще одну точку, еще одну... Всего насчитал их с десяток.

Затем рассматриваю улицы и вижу любопытную картину: идет по дороге толпа монашек, а позади едет повозка с какими-то узлами, чемоданами и прочим барахлишком. Думаю: куда же эти святые девы переселяются из своей обители и почему? Навел бинокль на монастырь, который здесь же, почти на берегу,— такая высокая длинная серая стена толщиной метра в два, а за ней

дома с кельями и церковь. Смотрю — во двор крытые военные машины въезжают, везут солдат. Я еще подумал тогда: не хотят ли немцы использовать этот монастырь в качестве передового опорного пункта? Так оно потом и оказалось...

Но не буду забегать вперед. Тревогу я объявить не мог, но позвонил на заставу и сказал, чтобы все были в полной боевой. Усилил наряды, облюбовал на всякий случай для себя опорные пункты, в том числе недостроенный дот неподалеку от моста... Словом, необходимые меры принял.

И вот настала ночь. Прошли два поезда: один наш, с нефтью, на германскую сторону, другой их, с углем — на нашу. Все как положено, по графику — минута в минуту. Немецкий машинист, помню, мне еще улыбнулся: «Гуте нахт, рус начальник!» Я ему тоже «гуте нахт» пожелал. И пошел к себе домой. Иду, а ночь теплая, звезды мерцают, река блестит на излучине, серебрится, как чешуя,— чудная ночь! Гаснут огни в окнах, люди укладываются спать. Только слепой музыкант где-то пищит на своей сопилке. И чуть слышно плещется вода у берега...

Задумавшись, Патарыкин спрашивает у жены:

— Во сколько я тогда домой пришел, не помнишь?

— Часов в двенадцать.

— Не в двенадцать,— поправляет снова оживившийся Коля,— а в двадцать четыре ноль-ноль.— Мальчик, прищурив один глаз, смотрит на отца.— А это мама правду говорит, что ты начало войны проспал?

— Вот орел! — смущенно качает головой Патарыкин и краснеет.— Сон у меня тогда действительно был крепкий, да и сейчас не жалуюсь. Но что было, то было. Жена говорит, что она меня разбудила только минут через десять после первого выстрела, когда от соседнего дома снарядом угол отворотило. Зато, как я выбежал, она не заметила. Верно, Мария?

— Верно. Вскочил, как и не спал, схватил планшет, сумку и исчез. А одевался — это он уже потом рассказал — на ходу.

— Не знаю, на ходу или не на ходу, но из дома выбежал одетый по форме. На заставе уже никого нет, все на улице, залегли. Командиры окружили меня, спрашивают, как понимать этот артобстрел. О войне еще никто

не говорит, все думают: а может, это провокация? Вскоре слышим над головой рокот моторов. Летят немецкие «юнкерсы», самолетов пятьдесят. Но зенитки пока молчат. Я понимаю, да и любой командир тоже: если к нам в тыл пошли тяжелые бомбардировщики, то это уже не местная провокация. Самолеты пролетели, не сбросив на Перемышль ни одной бомбы. Только бьют орудия, и впереди, у реки, слышна беспорядочная стрельба из пулеметов и винтовок.

Бегу в конюшню, седлаю своего Надіра — вот этого, гнедого, что на фотографии, и по-за домами скачу к мосту. На левом фланге, у стадиона, относительно спокойно, убитых нет, один боец легко ранен. В центре, примерно в этом районе — Патарыкин показывает на фотографию, где видны часть берега и два высоких дома, — тоже. Но на правом фланге, в районе железнодорожного моста, уже идет бой. Немцы бегут по мосту, строчат из автоматов, а мои ребята — я вижу; их всего двое — залегли и отбиваются. Я поставил коня в укрытие, подполз к ним и тоже немного помог... Короче говоря, эту первую атаку мы отбили. Немцы отступили и даже убитых не унесли.

Тогда мои хлопцы мне рассказали, как здесь у них началось. А было так. В три часа утра по московскому времени через мост прошел еще один наш поезд с нефтью. Затем на нашу сторону должен был пройти встречный немецкий эшелон с углем. Но, когда он стал подходить к нашей контрольной будке, часовой насторожился: почему-то паровоз шел не впереди состава, а позади. И вагоны были не стандартные, как обычно, а немного выше. Боец решил остановить поезд и дал предупредительный выстрел в воздух. Но ему ответили автоматной очередью. Пули попали в будку, где находились еще двое наших из взвода охраны. Одного из них убило, другой не растерялся, выскочил с пулеметом, залег и стал стрелять по эшелону. Тут еще бойцы подоспели, тоже открыли огонь. Поезд попятился, и когда вагоны были уже на правом берегу, то борта откинулись и на землю начали съезжать танкетки с солдатами. Вот тебе и «уголь»!..

Это была первая попытка немцев прорваться в советскую часть Перемышля. Пока она кончилась неудачей. Но, вероятно, немецкое командование решило сначала

прощупать наши силы и послало в атаку всего взвод. Я водил биноклем по вражескому берегу и заметил, что в подъезде одного из домов стоит группа офицеров в зеленых накидках и наблюдает за ходом боя. Им, конечно, вскоре стало ясно, что сплошной обороны у нас пока нет, границу держит только горстка бойцов в зеленых фуражках, вооруженных винтовками и пулеметами. Тогда они стали готовиться к наступлению широким фронтом. Из ворот монастыря выехала длинная колонна крытых машин с солдатами. Мы видели, как солдаты спускаются к реке, несут резиновые лодки.

Пожал я моим ребятам руки, может быть, в последний раз и поскакал обратно на заставу. Там собрал весь мой наличный состав — а всех нас в это время было примерно человек сорок,— коротко объяснил обстановку и выделил три подвижные группы: в каждой по пять-шесть бойцов и командир. Одну послал на левый фланг, к парку, в распоряжение старшины Привезенцева. Другой во главе с нашим комсомольским секретарем Шабалиным дал задание: в случае прорыва противника обеспечить оборону заставы, а пока поддерживать фланги. На самый опасный участок, к железнодорожному мосту, направил третью группу во главе с моим заместителем по боевой подготовке лейтенантом Нечаевым.

Вскоре противник повторил атаку. Но теперь немцы применили более хитрую тактику — добежали до середины моста, а затем залегали за трупами убитых или рассредоточивались по краям и вели огонь из-за выступов железных опор. С той стороны их поддерживали минометы. А наша артиллерия все еще молчала. Но преимущество противника было не только в этом. Мои бойцы могли вести лишь фланговый огонь, чтобы не задеть какого-либо фрица на его территории. Приходилось все время прикидывать на глазок: перешел их солдат линию границы или нет? А те прут и прут. Некоторые успели добраться до последнего пролета. До нашего берега оставалось несколько шагов...

Вот тут-то и проявил себя лейтенант Петр Нечаев. Он выкатил пулемет на открытую позицию, в самый центр, и начал косить врагов. Атака снова захлебнулась.

И все-таки как ни отважно дрались мои орлы, мост они удержать не смогли. На штурм двинулась еще одна вражеская группа. С того берега открыли ураганный

огонь из минометов. И тут Нечаева ранило. Его пулемет замолчал... Мне потом говорили, что к лейтенанту подполз боец Мазаев и хотел перенести его в будку. Но Нечаев не разрешил. Он сказал: «Иди бей немцев, а обо мне не думай». А противник уже прорвался на нашу сторону. Нечаев увидел, что трое фашистов бегут к нему, чтобы взять в плен, и подорвал себя гранатой, сам погиб и их положил...

Ребята остались без командира. Немцы уже просочились в город, вот-вот подойдут к заставе. Докладываю в штаб комендатуры, прошу помощи. Но у них тоже резерва нет. Тогда сам начальник погранотряда майор Тарутин посылает на этот участок свой резерв — начальника клубной библиотеки младшего политрука Евгения Краснова и человек десять бойцов. Но противник по-прежнему жмет, офицеры стоят на берегу, подгоняют солдат, кое-кто пытается перейти Сан вброд левее моста, там, где помельче...

Опасность нарастает. Немцы соединились с диверсантами, засевающими в большом доме на набережной, и теперь все вместе рвутся к заставе. Их сдерживает заслон под командованием комсорга Шабалина. Сам Шабалин ранен в голову, истекает кровью, но не уходит. Он и боец Половинка стреляют из пулемета, остальные из винтовок. А у немцев сплошь автоматы да еще два или три миномета... Я со своими бойцами подхожу ближе, даю команду приготовить гранаты. Но в это время застрочили вражеские пулеметы слева, от Замковой горы. Значит, думаю, и там прорвались! Пришлось залечь и сражаться, что называется на два фронта...

К десяти часам наша граница была прорвана уже в нескольких местах. Начальник комендатуры капитан Дьячков вынужден был пойти на крайнюю меру: приказал своим помощникам политруку Тарасенкову, начальнику штаба Бакаеву и старшине Копылову взять бойцов из охраны и уничтожить прорвавшиеся группы противника. Решение, конечно, было правильное, но рискованное. Помню, я лежал за какой-то каменной оградой, бросал гранаты и нет-нет да и оглядывался: а что, если немцы зайдут с тыла?..

И вдруг к нам прибывает пополнение — группа бойцов и с ними мой дружок и бывший заместитель по политчасти младший политрук Виктор Королев. Последнее

время он учился на курсах в нашей пограничной политехнике. Еще недавно, с неделю назад, я встретил его на улице и пригласил к нам в гости. Он пообещал зайти, когда сдаст все зачеты. И вот пришел... Но только он лег рядом со мной и даже еще пошутил насчет того, что, мол, впервые в жизни видит меня небритым, как вдруг к нам пробрался связной с моста и сказал, что убили Краснова. Виктор сразу изменился в лице. Они с Красновым были земляки, оба из города Бологое, знали друг друга с детства. «Дай мне несколько ребят,— попросил он.— Я должен отомстить за Женю!» Я дал. Королев повел группу к мосту...

Между тем группа политрука Тарасенкова прочесывала улицы, прилегавшие к набережной. Здесь тоже на каждом шагу происходили ожесточенные схватки. Враг уже просочился на площадь Рынок, в район станции, даже в парк на Замковой горе...

Примерно в полдень майор Тарутин вдруг отдал приказ начать отход к восточной окраине Перемышля — селу Негрыбка. Мы тогда не поняли: в чем дело? А потом узнали, что немцы все же прорвались на флангах и угрожали нам охватом... Приказ есть приказ. Я оставил на рубежах две прикрывающие группы по пять-шесть человек и начал отход...

— А, кроме них, в городе кто-нибудь из наших остался?

— Об этом мы узнали уже потом, на следующий день. Вот здесь — Александр Николаевич показывает на карту,— неподалеку от моста, трое моих бойцов засели в доте, должно быть, вместе с ними был кто-то из укрепрайонцев. Только когда мы начали отходить, дот снова открыл огонь. Я подумал, что ребятам, которые там находились, неизвестен приказ, и послал туда связного. Но он не мог пройти и вернулся: дот был окружен немцами.

— Ты расскажи еще про одну «тяжелую артиллерию», которую вы там оставили,— замечает Мария Емельяновна.

— Ах да! — спохватывается Патарькин.— Про жен-то я вам не сказал. А ведь им, бедным, пришлось тогда еще хуже, чем нам. Как только начали артобстрел, мы дали команду женщинам и детям укрыться в подвалах. Ну, они сидят, ждут, когда «провокация» кончится. А огонь все сильнее и сильнее, немцы уже через границу

пошли... Шофер штабной легковушки хотел было вывезти за город две-три семьи старших начальников, но майор Тарутин запретил. «Война,— говорит,— для всех война!» А там и его семья находилась. Дал распоряжение изыскать средства, чтобы все семьи эвакуировать. И вдруг мы получаем приказ об отходе. Вот тут-то я и вспомнил о моей любимой. Подбегаю к двери подвала, кричу: «Ждите нас, мы скоро вернемся!» Велел забаррикадироваться лучше... Пока я женщинам инструкцию давал, немцы меня чуть в кольцо не взяли. Пришлось пробиваться с боем. Но ничего, догнал своих ребят и вместе с ними прибыл на пункт сбора...

— Помню,— продолжает он,— встретил я возле села Негрыбки какого-то генерала, вероятно Снегова. Он сказал, что едет в соседнее село Нижанковичи, где уже находился штаб нашего отряда. В самой Негрыбке стояла пехота, может быть, полк, а то и больше. Эти еще не вступили в бой, но уже знали, что началась война. Они встретили нас, как героев: накормили, напоили, табачком угостили. Сказали, что ждут приказа о наступлении. Где-то прослышали, что в штабе уже готовятся к нему.

Я вспоминаю знаменитую строчку из сводки, которая когда-то подняла наш боевой дух. Интересно, участвовал ли мой собеседник в той ночной контратаке?

Патарыкин усмехается: он шел со своими «орлами» в первых рядах. Однако говорит, что может рассказать о контратаке лишь то, что видел сам. Его «сектор обзора» был не слишком широк.

— Знаю одно,— говорит он,— своими силами мы, пограничники, с немцами тогда не справились бы. Тут больше пехота решала: у нее ведь имелись и пушки, и минометы, даже несколько танков. Надо сказать, что наше местное командование развернулось очень быстро: установили с соседями связь, наметили исходные рубежи, подтянули артиллерию... Предварительно прощупали противника разведкой. Спасибо, ночь помогла. И жители тоже. Кстати, большинство жителей — и поляки, и украинцы, и евреи — всей душой болели за Красную Армию и оказывали нам помощь с самого начала... Так вот, когда разведчики вернулись и доложили о сосредоточении противника, о том, где у него расположены штаб и огневые точки, мы еще раз уточнили план штурма. Командование решило, что девяносто девятая дивизия бу-

дет наступать с северо-востока двумя колоннами — от села Вовче и немного южнее — от Негрыбки. А нам, пограничникам, дали команду подтянуться ближе к городу и еще до рассвета сосредоточиться на обратном скате Замковой горы, в районе городского кладбища. Мы должны были стать ударной группой. Всего нас, зеленофуражечников, собралось примерно около трех рот. К нам присоединились ополченцы из партийно-советского актива, примерно около ста человек, а может быть, и больше, точно не помню, во главе с секретарем горкома.

Тарутин построил всех и сказал, что командовать сводным батальоном он поручает старшему лейтенанту Поливоде. Меня назначили командиром третьей роты. Затем объявили заместителей по политчасти: у Поливоды им стал Тарасенков, у меня — Королев. В данном случае это тоже было продумано. Я говорю не о себе, а о других: все ребята надежные, смелые, уже обстрелянные в первом бою... Конечно, насчет Поливоды, может, кто в душе и возражал: все-таки он только старший лейтенант, а у нас в отряде были и капитаны, и майоры. Но война — это не отдел кадров, здесь одного звания мало. А у Тарутина глаз на людей был точный.

Ровно в четыре утра по вражеской стороне ударила наша артиллерия. И тут же мы пошли в атаку. Моя рота, пройдя через кладбище, рассредоточилась в переулках, прилегающих с одной стороны к парку, а с другой — к широкой улице, если не ошибаюсь, имени Словацкого... Да, забыл сказать: у нас имелась и своя пушка. Еще на подступах к городу мы встретили какого-то майора, тоже из девяносто девятой дивизии, не то грузина, не то армянина, с тремя танкетками. На прицепе одной из танкеток была сорокапятимиллиметровая пушка. Ну ее и выделили нам вместе с расчетом для прикрытия. Командовать расчетом вызвался лейтенант, молоденький паренек, видно только из училища. Я вам о нем еще потом расскажу.

Немцы не ожидали нашей атаки. Помню, выбегаю из-за угла и вот так, нос к носу, сталкиваюсь с их часовым из боевого охранения. Он увидел меня и очумел. Тот крикнул: «Рус!» — и бежать. Догнала его моя пуля. Но вскоре немцы опомнились и открыли огонь из орудий, минометов и пулеметов. Навстречу нам — это было уже в районе замка — фашистское командование выдви-

нуло большую группу, примерно около батальона. Пришлось моей роте сражаться тоже за батальон, ну и соответственно взводу — за роту, отделению — за взвод, а каждому бойцу — за отделение.

Недаром мы шли во главе. Хотя вымотались в первом бою, зато приобрели опыт. Иной день войны мирного года стоит. Злости у нас хватало, рвались в бой. Да и город мы знали лучше всех, тем более что находились уже недалеко от центра, где нам был знаком не только каждый дом, а каждый выступ, каждая лазейка. Это нам крепко помогло. А тактику уличного боя пришлось осваивать тут же, на ходу сдавать экзамен, как говорится, сразу за академию. Я понял, что наше спасение в предельной маневренности, и еще больше расстредоточил роту, выделил малые подвижные группы, по два-три бойца, поставил общую задачу: выйти к заставе и восстановить границу.

Александр Николаевич машет рукой, но в глазах светится радость. Как-никак, а приятно вспомнить себя в той давно забытой роли вожака этой кучки храбрецов, воспитанных им за долгие месяцы строевых учений и стрельб, задушевных бесед и суровых «накачек» — всего того, что предшествовало этому бою. Недаром немцы окрестили пограничников «зелеными дьяволами». А сейчас передо мной сидит полный, добродушный человек, которого даже трудно себе представить в военной форме, да еще с наганом в руке...

— Я оставил при себе только одно отделение — восемь бойцов, — продолжает он. — Мы бежали от дома к дому, падая на мостовую, снова вскакивая, прижимаясь к стенам, укрываясь за выступами старинных домов, перепрыгивая через ограды. Откуда лихость бралась?! Наверное, недаром говорят: смелого пуля боится. Помню, выбежал я на площадь Плац на Бrame, увидел в конце улицы на той стороне площади вокзал, а от него уже недалеко была и застава; сорвал с себя фуражку и крикнул: «Ребята, давай!» Мою фуражку тут же автоматной очередью прошило, а мне ни царапинки. Ребята вскочили за мной, как гаркнут: «Ура!», — и немцы — они на бульваре за деревьями прятались — врассыпную. Здесь Виктор Королев, который с несколькими бойцами по соседней улице шел, тоже на площадь выбежал. И тоже с криком «Ура!». В этот момент один гитлеровец

обернулся и бросил в нас гранату. А Виктор — он маленький, верткий — схватил ее на лету и обратно в немца. Тот опомниться не успел... Да, сейчас вот увидишь такое в кино и не поверишь. А ведь это было!

Часам к трем, рассказывает Патарыкин, он и его бойцы пробилась к заставе. Затем сюда же начали стягиваться и другие группы. Расчет на самостоятельность оказался правильным, все выполнили свою задачу оперативно и точно. Подтянулись и артиллеристы со своей пушкой. Только теперь Патарыкин узнал фамилию командира — Журавлев. Молоденький лейтенант еле держался на ногах от усталости (еще бы, протащить пушку почти через весь город!), но был счастлив. «Можно, мы останемся с вами?» — робко попросил он. Патарыкин решил: «Пусть остаются, ребята хорошие. А мне... семь бед — один ответ. Там разберемся!»

Вскоре к заставе подошли со своими бойцами Поливода и Тарасенков, которые наступали на фланге роты Патарыкина. Скуластое, с коротким носом лицо Поливоды еще горело жарким дыханием боя, с упрямого лба струился пот. «Теперь они, — показал Поливода на убегающих немцев, — забудут сюда дорогу!»

— А сейчас, — Патарыкин обращается к жене, — ты расскажи, как мы вас освободили.

— Нет, уж я лучше сначала скажу, как мы там в своем каземате сидели, — говорит Мария Емельяновна. — Остались мы, сами понимаете, без хлеба, без воды, что называется с одной надеждой. Набилось нас в этом подвале, как сельдей в бочке, не повернешься. А среди нас были кто с грудным ребенком, кто в положении, например жена Пети Нечаева... Плач, стоны, одним словом, кошмар. А что там наверху творится, не знаем. Только слышим взрывы, топот ног, пулеметную стрельбу... Так прошло часов пять или шесть, и вдруг слышу голос моего благоверного: «Уходим, мол, ненадолго, а вы запричьтесь покрепче, окна чем-нибудь заложите и сидите тихо, на улицу не показывайтесь. Мы скоро вернемся». Короче говоря, успокоил... Жены пограничников — народ догадливый, поняли, что мужья оставляют город. Теперь нам надеяться было не на кого, только на себя да на судьбу. Собрались мы с силами, выполнили все, что было сказано, и стали ждать. Притихли, слушаем. Постепенно стрельба умолкла. Потом кто-то протопал мимо, донес-

лась нерусская речь. У нас — мороз по коже. Но сидим по-прежнему тихо, без паники. И детям рты зажимаем. А то ведь, если немцы нас найдут, сразу всех перестреляют. Об этом мы хорошо знали.

К вечеру еще какая-то группа немцев подошла к заставе. Раздались выстрелы, собачий визг, затем все смолкло. После уже, на другой день, мы узнали, что гитлеровцы всех наших собак уничтожили. А затем отправились дома грабить. Может быть, это нас и спасло... Ночь прошла тихо. А наутро опять началась стрельба. Но тут немцам было уже не до нас. И вдруг мы слышим, кто-то барабанит в дверь: «Открывайте, свои». А мы сидим, молчим, помним наказ. Мало ли кого немцы могли подослать, может быть, предателя какого-нибудь. «Да открывайте же, не бойтесь! — кричит мужчина. — Это я, Саша Патарыкин!» Я прислушалась: он или не он? Со страху сразу не поняла. А все женщины на меня смотрят. Он снова: «Да я же это, я!» Тогда я вскочила — и к двери. Бросились мы друг другу в объятия. Он спрашивает: «Почему же вы молчали?» А я ему и отвечаю: «Голос у тебя какой-то не твой, хриплый». Потом еще раз посмотрела на него и поняла. Лицо у него все в копоти, из фуражки клочья торчат, щеки ввалились. «Дай,— говорю,— я тебе хоть фуражку зашью». Но он мотнул головой,— некогда, мол, после,— и снова исчез...

— Не исчез, а опять пошел посмотреть, как там дела идут,— поправляет Патарыкин и, вспомнив свой прежний, довоенный обход, добавляет: — Вид у меня, конечно, был не такой, как раньше, сапоги не блестели, но граница оказалась в порядке. К пяти часам дня здесь, в городе, мы ее полностью восстановили. Да что там «восстановили»! Если бы нам сказали тогда: «Форсируйте реку и выгоните фашистов из Засанья», мы, не задумываясь, сделали бы это.

Бывший начальник заставы снова смотрит на пожелтевшую фотографию своих «орлов», и глаза его темнеют.

— Мало их осталось,— тихо говорит он. И вспоминает еще лишь об одном, последнем событии того дня.

...Вечером, когда смеркалось, к нему прибежал связанной от Поливоды, который по приказу комдива стал комендантом города, и сообщил, что сейчас состоятся похороны погибших в боях. Патарыкин объявил построение. В строй встали все, кто был свободен от несения службы,

даже раненые. Не хватало только политрука. Куда же исчез Королев? Патарыкин пошел искать его и нашел в полуразрушенном здании клуба. Королев стоял на коленях и разгребал кирпичи, которыми было завалено алое полотнище. Это было знамя, которое всегда висело здесь на бывшей клубной сцене... Патарыкин тоже встал на колени, помог. Они вытащили знамя, очистили его от пыли и молча вышли из развалин...

Погибших защитников города хоронили в самом центре на старинной площади Рынок. Недалеко от памятника Мицкевичу вырыли большую могилу — одну на всех. Собралось много народу: войска, гражданские. И было очень тихо, или это так казалось... У края могилы на плащ-палатках лежали убитые товарищи. Краснов лежал на спине, запрокинув красивую голову, словно любуясь вечерним небом, а гимнастерка на его груди, там, где прошла вражеская пуля, была наспех зашита белыми нитками. Лежали, успокоившись навеки, старшины, сержанты, бойцы, трое или четверо в гражданском — всего человек сорок...

Первым речь держал Поливода, не похожий на себя, мрачный, с сурово сдвинутыми бровями. «Они все сражались как герои, — сказал он. — И Родина их никогда не забудет!» Поливоду сменил Тарасенков, его речь тоже была краткой. Затем грянул прощальный залп из винтовок...

Озверевший от неудачи враг снова обрушился на Перемышль. На город посыпались снаряды, налетели самолеты, их тени металась по земле. Но паники не было. После только что одержанной победы люди будто переродились. Все верили, что фашисты получат за свое коварство сполна.

Патарыкин умолкает. И я понимаю, что к обороне мы уже не вернемся. Все имеет свое начало и конец, особенно настроение. А завтра я уезжаю.

— Ну что, закончили? — спрашивает Мария Емельяновна. И, не дождавшись ответа, начинает накрывать на стол.

Мы обедаем, шутим. И все-таки нет-нет, да и помянем прошлое.

Как бы мимоходом узнаю у Патарыкина, с кем из старых боевых друзей он поддерживает связь. Есть два-три человека. Остальных порастерял. Жизнь разбросала

по стране, кого-то унесли болезни, старые раны. «Только сейчас понемногу начинают нас собирать, местное начальство погранвойск вынашивает идею встречи ветеранов.— Патарыкин качает своей круглой головой.— Случится, что еще и не узнаем друг друга. Жизнь-то меняет. А годы?»

О своей теперешней работе Александр Николаевич говорит мало. Ну что особенного? Один день похож на другой, может, потому и устаешь за смену. Зато отдыхаешь в лесу. «Лес у нас в Дарнице замечательный,— светлея, говорит хозяин.— И река прекрасная — Днепр!»

— А папа рыбу не ловит,— вдруг замечает Коля.— Он ее жалеет.

— Что ты ерунду говоришь! — Патарыкин, покраснев, поворачивается ко мне, как бы ища сочувствия.— Ох и дети пошли, особенно этот пострел. Все возле меня, как хвостик. Кроме войны ни о чем слушать не хочет... И еще чего-то выдумывает.

— Не выдумываю, а правду говорю! — спокойно упорствует Коля.— Ты сам чему меня учишь?

— Ну ладно, ладно,— сдается отец.— Только настоящий пограничник где свои мысли держит? То-то!

Александр Николаевич провожает меня до такси: «Бывайте здоровы!» Машина трогается. И вдруг я замечаю у фонаря знакомую фигуру. Это соседка Патарыкиных со своей неизменной сумкой ждет автобуса. Я прошу шофера остановиться и, открыв дверцу, спрашиваю:

— Вам в Киев?

— Конечно, в Киев! — Она радостно забирается в машину.— Я к дочке еду. Вот пирожков вкусных ей напекла... А вы от Патарыкиных? Ну как, я ведь была права?

Отвечаю шуткой, что вынужден сделать опровержение. Сосед ее действительно герой. И она может этим гордиться.

Бедная женщина озадаченно разводит руками. Нет, нет, все равно здесь что-то не так. А если так, то почему же о нем до сих пор никто не знал — ни в доме, ни на заводе?..

Она еще долго ахает и сокрушается, но уже в Киеве, прощаясь со мной, говорит:

— А про Александра Николаевича вы обязательно напишите. Все как есть. А то уж больно он тихий.

Тетрадь в потерянной обложке

В большой комнате с высокими потолками полумрак от растущих перед окнами деревьев. На стенах висят картины в золоченых рамах. Старинная живопись. Большое и тоже не новое пианино с настоящими стеариновыми свечами, разложенные на крышке альбомы для нот: Бах, Моцарт, Бетховен...

Здесь жил генерал Снегов! Впрочем, если бы я не знал, где нахожусь, то подумал бы скорее, что это квартира какого-нибудь почтенного деятеля искусств. Особенно меня поражает обилие книг в соседней комнате, куда меня приглашает хозяин — полковник-инженер Юрий Михайлович Снегов. Там, в глубине, портрет пожилого генерала в парадной форме, с усталым и немного грустным лицом.

— Это отец примерно за год до смерти. Поэтому у него такое лицо. Он чувствовал, что болен, и болен тяжело, но старался не подавать вида. Однако художник уловил... В нашей семье любили искусство, литературу. Дома часто бывали художники, музыканты, артисты.— Юрий Михайлович улыбается.— Отец и сам был не чужд музам. Иногда сочинял стихи, но втайне от других, для души.

Он показывает довоенную фотографию генерала.

— Здесь он больше похож на себя.

Да, пожалуй, если судить по рассказу. На генерале прежняя, еще довоенная форма с петлицами, лицо молодое, с задорными искорками в глазах. И поза простая, непринужденная.

— Отец уже был комкором?

— По всей вероятности.— Юрий Михайлович всматривается в фотографию.— Этот снимок сделан в Перемышле.

— А вы бывали в Перемышле?

— Бывал. Но не жил. К тому времени я тоже уже был военным — лейтенантом и получил назначение в другой округ.

— И отец не пытался перевести вас поближе к себе?

Юрий Михайлович отвечает легким смешком.

— Сразу видно, что вы не знали моего отца! Он мог учить, но не опекать. Если же помогал, то советом. А в остальном говорил: «Пусть каждый плывет сам по себе!»

— У вас сохранились еще какие-нибудь документы, вещи?

Мне хочется знать о генерале возможно больше. Юрий Михайлович достает из старого письменного стола альбом с потускневшим золотым обрезом.

— Наш семейный альбом. Отец считал его самой дорогой реликвией и возил всегда с собой.

Медленно листаю страницы. Фотографии, фотографии... Дореволюционные — с виньетками и фирменными знаками; времен гражданской войны — сделанные в походных условиях, на плохой бумаге; заграничные — снятые неведомыми нам тогда, в двадцатые годы, «лейкой» или «кодаком» и отливающие глянец... Какие-то мужчины, больше военные. Женщины, словно демонстрирующие моды разных лет. Дети — в матросках, в юнгштурмовках с пионерскими галстуками, в испанских «пилотках» с кисточками.

Смешение лиц, возрастов, костюмов... Мой интерес растет, чувствую, что передо мной богатая событиями и встречами жизнь, может быть сразу несколько жизней, и, чтобы не заплутаться в них, прошу Юрия Михайловича давать пояснения к фотографиям.

— Вот отец гимназистом, — говорит он, показывая на скромного юношу в группе его одноклассников. — Кстати, он здесь единственный крестьянский сын из всех. — А это отец, когда он в качестве вольноопределяющегося добровольно уехал на фронт... Это он прапорщиком... А здесь он уже семейный человек. На фотографии рядом с Михаилом Георгиевичем, которого я теперь узнаю без подсказки, молодая женщина с мягкими чертами лица и веселым, добродушно-лукавым взглядом.

— Это отец и мать вскоре после свадьбы.

Меня удивляет, почему Михаил Георгиевич здесь одет в штатское. Оказывается, фотография сделана уже в первые дни Советской власти, которую он принял сразу и безоговорочно. «Так же, между прочим, как и его тесть — мой дед!» — добавляет Юрий Михайлович. И, на минуту отложив альбом, рассказывает мне довольно любопытную историю.

Свой первый офицерский чин Михаил Снегов получил после окончания Алексеевского военного училища, давшего русской армии немало боевых офицеров. Там, в училище, артиллерию ему преподавал подполковник

Андрей Эдуардович Свенцицкий, питавший к своему воспитаннику нескрываемую симпатию. Но ни тот, ни другой тогда не знали, что пройдет немного времени и они породнятся. Случилось же это лишь в конце семнадцатого года, когда поручик из крестьян решительно порвал со старой армией и перешел на сторону новой власти. Так же безоговорочно принял власть большевиков во главе с Лениным и старый офицер, по происхождению дворянин, его тесть. Понятно, что и молодая жена Снегова, Варвара Андреевна, полностью разделяла взгляды своих близких.

Вновь возвращаемся к альбому. Теперь наступает полоса любительских фотографий. Несколько снимков сделано на фронтах гражданской войны. И кажется, что видишь некие наглядные пособия по истории наших вооруженных сил — сначала Красной Гвардии, затем Красной Армии... Командиры в пестрой одежде: кто в старых солдатских гимнастерках только без погон, кто в кожанках, кто в трофейных френчах... Те же командиры, но уже в шинелях, на головах остроконечные суконные шлемы. Затем появляются знаки различия — в петлицах и на рукавах... И вот, наконец, я вижу Снегова в генеральской форме довоенного времени, той, в какой уже видел его на старой «перемышльской» карточке.

Прежде, чем вступить в командование стрелковым корпусом, расположенном на исключительно важном участке, на границе с гитлеровской Германией, Михаил Георгиевич Снегов прошел большую военную и жизненную школу. В гражданскую он командовал ротой, батальоном, полком, был начальником оперативного отдела, затем, уже к концу восемнадцатого года, начальником штаба бригады. В боях с деникинской белой армией принимал участие в должности начштадива, прошел путь от Воронежа до Кавказа, где его застало окончание войны.

После войны Снегов снова в Москве — учится на Высших академических курсах, а затем возглавляет последовательно штабы дивизии и корпуса. Служит под началом замечательных военачальников Дыбенко и Блюхера, принимает активное участие в создании крепкой регулярной Красной Армии, выполняет военно-дипломатическую миссию в Китае...

По возвращении его оставляют в наркомате началь-

ником управления делами. Нарком Ворошилов высоко ценит деловые качества Снегова: его аккуратность, точность, исполнительность, высокую грамотность и эрудицию — и долго не хочет с ним расставаться, несмотря на неоднократные рапорты своего управделами с просьбой направить его на командную должность в войска. Все же Снегов добивается своего. В звании генерала он получает долгожданное назначение, и не куда-нибудь, а в Перемышль, «роковой город», как называл его Маслюк.

Итак, Перемышль! Но Юрий Михайлович повторяет, что об этой, самой интересной для меня странице жизни его отца, он мало что может сказать. Знает, что отец придавал огромное значение боевой выучке войск в духе требований современной войны — тесного взаимодействия всех родов войск, повышенной маневренности, максимального использования технических средств, и т. д. Учения проводил часто и стремился, чтобы они проходили в условиях, приближенных к боевым. Не случайно находившиеся под его началом части и соединения получили благодарности и награды.

Задаю вопрос, который возник у меня в ходе этой беседы: была ли какая-нибудь связь между общей культурой генерала, его творческой личностью и широкими интересами и теми, чисто военными качествами, которые так блестяще дали себя знать в самом начале войны? Ведь насколько мне известно, в войну он едва ли не первым из генералов был награжден Указом от двадцать третьего июля орденом Красного Знамени?

Юрий Михайлович, сам человек военный, бывший фронтовик, говорит, что прямой связи здесь, возможно, нет, но, по его мнению, интерес к литературе, к искусству, безусловно, обостряет ум, а творчество, в том числе военное, подчиняется, по сути, одним законам. Конечно, известны случаи, когда битвы выигрывали полководцы, не блещущие общей культурой, но и среди них не было людей без творческой жилки. Впрочем, это скорее исключение из общего правила.

— Не оставил ли генерал каких-нибудь записей о боевых действиях того периода? — спрашиваю я.

Юрий Михайлович думает, потом как-то странно усмехается.

— Вообще-то при его жизни я не видел, чтобы он что-нибудь записывал. Но недавно, разбирая бумаги в

его столе, я нашел одну тетрадку...— Он выдвигает один из боковых ящиков.— Вот, здесь кажется что-то есть.

Он протягивает мне простую школьную тетрадку в серой обложке с полустертым рисунком на темы пушкинских сказок. На первой странице написан эпиграф из «Евгения Онегина»: «...Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Дальше идут какие-то отрывочные записи иногда в полстраницы, иногда всего одна строчка или два-три слова. Кое-где на полях попадаются рисунки, сделанные карандашом, и тоже почти неразличимые. А вот и несколько рукописных карт...

Кажется это то, что мне надо: схемы военных действий в Перемышле и прилегающих районах, контролируемых корпусом Снегова. Схемы даны подневно за неделю боев: об этом говорят четко выписанные над каждой из них даты. Красным карандашом обозначены рубежи, занимаемые нашими воинскими частями, синим — немецкими...

Но это пока все, что мне удалось разобрать. Сам текст почти неразличим: почерк у генерала мелкий и какой-то дрожащий, буквы сливаются, строчки наползают друг на друга. А главное, большинство слов написано сокращенно, некоторые вообще имеют лишь условные обозначения в виде значков и закорючек, похожих на стенограмму. Но стенографии, как говорит Юрий Михайлович, генерал не знал, просто, по-видимому, он делал эти записи уже перед смертью и торопился, сокращал слова, надеясь, что если выкарабкается из болезни и поправится, то восстановит написанное по этим лишь ему понятным значкам.

— Схемы, однако, думаю, прочитать можно,— неуверенно замечает сын генерала, разглядывая тетрадь через лупу.

Он припоминает номера воинских частей. Пытается разгадать тактические ходы той и другой сторон. «Трудно, трудно!» — шепчет он, качая головой.

«Ему трудно, а каково мне! — думаю я.— Тут надо изрядно поломать голову. Но стоит ли? Ведь я же не военный специалист и не ученый-историк. Мое дело — человек, его жизнь, судьба...»

Однако, чем больше уговаривал себя в бесплезности для меня этой тетрадки, тем сильнее она притягивала к себе, словно в ней скрыты какие-то еще не ведомые мне

тайны. «Да и разве можно составить представление о человеке, не поняв того, что являлось смыслом его жизни?»

— По общему мнению, отец был душой и мозгом обороны Перемышля,— говорит Юрий Михайлович.—И отец не скрывал, что эта оборона и последующие бои на Украине, может быть, самая яркая страница в его военной биографии. Ему не раз предлагали написать об этом и мы — его близкие, и товарищи по службе.— Снегов-младший разводит руками.— Но, к сожалению, пока не удалось найти ничего, кроме этой тетрадки.

— Позвольте мне взять ее с собой?

Юрий Михайлович смотрит на меня с некоторой опаской. Спешу заверить его: пусть не сомневается, эта семейная реликвия вернется в полном порядке, просто хочется посидеть над ней вот так же — с лупой в руках.

Когда-то, еще в армии меня учили шифровальной службе, и, вероятно, теперь мне это помогло. Не знание кодов, нет — у генерала в его записях не было никакого кода,— но просто интуиция бывшего шифровальщика. Поблуждав по лабиринтам чужой мысли, я постепенно научился угадывать, что означают эти «закорючки» и сокращения.

В начале записей содержались характеристики командиров — непосредственных помощников генерала, принимавших участие в разработке плана и осуществлении того знаменитого «первого контрудара», о котором сообщалось в сводке Совинформбюро. Конечно, какое-то представление я о нем уже имел из рассказа хотя бы Патарыкина. Но бывший пограничник недаром предупреждал, что не может сказать больше того, что находилось в поле зрения начальника заставы, а в день ответного удара по врагу — командира роты. Понятно, в его рассказе преобладали описания действий воинов в зеленых фуражках. И все же он повторял, что «одни, без пехотинцев, мы с врагом не справились бы...» Но кто они, эти «пехотинцы», и сколько их было, я впервые узнал из записей генерала Снегова.

К моменту начала войны в Перемышле, кроме штаба корпуса и штабных подразделений, дислоцировалась одна 99-я стрелковая дивизия, имевшая в своем составе три

стрелковых и два артиллерийских полка. Дивизия была кадровая, полностью укомплектованная бойцами срочной службы.

У этой дивизии были отличные боевые традиции и замечательные опытные командиры. Командовал дивизией полковник Николай Иванович Дементьев, волевой и инициативный командир, большой знаток тактики ведения боя мелкими подразделениями, прекрасный методист, потративший много времени и сил на подготовку дивизии к активным действиям в случае войны. Начальником отдела политической пропаганды дивизии был А. Т. Харитонов, хороший организатор, умелый воспитатель бойцов-патриотов и сам человек, беззаветно преданный Родине. Заместителем комдива являлся полковник Павел Прокофьевич Опякин, человек умный, собранный, тоже хороший тактик. Начальником штаба дивизии являлся полковник Сергей Федорович Горохов, грамотный штабист, тяготеющий также к строевой работе, авторитетный и любимый в командирской среде благодаря своим знаниям, практическому опыту и личной храбрости.

Следует отметить и замечательного командира-артиллериста начальника артиллерии дивизии полковника И. Д. Романова, чрезвычайно много сделавшего для того, чтобы «бог войны» был, что называется, на «высоте».

Гарнизон был немалый! Под началом у полковника Дементьева находилось больше десяти тысяч человек. Десять тысяч штыков да еще семьдесят два орудия только в артиллерийских полках. Была еще артиллерия полкового подчинения — пушки меньших калибров и минометы. А еще броневики или танкетки в подразделениях специального назначения... И все это, помноженное на молодость, смелость и отличную выучку бойцов, знания командиров, опыт, полученный в походах и на маневрах — ведь 99-я стрелковая дивизия гремела, оказывает-ся, и до войны...

Только сейчас, четверть века спустя, до меня дошел истинный смысл фразы, сказанной когда-то пожилым военным на пункте формирования в Броварах: «Везет этой, девяносто девятой!» Нет, поправивший его собеседник был прав: дивизии не «везло» — она была достойна своей славы!

Под началом у Снегова в Перемышле находилось еще больше войск. Он не перечисляет всех подразделе-

ний, но где-то в его заметках мелькают упоминания о корпусной артиллерии, где-то о разведбате и даже о танках. «Я поехал на с. ф. об. р-н Стубно в т., оч. сил. о.» Эту строчку, относящуюся уже к описанию боевых действий, прочитал так: «Я поехал на северный фланг обороны в район Стубно в танке, ибо был очень сильный огонь».

Должно быть всех, кто сражался тогда в Перемышле, генерал и сам мог не знать. Неожиданно для него в один из дней обороны вдруг заговорили из тыла орудия такого крупного калибра, каких в его «хозяйстве» не значилось. Откуда они взялись? «Возм. из рез. АРГК». «Возможно из артиллерийского резерва главного командования», — читаю я.

В нескольких местах встречается эта фраза о «неожиданных подкреплениях», поступавших на помощь его пехотинцам в дни боев. Нет, это говорится не о пограничниках, для которых пехотинцы сами, уж если быть хронологически точным, были в первый день боев «подкреплением», а потом и те и другие стали действовать под общим командованием Снегова. Скорее, генерал имеет в виду «гражданских» — бойцов из отряда партийно-советского актива города... Мне говорил о них еще Патарыкин. Снегов называет их «ополченцами». Что ж, по сути это верно, хотя официально народное ополчение тогда еще не успели объявить!

Всех наших сил мне подсчитать не удалось. Но это было уже не нужно. И так стало ясно, что Перемышль — не Брест, и мне никогда не удастся узнать о судьбе всех его защитников, которых было не сотни, а тысячи, может быть, десятки тысяч. Нет, это дело не одного человека и даже, наверное, не одного поколения...

Возвращаюсь к записям генерала. Вот первая схема, показывающая расположение войск к началу войны. В городе находился лишь один стрелковый полк и некоторые мелкие подразделения, все остальные части выехали в лагерь. Этот полк да сотни две пограничников вот, по сути, все наши наличные силы, принявшие на себя первый удар фашистов. «К вечеру мы сдали город!» — с горечью вспоминал бывший начальник погранзаставы. Но теперь нельзя не гордиться нашими людьми, совершившими в этот день подвиг! Как еще можно назвать многочасовой бой с отлично вооруженным и под-

готовленным врагом, к тому же превосходившим их численно в несколько раз?

Удивляет и другое: быстрота и четкость ответных действий нашего командования в этом районе. Тогда же, к вечеру первого дня, полевыми войсками были заняты важнейшие рубежи и перекрыты выходы немцам из города. Снегов пишет: «Это мы предусмотрели». Просто — сказать, но ведь надо было не растеряться в этой обстановке или, может быть, заранее предусмотреть возможность внезапного и вероломного нападения врага. Но об этом генерал не пишет.

О своей роли в организации контратаки двадцать третьего июня Михаил Георгиевич говорит еще более сдержанно: «Веч. 22 совещ. на КП. Прис. полк. Д, пк Х, м. Т, и др. к. ч. Подв. итогов п. д.» Эту запись я понял так, что двадцать второго вечером на командном пункте у генерала состоялось совещание командиров воинских частей и соединений, где были заслушаны сообщения об итогах первого дня боев. Сообщения сделали: командир 99-й стрелковой дивизии полковник Дементьев, полковой комиссар Харитонов, начальник погранотряда майор Тарутин и другие. Генерал не говорит, как проходило это совещание. Командиры, разумеется, докладывали о передислокации войск, отражении вражеских атак, о потерях. Политработники — о настроении воинов... Впрочем, нахожу три коротеньких слова: «Боевой дух выс».

Боевой дух высокий! Не в этих ли словах была заключена формула будущей победы. А она наступила скоро — буквально на следующий день. Уже в полдень, по словам Патарыкина, фашистов изгнали из города и восстановили государственную границу.

На схеме показано направление контратак: стрелы вонзаются в занятый противником город с северо-востока, с востока и с юго-востока... Вот отсюда, с юга, наступала рота Патарыкина. Далее генерал пишет, что конкретный план наступления был разработан полковником Дементьевым в ту же ночь. Еще вечером генерал утвердил боевой приказ комдива — одному из батальонов пехоты и сводному батальону пограничников, при поддержке огнем одного из артиллерийских полков на рассвете атаковать противника и выбить его из Перемышля.

Отбросить части прославленного своей «непобедимо-

стью» гитлеровского вермахта, не дав им даже выспаться на советской земле,— такого еще не знала история второй мировой войны. Притом наши силы были невелики. Конечно, генерал смотрел вперед и хотел предупредить возможные удары противника с флангов, потому и не снимал оттуда войска... Но эта догадка пока ничем не подкреплена. Судя по первым схемам, немцы отошли на прежние рубежи.

Так на что же рассчитывали Снегов, Дементьев и другие командиры, планируя ответный удар? «Мы должны были превзойти противника по всем линиям»,— читаю я в тетради.

Но как найти разгадку этой фразы? Тщетно вглядываюсь в схему, пытаюсь по «гусеницам» рубежей и «стрелам» атак проникнуть в глубину тактических замыслов. А еще какие «линии» имел в виду генерал? Численного преимущества у него не было, технического тоже...

Лишь в одной «линии» был уверен без всякой разгадки — в силе духа тех, кто отважился на этот штурм, в их лихости, в ненависти к подлому и коварному врагу.

Шло наступление слева и справа от Перемышля. Генерал пишет об успехе своих пехотинцев на «трудном» северном фланге. О нем он особенно беспокоился, ожидая наступления противника после того, как рухнет его надежда «молниеносно» оседлать проходящие через город коммуникации. «Их цель,— говорит он о немцах,— выйти на Львовское шоссе». Ну конечно же, ибо это шоссе — главная артерия, связывающая Перемышль со Львовом и дальше — с Киевом. Выйди на нее враг со своими танками и мотопехотой, и открылся бы прямой путь к сердцу Украины.

Не вышло! Получилось наоборот: почти «молниеносное» отступление. Коротко, как о само собой разумеющемся, генерал пишет: «К 17.00 передовые подразделения достигли реки Сан». Но вот еще какая-то невнятная строчка: «Могли бы и дальше». Что — «дальше»: перейти реку и гнать врага уже по территории Польши? У наших бойцов, разгоряченных атакой, был такой порыв (мне говорил об этом Патарыкин). «Командование не разрешило»,— сетовал бывший начальник погранзаставы. Я, помню, ему тогда посочувствовал. А сейчас понимаю, почему так поступили Снегов и Дементьев. Они

видели дальше, чем бойцы и лейтенанты, видели опасность образования «клина» и возможность окружения.

Генерал пишет, что приказом по корпусу объявил благодарность личному составу 99-й стрелковой дивизии и сводному батальону пограничников. Теперь надо было обеспечить прочную оборону на городском участке. Возникли и другие задачи: эвакуация заводов и ценного оборудования, отправка в глубокий тыл семей и тяжелораненых, обеспечение безопасности жителей, которым грозили затаившиеся в подвалах и на чердаках гитлеровцы. Правда, здесь у него были деятельные помощники — местные коммунисты во главе с секретарем горкома Орленко (генерал называет его «талантливым руководителем и светлым человеком»). Были и беспартийные энтузиасты. Генерал пишет о какой-то группе врачей-поляков, которая проявила подлинный героизм при спасении раненых бойцов и командиров, а также о работниках банка, которые готовы были ценой своей жизни защитить от немцев денежный запас...

Смотрю на схемы обороны Перемышля и прилегающего района. Обороняющимся становилось все труднее. В самом городе враг словно бы уже не рассчитывал на успех. Слишком внушительный удар он получил в день штурма, и теперь ему пришлось сменить наглость на хитрость. Уловки его ясны. Снегов беспокоился за свой северный фланг не случайно: именно на него обрушилась «стрела» фашистского наступления на следующий день после того, как были закреплены оборонительные рубежи в самом Перемышле. Мощный танковый клин фашистское командование пыталось вбить уже восточнее Сана с тем, чтобы выйти на железнодорожную и шоссеиную дороги. Коварство этого плана хорошо видно по карте: одним ударом враг пытался убить сразу «двух зайцев» — оседлать дороги и зажать в клещи защитников города. Снегов пишет, что он выдвинул на этот самый опасный участок свой резерв — 133-й стрелковый полк.

Даже по стершейся схеме можно судить о разыгравшемся где-то там, у маленьких галицийских местечек Годыне и Мосциска, на желто-зеленой холмистой местности с крестиками костелов и кладбищ, трагедии. Широкий клин хищно направлен на цель. Вот он уже рассек два или три заслона, но в нескольких километрах от железной дороги был встречен последним резервом Снегова.

По схемам последних дней обороны видно, как враг вводит в бой все новые и новые силы. Вот где-то на карте появляется условный значок вражеского бронепоезда, где-то возникает номер нового воинского подразделения немцев... «На наш участок были переброшены части даже из Франции»,— пишет генерал.

Здесь записи кончаются. Закончилась, как видно, и летопись героической обороны Перемышля. На самой последней странице стихи, написанные старательным почерком и без сокращений:

Закрою глаза и навеки со мной
Холмы, и костелы, и лица...
И будет в душе моей яростный бой
Уже нескончаемо длиться.

А что было дальше с защитниками города? Они воевали и воевали отважно, свидетельством тому полученный 99-й стрелковой дивизией орден. В указе от 22 июля говорилось, что дивизия была награждена «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество». А между 27 июня и 22 июля целых три недели войны!

— Может быть, когда-нибудь найдется еще тетрадка?

— Вряд ли,— задумчиво говорит Юрий Михайлович.— Отец не успел бы, даже если хотел. Ведь это маленькое стихотворение, по сути, его лебединая песня.

Смотрю на портрет генерала, на его усталое, осунувшееся лицо. Сколько бы, наверное, он мог еще рассказать? Хотя бы о том, что не удалось прочесть (расшифровал же меньше половины его записей!). Ну, вот эту строчку: «С севера наст. 257 пд. Вст. Париж. У нас тоже П. на С. То же, да не то!»

Юрий Михайлович невольно улыбается.

— Я же говорил, что вы не знали отца. Он мог шутить даже в такие минуты.— Качает головой.— Кстати, я эту шутку помню, он ее не раз повторял. Дело в том, что с севера — помните тот мощный клин? — на прорыв рубежей девяносто девятой двинулась немецкая двести пятьдесят седьмая пехотная дивизия, которая считалась одной из лучших дивизий вермахта и год назад была удостоена Гитлером чести в числе первых вступить в по-

коренный Париж, продефилировать под Триумфальной аркой... Так вот, отец, человек образованный, видимо, знал об этом и пошутил, что хоть Перемышль, как и Париж, тоже на букву П и стоит на реке, начинающейся тоже на одну букву,— там была Сена, здесь — Сан, но здесь гитлеровским «гренадерам» прогуляться, как на параде с хлыстиками в руках, не придется.

Он снимает с полки одну из книг.

— Не так давно я нашел здесь интересное свидетельство. Пишет некий Карелль, ныне западногерманский историк, а тогда, в дни своей молодости, солдат или младший офицер вермахта. Так вот здесь он вспоминает, как встретили тогда его и других гитлеровцев наши воины на берегу Сана.— Юрий Михайлович читает: «457-й пехотный полк 257-й немецкой дивизии вынужден был в течение целого дня драться в полтора километрах от реки против курсантов школы сержантского состава в районе Высоко. 250 курсантов оказали отчаянное сопротивление. Только после усиленного обстрела их позиций из стрелкового оружия и артиллерией на этом участке удалось продвинуться. 466-му пехотному полку пришлось еще хуже. Едва только полк переправился через реку, как был атакован во фланг советской 99-й стрелковой дивизией. Подобно морю под летним ветром, колыхались нескошенные хлеба у деревни Стубенко. И в этом море исчезали роты. Подкарауливают! Засады! Будьте осторожны! Ручные гранаты, пистолеты, автоматы были адским оружием всего дня. Внезапно возникают друг против друга в ржаном поле немцы и русские. Глаз к глазу! Кто первым выстрелит... Кто успеет поднять руки вверх! Там в атаку поднимаются из окопов автоматчики русских. Попадут в цель их беспощадные очереди? Или победят наши ручные гранаты?

Только после того, как опустился вечер, кончилась эта кровавая борьба в ржаном поле...

Солнце было большим и красным. Но из ржи еще долго раздавались полные отчаяния и муки мольбы: «Санитаров, санитаров!» Те спешили с носилками на поле и собирали кровавый урожай. За один лишь день! От одного полка! Он получился обильным».

Да, это совсем не было похоже на парадный марш по Парижу. Советские бойцы первого года службы — курсанты полковой школы могли гордиться своим пер-

вым боем. Их отвагу и мужество гитлеровские «гренадеры» запомнили на всю жизнь.

Генерал Снегов не увидел этой книги. Но другая, в которой, пусть не прямо, тоже говорится о боях на восточном берегу Сана, была ему известна. Это дневник гитлеровского генерал-полковника Гальдера, в то время начальника генерального штаба вермахта. «17-я армия своим правым флангом достигла возвышенности в районе Мосциска. Танковая группа Клейста, имея теперь в первом эшелоне четыре танковые дивизии, вышла к реке Стырь. Противник бросает в бой свои резервы, подводит их из тыла. Таким образом, существует надежда, что в ближайшие дни нашим войскам, в ходе дальнейшего наступления, удастся полностью разбить силы противника... Следует отметить упорство отдельных русских подразделений в бою. Имелись случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен».

— И как отнесся к этой записи генерал? — спрашиваю я.

— Сложно.— Отвечает Юрий Михайлович.— Общая оценка, помню, была такова: «Чует волк, что не в овчарню попал!» Ведь этот пресловутый дневник в какой-то мере самореабилитация, поскольку в нем на каждом шагу у автора оговорочки: «Создается впечатление», «возникает надежда», «возможны затруднения». Нет чтобы сказать прямо: «Этот народ победить нельзя!» Не сказали тогда господа генералы своему «фюреру». А потом вроде бы стали бить отбой. Но кому нужна эта запоздалая полуправда? Отец, человек правдивый, кристально честный, не мог принимать здесь все на веру.— Юрий Михайлович усмехается.— Ну и передержки, конечно, отмечал. Это они то и дело подводили резервы из тыла, а не мы — у нас их почти не было. И разбить, да еще полностью, наши войска им не удалось. А вот насчет того, что гарнизоны дотов взрывали себя, чтобы не попасть в плен, такие случаи были, отец о них знал.

Я задаю последний вопрос, который имеет уже скорее лирический, чем военный характер: не тянуло ли генерала после войны в Перемышль, даже тогда, когда он стал польским Пшемыслом?

— Нет,— отвечает Юрий Михайлович,— во всяком случае вслух он об этом не говорил.

— А как же понимать его последнее стихотворение?
Сын генерала думает.

— Видимо, воспоминание об этом городе жило в его душе.

— Но почему он вспомнил о том, как сражался у его стен, только в конце жизни?

— Раньше, возможно, времени не хватало. А потом... уходя, человек хочет оставить какой-то след, или, как говорили в старину, облегчить душу.— Юрий Михайлович пристально смотрит на меня.— Вот знаете, в чем мне признался отец незадолго до смерти? Он сказал, что не хотел уходить из Перемышля. И другие командиры и бойцы тоже. Защитники горба собирались продолжать сопротивление под землей — да, да, ведь в Перемышле тогда было много старых фортов и подземных ходов, имелись и новые оборонительные сооружения. Там хранилась часть продовольствия, боеприпасов. План был, конечно, дерзкий, но на мой — инженерский — взгляд, вполне осуществимый. История знала немало подобных случаев. Однако командующий фронтом не разрешил. А приказ,— он невольно повторяет слова Патарыкина,— есть приказ.

Десять дней из жизни Петра Васильевича Орленко

Впервые я услышал о Петре Васильевиче Орленко от кого-то из участников обороны Перемышля, возможно, от того же Патарыкина. Затем встретил его имя в записках генерала Снегова. Бывший руководитель обороны дал короткую, но лестную характеристику отряду партийно-советского актива во главе с Орленко. «По нашему представлению Военному Совету фронта его наградили орденом Красного Знамени»,— писал генерал. Нашлась в архиве газета с Указом о награждении, где имена Снегова и Орленко стояли почти рядом.

Мне сказали, что Орленко жив и живет в Киеве. Тогда, узнав его адрес, я послал ему письмо с вопросами и получил в ответ подробное описание интересующих меня событий. Больше того, Орленко, как человек обстоятельный, приложил даже нарисованную им от руки карту Перемышля с обозначением важнейших объектов,

опорных пунктов и оперативных линий. Была в письме и фотография тех лет. С нее смотрел на меня еще совсем молодой человек в простой красноармейской гимнастерке и фуражке со звездочкой, юношески худощавый, с лицом серьезным, но не строгим, со сдержанной смешинкой в глазах и немного застенчивой улыбкой. Если бы не было известно, кем был тогда этот симпатичный красноармеец, то принял бы его за художника или топографа, судя по любовно нарисованной карте, или за штабного писаря, которому затем в мирной жизни подошла бы профессия учителя истории. За это говорило письмо, точное и обстоятельное, не оставляющее каких-либо неясностей, но лишенное даже малейших художественных красот.

По письму, карте и фотографии у меня в воображении сложился образ героя будущего очерка. Я настолько привык к нему в процессе работы, что вскоре мне уже трудно было бы отделить его реальные черты от некоторого неизбежного в таких случаях домысла. Писатель должен верить в то, что герой именно таков, каким он его себе представляет. Передо мной стоял мой герой — человек скромный, деловитый, немного мечтательный, смелый и добрый, строгий и человечный, словом, такой, каким я его обрисовал.

Очерк был опубликован в газете и отослан в Киев. Через некоторое время от Орленко снова пришел ответ, но уже короткий и, как мне показалось, излишне сдержанный. Петр Васильевич писал, что «в целом события изложены правильно», но образ главного героя, на его взгляд, содержит «ряд неточностей». На этом наша переписка оборвалась.

Через несколько лет состоялась встреча бывших пограничников — ветеранов боев сорок первого года на Львовщине. Довелось и мне побывать на этой встрече.

Во Львове узнаю, что все участники уже уехали на запад, ближе к границе, где когда-то проходил их ратный путь.

В городок Комарно я приехал уже к вечеру.

Картина, которую я там увидел, никогда не изгладится из моей памяти.

Шло шумное застолье. Длинные, покрытые вышитыми холщевыми скатертями столы ломились от яств. Чего только не было здесь — и рассыпчатая, исходящая

легким сладковатым парком молодая картошка, политая духовитым жиром со шкварками, и розовое, с чесноком сало, и жареная, шпигованная овощами баранина, и большие, масляно-желтоватые вареники со сметаной. А посреди всего этого роскошества возвышались бутылки с домашним вином.

А речи! Один тост был искрометнее другого. Едва умолкал один оратор, не проходило и десяти минут, как поднимался другой, и новая, тут же за столом сочиненная речь, красивая, складная, с юмором или с патетикой, неслась над поляной, где стояли столы.

Были и минуты скорбного молчания — дань боевым друзьям, сложившим здесь когда-то свои молодые, отчаянные головы. Но потом снова накатывала шумная, торжествующая волна жизни...

«Тамадой» тут был секретарь райкома, высокий, красивый, черноволосый мужчина в рубашке с вышитым воротом, схваченным по местному обычаю цветным шнурком. Еще молодой, но уже осанистый и, судя по всему, достаточно уверенный в себе секретарь с воодушевлением и гордостью представлял гостям сидящих за столом земляков: учителей и работников культуры, животноводов и виноделов. И если труд первых, как выразился он, есть труд особого рода, его, к сожалению, нельзя ни положить на весы, ни пощупать руками, то труд вторых, так сказать, материализован в тех винах и кушаньях, которыми украшен этот стол. Предлагая выпить за здоровье дорогих односельчан, секретарь просил каждого подняться и показать себя честному миру.

Рядом с секретарем райкома сидел пожилой мужчина, который нет-нет да и нагибался к секретарю и что-то дружески говорил.

Я заметил, что к этому человеку все относились с каким-то особым, подчеркнутым уважением, словно к отцу или старшему брату, хотя он держался скромно и непринужденно. Иногда он сам произносил тост или рассказывал какую-нибудь смешную историю, и тогда его лицо становилось преувеличенно серьезным, только в прищуренных глазах мелькала едва заметная лукавинка. А если веселую историю рассказывал кто-то другой, то он хохотал громко, от души. Его лицо показалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, где видел этого человека. Не выдержав, пока закончится праздник, спро-

сил о нем сидящего неподалеку знакомого пограничника. «Кто он? — переспросил тот удивленно. — Да вы же о нем писали. Орленко, Петр Васильевич Орленко!»

...Поздно вечером вместе с Петром Васильевичем мы пришли в его номер. Орленко, нагруженный какими-то свертками, сувенирными коробками, глиняными гуцульскими дудочками, деревянными и соломенными игрушками, выглядел усталым. «Проходите, проходите», — сказал он мне и снял с себя пиджак, рывком развязал галстук, сбросил с ног модные плетеные сандалеты и привычно, не глядя, нашарил под кроватью стоптанные домашние шлепанцы. Усевшись, скорее упав, в мягкое кресло под торшером, с минуту посидел напротив меня молча, полузакрыв глаза. Затем вдруг весь как-то встряхнулся, будто освобождаясь от тяжелого груза, открыл глаза и выпрямился.

— Я вас слушаю, — произнес он уже другим, спокойным и радушным, голосом. И тут же засмеялся. — Простите за казенный оборот. Ведь я чиновник, работаю в министерстве. Сколько людей за день проходит. И почти всегда, леший нас возьми, мы начинаем с этой фразы. Привычка.

Шутки шутками, но я вижу, как он устал, и лишь отработанная годами выдержка заставляет его поддерживать разговор. Предупредив, что не намерен ему надоедать и сейчас уйду, прошу назначить мне завтра время, когда мы смогли бы поговорить о том, что я когда-то написал о нем и его ополченцах. А то ведь кто знает, когда мы еще встретимся.

— Это верно, — задумчиво соглашается он. — Только какой я критик. Писатель видит своего героя по-своему, а герой сам себя по-своему. Но герой о себе не пишет, а писатель пишет о нем, и не для него одного, а для читателей. Тут уже, как говорится, себе не принадлежишь.

Мы условились встретиться утром, сразу же после завтрака, пока голова свежая и еще никто к нему не нагрел.

— Я ведь после войны тоже несколько лет работал здесь — был секретарем обкома партии. Люди меня помнят. Вот, — он кивает на сувениры, — понанесли, пришлось взять. Кое-что сохраню на память, остальное сдам в музей. А не взять нельзя — обидишь.

На следующий день, когда я пришел к нему, он был

уже чисто выбритый, посвежевший и сказал, что чувствует себя помолодевшим лет на двадцать, показал на лежащую на столе вырезку из газеты и листочек бумаги с пометками.

— Видите? Подготовился к разговору.

— Когда же вы успели? — удивился я.

— Утром. Встал пораньше и перечитал на свежую голову.— Он улыбается.— Я же комсомолец двадцатых годов. Опять же привычка, а точнее, закалка, если приплюсовать войну.

Он подводит меня к столику, усаживает в кресло, сам садится напротив, надевает очки и быстро водит взглядом по газетному листу, еще раз проглядывает замечания.

— Короткое вступление: с написанным в общих чертах согласен, хотя и допускаю, что можно было бы написать лучше, но при трех условиях,— говорит он.— Первое: если бы вы сами находились там рядом с вашим героем и все видели своими глазами и не просто видели, а пережили бы с ним вместе. Второе: герой был бы вам хорошо знаком, и, следовательно, вы могли бы объяснить его поступки не только той или иной конкретной обстановкой, но и особенностями его характера. Ну и третье... о третьем говорить не имею права, ибо мои литературные способности не простирались дальше служебных бумаг, а о вкусах, как известно, не спорят.— Он подмигивает, дружески хлопывает меня по руке: мол, не обижайтесь на старика! — А теперь о частностях...

Замечаний у него было немного, в основном фактического характера. Даты, фамилии, места действия, самих людей — их характеры, поведение, привычки — он помнил хорошо. И в этом выделась еще одна особенность партийного работника: повышенное, часто незаметное постороннему глазу внимание к человеку, желание определить, на что тот или иной способен. Потому, вероятно, и продолжали жить в его памяти бывшие товарищи и подчиненные — все эти инструкторы и секретари первичных парторганизаций, осоавиахимовцы и работники милиции, учителя и врачи — давнее, но памятное звено в бесконечной веренице человеческих лиц.

О пограничниках он сказал так:

— Они были ударным острием клина. Сам клин составляли полевые войска.

Здесь мне довелось еще раз услышать о генерале Снегове, которого Петр Васильевич назвал «мозгом» обороны Перемышля. Уточнил цифру:

— Не двадцать, а больше, примерно двадцать две тысячи наших бойцов было в этом районе. Это что-то около двух дивизий. Сила немалая.— Нахмурившись, добавил: — Если бы нам тогда хотя бы один танковый полк...

О товарищах по оружию сказал:

— Прекрасные были люди, каждый достоин целой книги. А так получилось, что у многих и холмика могильного нет.

Мы оба мысленно возвращаемся к той давней картине: бескрайняя, прокаленная солнцем украинская степь, дегтярный запах прошедших недавно повозок, дым на горизонте, тревожно примятое поле пшеницы...

Петр Васильевич вспоминает:

И пойдет через равнину,
Через омут зноя,
В золотую Украину,
В жито золотое..

В памяти снова встает незабываемое — те десять дней, труднее, ярче и величественнее которых, наверно, не было никогда в его жизни.

...В субботу вечером закончилось заседание бюро, люди разошлись, и в доме сразу стало тихо, будто все вымерло. А он все сидел за своим столом, перелистывая календарь, и переносил из прошлой недели на будущую нерешенные вопросы. Перевернул «воскресный» листок и крупно, размашисто написал на обороте: «Состояние наглядной агитации». Этим вопросом секретарь горкома решил заняться в понедельник с утра.

Сегодня ему предстояло еще выступить на празднике передовиков-колхозников в парке. Посмотрев на часы, он встал из-за стола и подошел к зеркалу. Перед ним в массивной резной раме из черного дерева — зеркало было старинное из усадьбы какого-то австрийского князя — стоял молодой человек с усталыми, но веселыми голубыми глазами, в слегка помятой вышитой косоворотке с расстегнутым воротом. На высоком, с ранними залыси-

нами лбу блестела испарина. «Ну и пекло! Такого лета еще не было». Петр Васильевич вытер платком лицо, привычным, еще с армии, движением расправил складки на рубашке, застегнул ворот и вышел из кабинета.

До начала праздника оставалось еще сорок минут, и секретарь горкома решил пройтись пешком. Он вышел на улицу Мицкевича — широкую, как всегда оживленную, с молодыми только что посаженными липками. Эти липки были его гордостью. Весной он предложил озеленить несколько главных улиц, сам ездил в питомник за саженцами и потом вместе со всеми работал на субботнике. Приятно думать, что здесь когда-нибудь поднимутся деревья на радость людям.

Встречные здоровались с ним. Он тоже приветливо кивал в ответ.

В этот жаркий летний вечер он был рад и прогулке, и редкой своей беззаботности, и виду красивого, уютного и веселого города, для которого он вот уже второй год жил и работал.

Он пересек большую центральную площадь Плац на Бrame, прошел вдоль монастырской стены, пахнущей теплым камнем и сыростью, и по узенькой горбатой Францисканской улице подошел к серой громаде кафедрального собора.

Здесь пришлось остановиться и подождать немного. В соборе только что окончилась конфирмация, и через всю площадь протянулась длинная вереница девушек в белых платьях. Девушки шли молча, с горящими свечками в руках, смиренно опустив глаза... Секретарю горкома стало не по себе. «Ну кому нужны в нашем веке эти допотопные обряды?» — с досадой подумал он. Послезавтра, в понедельник, на совещании он поговорит с местными комсомольскими вожаками. Неужели они не могут найти новые, более действенные формы борьбы с религиозными пережитками?

Секретарь горкома, хмурясь, поднимался по тропинке, ведущей на Замковую гору. Едва он вошел в парк, как сразу, с первых же шагов понял, что праздник должен получиться на славу. Аллеи уже заполнили толпы гуляющих. На просторной зеленой лужайке под вязами веселилась молодежь, приехавшая из сел: парни и девчата в гуцульских нарядных костюмах водили хоровод, пели, плясали. Рядом шла борьба на поясах: двое «бор-

цов» пыхтели, пытаясь повалить друг друга на землю, а зрители подзадоривали их, шутили, хлопали в ладоши, худой долговязый «затейник» в желтой шелковой безрукавке кричал в рупор, что на главной аллее состоится массовый бег в мешках, объявлял призы для победителей.

«Молодцы!» — похвалил в душе секретарь горкома устроителей праздника. Особенно постарался сегодня торговый отдел. Чуть ли не на каждом шагу стояли лотки. Чего здесь только не было: мороженое, фрукты, конфеты, прохладительные напитки...

К секретарю горкома подбежала запыхавшаяся женщина, заведующая отделом культуры райисполкома, и сообщила, что колхозные передовики давно собрались в летнем театре и ждут торжественного открытия праздника.

Орленко пошел за ней. Выйдя на эстраду и посмотрев на радостные, сияющие лица людей, он поздравил передовиков колхозных полей, пожелал всем доброго здоровья, новых успехов и сошел с эстрады, сопровождаемый шумными аплодисментами.

Побродив немного по парку в сопровождении той же женщины из отдела культуры и ее заместителя, хмурого, тяжеловатого молодого учителя, которого только недавно на бюро утвердили кандидатом в члены партии, секретарь горкома, глядя на веселящуюся толпу, вдруг почувствовал, как устал за эту неделю. Попрощавшись со своими спутниками, он направился к выходу.

Было уже темно, на улицах горели фонари, и, словно соперничая с ними, в небе светил молодой месяц. Орленко с минуту постоял у своего дома, любясь звездным небом. На той стороне, у немцев, над черной шапкой Винной горы пламенел Марс, по-над Саном мерцала серебристая пыль Млечного Пути, застыли в вечном и неосуществленном желании бега Гончие Псы... «День будет завтра жаркий, такой же, как и сегодня», — решил секретарь и с удовольствием подумал о предстоящей рыбалке.

Жена лежала в постели с мокрым полотенцем на лбу — у нее от духоты разболелась голова.

— Спать! — сказал он, погладив ее по плечу. — Завтра поедем за город, проветримся, и все твои болезни пройдут. Все будет хорошо, да, да, все будет хорошо!

Звонок был слишком громким и прерывистым, как колокол...

— Петя, проснись, вставай!

Голос жены заглушил гул.

Орленко машинально протянул руку к будильнику, отвел рычажок. Но тут его подбросило на постели, и он мгновенно вскочил, протирая глаза. «Землетрясение...— мелькнуло в мозгу.— Или диверсия!»

Лицо жены было бледным, губы беззвучно шевелились. Она продолжала что-то говорить, но он уже не слышал ее. Дом дрожал от тяжелых ударов, которые становились все сильнее и громче.

Внизу на улице металась темная фигура людей, промчалась неоседланная лошадь без всадника, за ней пробежал кто-то в белом, послышались винтовочные выстрелы. Орленко отскочил от окна и схватился за телефонную трубку. Но как назло из памяти вылетел номер коммутатора погранотряда. Жена, догадавшись, протянула ему записную книжку. Он быстро набрал номер. Гудков не было. Набрал другой — дежурного по гарнизону. В трубке — тишина.

«Все ясно!» — сказал он себе и стал одеваться. Жена тоже одевалась. Они уже поняли, что случилось, однако еще не решались в этом признаться друг другу...

Через несколько минут оба уже спускались по лестнице. В подъезде стояли три или четыре женщины с детьми, одна из них, соседка со второго этажа, прижимала к себе грудного ребенка и громко, навзрыд, плакала.

— Что вы здесь стоите? — крикнул Орленко.— Идите в подвал, живо!

— Ты тоже иди с ними,— сказал он жене.— А я сейчас все выясню и вернусь.

В горькоме дежурный лихорадочно накручивал телефон. Увидев Орленко, он с трубкой в руке шагнул навстречу и отрапортовал, что собирает коммунистов по тревоге.

— Правильно,— сказал секретарь.— Кто-то уже пришел?

— Пока двадцать два человека.— Дежурный понизил голос.— Неужели это война?

Секретарь не успел ответить. Взрыв потряс здание, со звоном полетели стекла. На мгновение стало темно, с потолка посыпалась штукатурка.

В коридоре у входа в зал заседаний толпились люди, которым он должен был что-то сказать. Но что? В сознании клином засела фраза: «Возможны любые провокации врага». Это говорилось еще вчера. Но сейчас...

— Здравствуйте, товарищи! — привычно сказал секретарь, проходя в зал. — Давайте-ка сюда. — И не садясь, обратился к начальнику городской телефонной сети: — Скажите, а почему связь не работает?

— Почтамт разбит, — прохрипел связист и вытянул руки по швам.

— Вокзал тоже разбит, — быстро подсказал кто-то.

Орленко обернулся. Секретарь горкома узнал бойца железнодорожной охраны Васильева, которого недавно разбирали на бюро за недостойное поведение в семье. Железнодорожник тогда поклялся, что больше подобного не повторится, бюро поверило ему и вынесло строгий выговор... И вот он стоит здесь с винтовкой.

Дверь была открыта. Вбегали все новые и новые люди и приносили тревожные сведения: немцы ведут прицельный огонь по казармам и складам, на станции горят цистерны с нефтью. Немцы уже пытались перейти границу в районе моста, но пограничники эту первую атаку отбили и теперь укрепляют берег, носят туда мешки с песком, по-видимому, ждут нового штурма... На том берегу заметно скопление машин, среди них танки...

Секретарь горкома слушал, пытаясь казаться спокойным, но мысль его работала лихорадочно, выхватывая из груды сведений самое главное. Теперь он уже не сомневался, что никакой провокации нет, началась война. «Самое страшное сейчас в промедлении. Надо принимать решение немедленно!»

Зал был уже полон. Орленко увидел двух других секретарей — Шамрая и Кущиенко, заведующих отделами Бондаренко и Циркина, инструкторов Дудченко, Авдеенко, Фишера... Даже его помощник Ольга Сергеевна Бакаева и та прибежала. А ведь у нее двое детей, муж-пограничник тоже, наверное, уже сражается.

Орленко стукнул ладонью по столу, призывая к тишине.

— Товарищи! — сказал он. — Есть предложение помочь бойцам и сформировать вооруженный отряд коммунистов. Но предупреждаю: дело это добровольное. Если кто по какой-либо причине не в состоянии воевать, пусть

скажет, объяснений не требуется. Будем голосовать?
— Не надо! — раздались голоса.— Зачем время тянуть?

— Так, значит, все остаются?

Орленко вырвал из блокнота листок и быстро написал записку коменданту города.

— Давид Борисович,— он подозвал заведующего военным отделом Циркина.— Возьми с собой человек десять, грузовую машину и кати в штаб к пехотинцам. Пусть дадут нам оружие...— Он прикинул про себя количество собравшихся в зале.— Сто, нет двести винтовок, ну и соответственно патронов. Хорошо бы и пулеметы раздобыть, понял?

Циркин, высокий, с орлиным носом, взял записку и, козырнув, бросился к двери. За ним двинулись худой, скуластый Володя Мельник — политработник из городского отдела милиции и двое друзей — журналисты из газеты, заместитель редактора вездесущий Ваня Маринич, еще кто-то...

Секретарь приказал Николаю Павловичу Кущиенко вывести всех ополченцев во двор и пока условно разбить их на взводы, а другого секретаря, Шамрая, и Ольгу Сергеевну Бакаеву послал на второй этаж подготовить к эвакуации партийные документы. «Надо сделать это тихо, чтобы никто не видел»,— подумал он и решил поставить на втором этаже часового.

Он осмотрелся. Винтовка была только у Васильева. «Нет, этого не поставлю...» Подозвав шофера Костю, с которым сегодня утром собирался ехать на рыбалку, и вынув из кармана свой пистолет, сказал:

— Встань на верхней площадке и никого не пускай.

— Есть, не пускать! — ответил Костя.

Орленко вошел к себе в кабинет, забрал из сейфа все папки. Выходя, столкнулся в дверях с Циркиным.

— Что, уже привез?

— Нет у них оружия, все на руках. Дежурный сказал: идите к границе, там найдете...

— Каким образом?

Циркин вдруг ударил себя кулаком по лбу.

— Кажется, я знаю, где достать! Военкомат недавно объявил учебные сборы, его полигон здесь, рядом!

И он исчез.

Орленко поднялся на второй этаж. Там уже было все

готово. Шамрай и Ольга Сергеевна выносили ящики с документами через запасной выход к гаражу. Секретарь спустился вместе с ними, пожал руку Бакаевой, обнялся с Шамраем.

— Возите архив в Дрогобыч. По дороге, прошу вас, захватите мою жену и других женщин с детьми, если согласятся. Они в подвале... Ну, еще раз, Алеша, и вы, Ольга Сергеевна!

Он хотел сказать «до свидания», но только махнул рукой, отвернулся и зашагал обратно в дом. «Когда я ее теперь увижу? — подумал он о жене.— И каково ей будет в чужом городе, да еще с больным сердцем?»

Во дворе послышался топот ног. «Винтовки привезли!» — крикнул кто-то. Секретарь горкома бросился туда. Костя догнал его, вернул на ходу пистолет и встал в строй.

Коммунисты стояли во всю длину коридора в четыре ряда. Циркин, подтянутый и торжественный, ходил в узком проходе, раздавая новенькие, густо смазанные маслом винтовки.

— Первый взвод — сорок восемь человек! — выкрикивал он, поворачиваясь к столу, за которым сидел Владимир Мельник и заполнял ведомость.— Второй взвод — шестьдесят...

Орленко удивился: за какой-нибудь час собрались почти все, даже те, кто жил на краю города. Рядом с Мариничем и его журналистами стояли Валентин Васильевич Лизогубов с завода швейных машин, работник горкомхоза Андрей Степанович Гордиенко, Михаил Мельник — моложавый крепыш, директор средней школы...

В другом взводе выделялись своими черными куртками с блестящими пуговицами железнодорожники. Среди них тоже было двое знакомых: диспетчер Николай Покусаев и пожилой морщинистый поляк Юзеф, не то контролер, не то кассир: его фамилию Орленко вдруг забыл, вспомнив только, что, кажется, он еще не принят в члены партии. Юзеф воевал в Испании и бежал из французского лагеря для интернированных республиканцев. Стояли механики, сцепщики вагонов, бухгалтеры... Коммунисты с двадцатилетним стажем и только что получившие кандидатскую карточку... Молодожены и почтенные отцы семейств... Шеренгу замыкали женщины: Наталия Приблудная, заведующая городским музеем, и какая-то то-

пенькая белокурая девушка, по-видимому комсомолка. У женщин через плечо висели санитарные сумки с красным крестом...

Циркин закончил раздачу винтовок и доложил:

— Товарищ секретарь городского комитета партии! Вооруженный отряд коммунистов построен. Всего по списку сто восемьдесят семь человек.. — Он запнулся и уже тише добавил: — Включая вас. Какие будут приказания?

— Оружие есть у всех?

— Так точно! Двадцать винтовок еще осталось.

— Хорошо,— похвалил Орленко.— А патроны?

— Вот! — показал Циркин на груды ящиков в вестибюле.— Это мы у пехотинцев выпросили. Но мало: штук по пятьдесят на брата.

Ничего,— успокоил Орленко,— постараемся стрелять без промаха!

Он оглянулся и подозвал шофера Костю.

— Мчись в штаб к пограничникам. Узнай, где там у них особенно жарко. И быстро назад. Понял?

Чтобы как-то заполнить время, он приказал привести оружие в боевую готовность. Люди бросились разбирать патроны, протирать винтовки. Руки у всех были в масле. В ход пошли газеты, носовые платки...

Секретарь горкома посмотрел на новые красивые шторы. «Да черт с ними,— решил он,— все равно война».

— Снимайте их, хлопцы, и рвите на тряпки. А кто уже в полной боевой, выходи во двор строиться.

Протерев свою винтовку и набив карманы патронами, он еще раз осмотрел свой взвод. Люди стояли повзводно с командирами во главе. Теперь, получив оружие, все держались молодцевато и делали вид, что не обращают внимания на взрывы. Но стрельба усиливалась. Пролетело на восток несколько самолетов. В глаза било солнце, и Орленко увидел только черные крестики, потонувшие в розовом мареве. «Сколько же сейчас времени?» — вдруг спохватился он и взглянул на часы. Стрелки показывали четверть шестого. «Неужели прошел всего один час? — изумился он и подумал: — А еще вчера мы целых полдня обсуждали какой-то несчастный вопрос об оформлении витрин... Вот что значит темп войны...»

Возле него, скрипнув тормозами, остановилась машина. Приехал Костя.

— Начальник комендатуры капитан Дьячков передал всем привет! — выкрикнул он и тут же, испугавшись, что может разгласить военную тайну, перешел на шепот: — Он сказал, Петр Васильевич, что самый опасный участок — от моста и вправо, до водокачки. Пусть, говорит, ваши там помогут. А часть отряда просил направить в его распоряжение. Заодно надо чердаки прочесать в районе набережной и глубже, до рынка, а то в них диверсанты засели...

Орленко подозвал командиров взводов и коротко объяснил задачу. Он разделил отряд на две группы: по два взвода в каждой.

Одна группа направлялась, как просил Дьячков, в комендатуру, другая должна была скрытно, через проходные дворы, выйти на набережную. Секретарь решил, что сам вместе с взводами Циркина и Мельника пойдет во главе второй группы.

«Ну, брат Петро,— подстегнул он себя,— кажется, начинается. Теперь смотри, не оплошай!»

— Группа, смирно! — крикнул он.— Слушай мою команду: будем идти с интервалами в десять—пятнадцать метров. Первое отделение, за мной!

«Эх, песню бы сейчас!» В груди его гулко, в такт шагам идущих за ним людей, стучало сердце. Он вел свой отряд знакомыми проходными дворами, мимо глухих монастырских стен, через газоны и детские площадки, которые еще вчера призывал бережно охранять. Сейчас он слышал, как приближается грохот боя. Еще немного, и они будут там. Орленко снова посмотрел на часы. Половина шестого. Он оглянулся. Его ополченцы, молчаливые и решительные, шли за ним, некоторые уже сняли с плеча винтовки и несли их наперевес, словно готовясь к атаке. «Коммунисты! — с гордостью подумал он.— А ведь мы, наверное, первые из гражданских взяли оружие!»

И он зашагал еще быстрее.

Командный пункт находился за большим закопченным чаном, в котором ремонтники обычно варили асфальт. Молоденький лейтенант-пограничник, увидев вооруженных добровольцев, просиял. «Да вас целая армия!» — воскликнул он, сверкнув белозубой улыбкой. И вдруг крикнул: «Ложись!» Над головой прошелестел снаряд и разорвался на взгорье, неподалеку от недостро-

енного дота. Орленко что-то ударило в спину. Он схватился рукой и тут же отдернул ее. Это был небольшой осколок, уже потерявший силу, но еще горячий. Лейтенант спокойно поднял с земли зазубренный кусочек железа, подбросил его на ладони: «Вам повезло,— подмигнул он гражданскому.— Упал бы такой дурак на макушку — и хана! Вы хотя бы шапку надели...» Сам лейтенант был в каске и чувствовал себя уверенно.

Пограничник сел, привалившись к чану, положил на колени планшетку с картой и начал объяснять обстановку. Пока фашисты пытаются прорваться лишь в районе железнодорожного моста. Они уже предприняли ряд атак малыми группами, но были отбиты. Однако не исключена попытка прорваться на более широком фронте. Противник сосредоточил пехоту в нескольких местах на набережной и сейчас подтягивает к реке резиновые лодки, готовится к переправе. С нашей стороны этот участок обороняет одна застава Патарыкина. Конечно, людей у нас мало, но пограничники надеются, что их поддержат укрепрайонцы, сидящие в дотах...

Лейтенант приказал ополченцам занять рубеж на правом фланге от моста, в районе водокачки. Пока это было сравнительно тихое место: водонапорная башня на весь Перемышль одна, и немцы, чтобы не лишиться питьевой воды, по ней из орудий не стреляли. Лейтенант поставил задачу наблюдать за противником и открывать огонь только в том случае, если кому-нибудь из немцев удастся переправиться на наш берег.

Орленко, пригнувшись, побежал к домам, где на мостовой расположились его люди. Он поднял их и снова повел по дворам вдоль набережной, советуясь с идущими рядом Циркиным и Мельником, как лучше построить оборону. Циркин, которому не терпелось первым вступить в бой, предлагал разделить отряд на два эшелона: сам он со своим взводом займет рубеж на берегу вместе с пограничниками, а взвод Мельника останется пока в качестве прикрывающего и заодно будет осуществлять связь между ополченцами и штабом комендатуры. Мельник, конечно, возражал.

Где-то рядом, у пожарного депо, внезапно застрочил пулемет и раздался крик:

— Немцы!

«Неужели прорвались?» — с беспокойством подумал

Орленко и подбежал к воротам. Но на площади перед депо он увидел только двух пограничников с пулеметом. Они лежали за мешками с песком и стреляли куда-то в узкий проход между двумя большими домами.

— Да вот же они, вот!

Стоявший в воротах Доценко показал ему на группу людей в зеленой одежде, теснившихся в подъезде одного из домов, шагах в ста.

«Так вот они какие! Но почему же они не стреляют?» Он не успел сообразить, как что-то засвистело, рвануло. Сверху посыпались стекла и щебень, маленькую площадь заволокло дымом...

— Вперед! — раздался отчаянный крик Циркина.

Выбежав из ворот и опередив всех, командир взвода помчался по тротуару, стреляя на бегу. Ополченцы лавиной устремились за ним.

Этот первый бой скоро закончился. На мостовой лежали трупы фашистов. Вокруг них толпились ополченцы, у некоторых в руках были трофейные автоматы. Рядом с подъездом стояли на тротуаре небольшой ротный миномет и полупустой ящик с минами.

Секретарь горкома спросил командиров взводов о потерях.

— У меня во взводе все живы,— сказал Мельник.— Один ранен, но домой уходить не хочет.

— А у меня трое ранены, двое из них тяжело,— Циркин показал на соседний подъезд, где лежали на полу раненные, возле которых хлопотали санитарки.

Орленко отыскал шофера Костю и послал его за машиной.

— Отвезешь раненых в госпиталь,— сказал он.— А если встретишь кого-нибудь из наших, направляй сюда!

Отряд пошел дальше.

За последними домами начиналось изрытое воронками поле недостроенного стадиона. Дальше — пологий спуск к реке, где у излучины маячила толстая каменная башня водокачки. Поле простреливалось с той стороны — то и дело взлетали пыль, комья земли, словно кто-то неуловимо стремительный пробегал стометровку. Изредка взрывались мины — ухо уже хорошо различало их свистящий клеткот.

Ополченцы рассредоточились и стали выбегать из-за

укрытия по одному, по два. Они бежали к берегу, к кустам, где виднелись пулеметные гнезда и зеленые фуражки пограничников. Там был рубеж.

Пробираясь по канаве, Орленко добежал до крайнего гнезда. Командир расчета, скуластый сержант с расщепленной бровью, увидев человека в гражданском, с винтовкой, выхватил из-за пояса гранату. Но догадавшись, что это не диверсант, а свой, обрадовался.

— Располагайтесь здесь,— он показал рукой вдоль берега,— и окапывайтесь. Лопаты есть?

— Нет...

— Что же вы... — Сержант кинул на бруствер свою маленькую саперную лопатку.— Только скорее! — предупредил он.— А то, видите, немцы сейчас вброд пойдут.

Орленко, облюбовав для себя заросший кустами холмик на берегу, с лопатой и винтовкой в руках пополз к нему. Ополченцы ползли следом.

Но окопы вырыть не удалось. На том берегу послышались крики, и командир отряда сквозь кусты увидел длинную зеленую цепь немцев, спускавшихся к воде. Их было много, наверное, не меньше батальона. Но пограничники не стреляли, и ополченцы, глядя на них, тоже не стреляли. «Хотят подпустить ближе»,— понял Орленко и вспомнил знаменитую «психическую атаку» из фильма «Чапаев». Но немцы не были похожи на каппелевцев — они не шли молча, а вприпрыжку бежали по мели и орали хриплыми, натужными голосами.

Орленко с каким-то смешанным чувством страха и любопытства наблюдал за гитлеровцами. Один из них, широколицый, с галунами на погонах, бежал прямо на него. «Кто он — унтер?» Петр Васильевич еще держал фашиста в прорези прицела, и вдруг слева заговорил пулемет. За ним другой, третий... Крик на реке прекратился. Но тут же с того берега ударили десятки минометов. Над головой словно пронесся ураган и разорвался грохотом за спиной. Кусты затрещали от осколков, один оцарапал ухо, другой руку. «Жив!» — радостно промелькнуло в мозгу у Орленко, он даже не поморщился от боли. Он едва успевал перезаряжать винтовку — возле него на траве дымилось уже с десятков пустых гильз. Унтера перед ним уже не было. Цепь немцев разорвалась и превратилась в редкий частокол, который, однако, продолжал приближаться. Теперь прямо на холмик бежали

двое солдат: один высокий, рыжий, без пилотки, с засученными по локоть рукавами, другой коренастый, в мокром по грудь мундире. Орленко выстрелил, и долговязый, словно споткнувшись, упал на колени, ткнулся носом в воду. Коренастый остановился и, прижав автомат к животу, застрочил. Орленко едва успел спрятать голову: пули застучали в дерево, разбрасывая вокруг щепки... И вдруг автомат смолк. «Ура!» — крикнул кто-то сзади. Над головой камнем пролетела граната и разорвалась в воде. Орленко выглянул. Теперь река была пустой, только на песчаной отмели лежало несколько трупов. Вода перекатывалась через них, шевеля одежду...

В последующие два-три часа немцы предприняли в этом месте еще ряд атак, но уже не таких, как прежняя, а вялых, словно нерешительных. Они добирались вброд до середины реки и, осыпав ополченцев градом пуль, отходили обратно. Уже потом Орленко понял, что это было прощупывание сил. Но тогда... Тогда он стрелял в отдельных вырвавшихся вперед солдат и радовался, что его люди, вооруженные лишь винтовками, не пропустили на берег ни одного фашиста.

Но слева, у моста, зловещий грохот все нарастал. Тяжелые взрывы следовали один за другим, заглушая непрерывный стрекот пулеметов и автоматов. В небо взлетали столбы дыма, земли и камней. Судя по всему, дела там были плохи: несколько раз к Орленко прибегал посыльный из комендатуры и просил ополченцев помочь защитникам моста.

К полудню отряд уменьшился почти втрое. Второй взвод оттянулся к заставе, раненых унесли в тыл, человек двадцать по приказу из комендатуры направили на другие участки... Здесь, у водокачки, осталось не больше сорока ополченцев. Но теперь они были опытнее: хорошо окопались и вели огонь не беспорядочно, как раньше, а умело и бережливо, держа на счету каждый патрон. Орленко, который только что узнал от посыльного о выступлении Молотова, был уверен, что стоит продержаться еще какой-нибудь час и на помощь им обязательно придут войска. Дивизионная артиллерия уже вела огонь по вражескому берегу. За себя и своих людей он почему-то не беспокоился. «Как бы там немцы ни старались, что бы ни делали,— думал он,— мы не уступим им ни клочка этой земли, ни за что и никогда!»

И все-таки им пришлось отойти. Вскоре снова прибежал посыльный и передал приказ коменданта об отходе.

— Снимайтесь отсюда быстрее, а то вас могут здесь окружить,— крикнул он убегая.

«Значит, все-таки немцы где-то прорвались!» — догадался Орленко.

Он подозвал Циркина.

— Поднимай свой взвод!

— А вы?

— Мне оставь человек пять: мы вас прикроем.

— Нет, уж пойдем вместе!

— Выполняйте!

Ополченцы отходили снова дворами. Неподдалеку от Плаца на Бrame они встретились с пограничниками из заставы Патарыкина, и те сказали им, что на площади уже немцы, которые вышли на главные улицы — Мицкевича и Словацкого, и рвутся к парку. Оставался только один путь — вдоль набережной к кладбищу и дальше на Пралковцы. «Пойдемте вместе!» — предложили бойцы.

Пробравшись между кладбищенскими крестами и склепами, они вышли на большую поляну, ведущую к подножию холма. Здесь их догнал Патарыкин и передал новый приказ, теперь уже командира погранотряда Тарутина: не доходя до села Пралковцы, на северном склоне занять боевой рубеж, с тем чтобы не дать противнику выйти на дорогу Перемышль — Хыров.

Секретарь горкома яростно вгрызался лопатой в землю. Его глаза заливал пот, ладони были в крови. Он не отдыхал. «Только бы успеть окопаться, пока не подошли немцы!» — билось у него в мозгу.

Вражеская артиллерия уже начала артобстрел. Противник бил шрапнелью. Прилетело звено «хейнкелей» сбросило бомбы и улетело. «Приготовиться к отражению атаки!» — понеслось от бойца к бойцу. Руководивший обороной капитан-пограничник словно прилип к биноклю. «Идут!» — крикнул он.

Вдали показались вражеские пехотинцы. Зеленые фигурки сбегали по лесистому склону Замковой горы и рассредоточивались по кустам, обрамлявшим поле. Слева от них ехали по шоссе мотоциклисты с пулеметами и минометами, установленными в колясках.

— Аристократы! — проговорил стоящий рядом с Орленко в траншее пограничник.— Хотят и нас выбить, и сапоги в пыли не замарать.

Он выругался и выстрелил. Мотоциклисты, не оставиваясь, ответили. Застрочили пулеметы, засвистели мины...

Орленко снова стрелял, с беспокойством ощупывая пустеющий карман. Патронов осталось мало — всего две или три обоймы. А ведь еще утром ему казалось, что полсотни патронов может хватить черт знает на сколько. Он с завистью посмотрел на вещмешок с патронами, лежавший у ног бойца. Тот, перехватив его взгляд, подвинул мешок ногой.

— Бери! — сказал он.— Только не трать зазря...

Солнце уже висело над Винной горой, когда бой прекратился. Немцы после безуспешных попыток выйти к полотну железной дороги утихомирились. Зеленые фигурки поползли обратно на Замковую гору, уехали и мотоциклисты, оставив на шоссе несколько разбитых машин. Пограничник усмехнулся:

— На ужин поехали! — Он сел на бруствер, свернул сигарку и протянул кисет.— Закуривай, отец, рабочий день закончился.

«Отец!» — Орленко усмехнулся в душе и мысленно посмотрел на себя со стороны: небритый человек в помятом пиджаке, перепачканном землей и кровью... «Хорош же ты, хозяин города!» Но он не чувствовал обиды. Наоборот, ему было приятно, что боец разговаривает с ним как с равным: значит, он воевал неплохо...

— Петр Васильевич! — услышал он голос Циркина.— Вас зовут.

— Кто?

— Васильев.

— Чего ему надо?

— Ранило его.

— Ранило?

Орленко поднялся и пошел за Циркиным.

Железнодорожник лежал на траве бледный, с беспомощно раскинутыми руками. Над ним на коленях стоял другой ополченец, выполнявший роль санитаря. Он прикладывал к боку раненого тампоны из ваты и тут же отбрасывал в сторону. Вата быстро пропитывалась кровью, боец умирал.

Увидев Орленко, Васильев слабо улыбнулся.

— Ну что, товарищ секретарь, я оправдал себя перед партией?

Он закрыл глаза. Секретарь горкома нагнулся к нему, взял за руку, пожал ее, хотел сказать что-нибудь, но не успел...

Васильева похоронили здесь же, в окопе.

А вскоре, когда поле окутали сумерки, бойцы покинули и этот рубеж. Поступил приказ отойти еще дальше на юг, к селу Нижанковичи. Там, как сообщил связной, собрались все командиры во главе с самим генералом.

В большой комнате с занавешенными окнами горел яркий свет. Люди шумели. Орленко поставил свою винтовку в угол и огляделся. Командиров было человек тридцать, большинство из них он хорошо знал.

— Иди сюда, Петр Васильевич! — услышал он голос Тарутина. — Ты что там стоишь как бедный родственник?

Начальник погранотряда, сидевший на диване рядом с командиром дивизии полковником Дементьевым, подвинулся, освободив место.

В комнату вошел генерал Снегов. Все встали.

— Садитесь, товарищи!

Комкор прошел к столу вместе с начальником отдела политической пропаганды и начальником штаба, дал знак адъютанту повесить на стене карту. Орленко внимательно наблюдал за ним. Казалось, генерал — единственный из присутствующих, который остался, по крайней мере внешне, таким же, каким был всегда: чисто выбритым, подтянутым, аккуратным. Секретарь горкома знал его не очень хорошо. Ему казалось, что комкор вежлив, но суховат и слишком невозмутим. Но сейчас эта невозмутимость генерала действовала успокаивающе.

— Приготовьте и вы свои карты, — сказал он командирам. — Прошу доложить обстановку. Товарищ Тарутин, начнем с вас.

Начальник погранотряда, который теперь находился в оперативном подчинении у Снегова, встал, привычно одернул гимнастерку. Генерал слушал его не перебивая и лишь изредка кивал начальнику штаба, чтобы тот отмечал данные на карте. Тарутин говорил четко, короткими рублеными фразами:

— Противник начал наступление превосходящими си-

лами. В городе главный удар пришелся на участок четырнадцатой заставы. Мной была поставлена задача удержать госграницу любой ценой... После нескольких часов боя противнику удалось прорваться на флангах городской заставы: севернее водокачки и в районе парка... Прикрывающих сил не было: всех пришлось послать на защиту границы... К двенадцати ноль-ноль противник овладел мостом и вскоре занял центр города... Под угрозой окружения я дал приказ об отходе... На левом фланге, у села Пралковцы, был временно организован новый рубеж с целью оттянуть силы противника и помочь отходу основной группы, а также эвакуации раненых... В настоящее время положение таково. Заставы первой комендатуры — крайний северный фланг — смяты немецкими танками, сведений о ней нет... Вторая комендатура после упорной обороны и ряда контратак тоже отошла и закрепилась на рубеже примерно в двенадцати километрах от границы... Третья комендатура, обратив в бегство два вражеских батальона — обычный пехотный и войск СС, тоже под угрозой окружения с флангов несколько оттянулась назад... Четвертая комендатура капитана Дьячкова, как я уже докладывал, вместе с отрядом городского ополчения до полудня обороняла город, а затем по моему приказу отошла, имея в своем составе подразделения обслуживания и часть штаба погранотряда... На участке пятой комендатуры противник активности не проявлял... Таким образом, погранотряд имеет сейчас четыре комендатуры... Точных сведений о потерях еще нет, но полагаю, что в строю не меньше двух третей личного состава... Жалею, что мой комиссар в отпуске... Однако моральное состояние бойцов и командиров хорошее, — он сжал пальцы в кулак. — Товарищ генерал, к дальнейшему бою пограничники готовы.

Тарутин сел. Лицо его было бледным, на лбу блестели капельки пота.

Затем докладывали командиры стрелковых частей и подразделений, комендант укрепрайона. Слушая их, секретарь горкома постепенно успокаивался. Большинство подразделений, кроме укрепрайонцев и одного из стрелковых полков, людских потерь почти не имели и тоже рвались в бой. «А ведь город еще можно вернуть».

Он вздрогнул: ему показалось, что генерал прочитал его мысль.

— Мы только что получили приказ контратаковать противника. Посмотрим, как это успешнее осуществить.

Спокойно, словно не замечая всеобщего оживления, генерал подошел к карте.

— Что мы имеем у себя, нам известно. Теперь послушайте данные о противнике, хотя предупреждаю: некоторые из них весьма приблизительные, и их еще надо уточнить. Поэтому придется говорить исходя в основном из показаний пленных... — Он взял со стола карандаш.— Так вот, против нас действует около двух немецких дивизий: сто первая легкопехотная и примерно два полка двести пятьдесят седьмой пехотной дивизии — кстати, эта дивизия год назад одной из первых вступила в Париж... Короче говоря, у противника в полтора раза больше солдат, чем у нас. Пехоту поддерживают танки и авиация, которых у нас нет... Пока нет. Некоторые пленные утверждают, что на той стороне Сана, вот здесь, на их левом фланге, курсирует какой-то сверхмощный бронепоезд. Это все или почти все.— Генерал посмотрел на притихших людей.— Много? Да много. Но практически соотношение на сегодняшний день уже изменилось, причем в нашу пользу. Он обернулся к полковому комиссару.— Вы подсчитали потери противника, Владимир Иванович?

— Да,— живо откликнулся Петрин.— Всего по сводкам получается около тысячи солдат и офицеров.

— Вы слышали: около тысячи! Даже если эти данные несколько преувеличены, то все равно на одного нашего три немца, не так уж плохо... — Генерал повысил голос.— Передайте мою благодарность всем, кто участвовал в бою. Другие пусть не обижаются — скоро всем найдется дело.— Встретившись взглядом с Дементьевым, который собирался что-то сказать, генерал предупреждающе поднял руку.— Сейчас мы должны хорошо и быстро продумать план атаки! — Он снова посмотрел на Дементьева.— Николай Иванович! Слово за вами.

Дементьев встал.

— Ваша дивизия — наша главная сила. Как, по-вашему, можем мы вернуть город?

Дементьев выпрямился.

— Что значит «можем»? Обязаны. Все бойцы рвутся в бой.

— Этого мало. Нужен маневр.

— Он будет.— Полковник выразительно взглянул на генерала.

— А как думают другие?

— Я полностью согласен,— отозвался Тарутин.

— И я тоже,— последним сказал Снегов.— Итак, мы контратакуем врага в то же время: ровно в четыре ноль-ноль. Проверьте ваши часы. Сейчас двадцать три ноль-ноль... — Он подождал немного.— А сейчас попрошу всех сюда, к карте.

Да, это была лихая атака! В памяти вспыхнули и замелькали события, которые происходили три дня назад. «Как в фильме!» — подумал Орленко. В мозгу крутилось сразу несколько лент: они то разбежались по сторонам, то перекрещивались и рвались. И «крупным планом» вдруг выделялись то какой-то дом, то пушка, то чье-то лицо.

...Вот он и его ополченцы, уже переодетые в красноармейскую форму, стоят в строю сводного батальона пограничников. Они пойдут первыми. Всего в батальоне немногим больше двухсот человек, с ними четыре станковых и шесть ручных пулеметов. Орленко ощупывает подсумок: теперь он запасся патронами, это не то что вчера. Рядом с ним стоит Циркин. Перед строем расхаживает, как тигр в клетке, новый комбат Поливода, нетерпеливо поглядывает на часы. Это бравый парень, сразу видно: крутые скулы, короткий прямой нос, плечи литые, как у борца, походка мягкая и пружинистая. Поодаль стоит Тарасенков и тихо, вполголоса, разговаривает с командирами рот Архиповым и Патарькиным.

Маленький, красивый, с тонкими чертами юного мальчишеского лица политрук Королев мечтательно смотрит на занимающуюся зарю. Взлетает ракета, где-то за спиной грохочет залп. Поливода выхватывает из кобуры наган. «Пошли!»

...Вперед! Вперед! Убитый фашист падает под ноги. «Это уже пятый? Или шестой?» Орленко перепрыгивает через него и тут же прячется в подьезде. Сверху, с чердака, бьет пулемет. «Снять!» — командует Поливода. По лестнице устремляются двое пограничников. Через минуту слышатся несколько взрывов, чей-то крик. Пограничники сбегают вниз.

...Вражеские заслоны смяты. Немцы бегут, ныряют в ворота, растекаются по дворам. Политрук Королев выгоняет из подвала фрицев, те выходят бледные, трясущиеся, высоко подняв руки. При выходе на Татарскую улицу Поливода останавливается, подзывает к себе командиров рот. «Ты поведешь своих слева, через парк... А ты выходи на улицу Словацкого... Я пойду в центре... Встретимся у Плаца на Бrame, туда — по Мицкевича — идут пехотинцы. К двенадцати чтобы все были там — кровь из носа!» — Он быстро распределяет пулеметы по три на каждую роту и один группе прикрытия. Патарыкин пробует возразить: «Мне бы еще штучку, а то у меня сектор очень большой!» — «Обойдешься!» — Комбат показывает на спрятанную за углом пушку. — «А это у тебя что, куркуль, дырка от бублика? Думал, не замечу?» Патарыкин смущенно машет рукой: увидел-таки, дьявол! Хлопают выстрелы. «Вперед!» — слышен хриплый голос комбата.

...В конце улицы, у костела кармелиток, новая схватка — на этот раз с мотоциклистами. Их много, наверное с полсотни. Они воюют умело: одни отвлекают наших бойцов, другие, обогнув квартал, пытаются зайти с тыла. Рота залегла: кто спрятался за оградой, кто за деревом, кто в подъезде... Поливода перебегает от одного к другому, показывает, куда стрелять. Ему везет: сумка на боку разорвана пулями, а сам цел, даже не ранен. Кругом слышатся стоны. С Орленко сшибло фуражку (кажется, осколком мины). Она отлетела в сторону, но он не решается протянуть за ней руку. Да и некогда... «Поднимайся в штыковую!» — бросает кто-то, пробегая мимо. Орленко бежит за ним. Немцы, яростно отстреливаясь, отходят. Секретарь горкома видит перед собой широкую спину комбата. Он словно месит тесто. Слышен глухой треск... «Вот так!» — пронесется молнией в мозгу у Орленко. Он тоже колет кого-то в зеленом. Еще раз, еще... «Вот так!» Испуганно трещат моторы, мотоциклисты удирают вниз по Капитульной, скрываются в садах. «Ура! — несется им вслед. — Ура!..»

...Группа идет дворами, путаясь в закоулках. Через головы с тяжелым шелестом летят снаряды — это артиллерия 99-й бьет по Засанью, не дает противнику подтянуть подкрепления. Немецкие батареи на Винной горе уже больше часа молчат: по-видимому, их подавили

огнем или заставили менять огневые позиции. Пока они мешкают, нужно зажать в кольцо вражескую пехоту на этой стороне Сана и разбить по частям. Темп, темп! — вот что главное.

Но в одном из дворов заминка — передние уперлись в церковную стену. Через нее не перелезешь. За стеной, на колокольне, пулеметная точка немцев. Оттуда стреляют, на головы сыплются осколки кирпича. Что делать? Поливода бросает гранату, она разрывается где-то в соседнем дворе, не долетев до цели. «Разве отсюда достанешь их, гадов?» Он озирается и уже хочет идти обратно, как вдруг к нему подбегает паренек в круглой синей шапочке. «Пан командир, я знаю дорогу!» — «Немцев там нет?» — «Ниц немає!» Комбат машет рукой: «Веди!»

Маленький проводник ведет отряд по каким-то помойкам, ныряет под арки, перепрыгивает через водосточные каналы, петляет, как заяц, то исчезая в зарослях терновника и акации, то снова показываясь в своей шапочке, и, наконец, пройдя между огромными штабелями дров, приводит людей в какой-то двор, выложенный красивой узорчатой каменной плиткой. Посреди двора тихо плещет маленький старинный фонтан. «А ведь я знаю этот двор, — вспоминает секретарь горкома. — Отсюда рукой подать до улицы Мицкевича».

И вдруг рядом, над самым ухом, гремит оружийный залп. Несколько человек от неожиданности падают. Командир подозрительно смотрит на поляка, тот растерянно пожимает плечами... «Да это же наши!» — слышится радостный крик. Все бросаются к воротам, теснясь, выбегают на улицу. Поливода дружески хлопает по плечу высокого пехотинца в каске со шпалой в петлицах. «Опередили! Как же вышли?» — «А прямо по шоссе. Протаранили их передний край и вот гоним. Это им не вчера!»

...Теперь никто не сомневался в победе. Пехотинцы были вооружены до зубов. С ними шли и минометчики, и артиллеристы со своими маленькими, но грозными сорокапятками, делая короткие остановки для выстрела. Такое Орленко видел впервые. «Город наш, наш!» — стучало у него в груди.

Какой-то боец-пограничник с черными бачками даже подпрыгивал от радости. «А ведь это Серов! — вспомнил Орленко. — Как же я его не узнал?..» Секретарь горкома

был частым гостем в клубе погранотряда и знал всех тамошних талантов: этот разбитной парень был, наверное, самым примечательным из них. Он прекрасно играл на баяне, хорошо пел, плясал. «На все руки мастер! — говорил о нем политрук Уткин.— Только в военном деле слабоват».

Но сейчас «музыкант» выглядел браво: фуражка лихо заломлена на затылок, на худом подвижном лице улыбка до ушей, глаза блестят. «А в бою-то, оказывается, неплох! — подумал Орленко и огляделся.— Черт побери, да мы уже недалеко от Плаца на Бrame! А еще и одиннадцати нет...» Позади оставалась большая часть города — огромный треугольник, образуемый двумя главными улицам — Мицкевича и Словацкого. Где-то там, за крышами, и его дом. Цел ли он? «Дом! — он усмехнулся: что теперь думать о доме, когда он пуст, жены нет.— Эх, родная моя, где ты сейчас?»

Не доходя квартала до Плаца на Бrame, Поливода свернул в переулок. Разведчики доложили, что на площади скопилось много немцев, по-видимому, они решили предпринять контратаку. С крыши высокого дома, откуда обе главные улицы видны как на ладони, били пулеметы. «В открытую сюда не подойдешь,— сказал комбат, поглядывая из-за угла на серую каменную громаду.— Пожалуй, придется снести эту дуру вместе с фрицами». Но артиллеристы беспомощно развели руками: с пушкой к этому дому не подступишься, мешают другие здания. Поливода поморщился. «На нет и суда нет. Будем вышибать нашей пограничной артиллерией...»

Он послал к дому тех же двух бойцов с гранатами. Они пошли дворами, но вскоре один из них вернулся, зажимая ладонью простреленную щеку. «А где Селезнев?» — спросил Поливода. «Убили,— невнятно пробормотал боец.— Там у них как крепость: вокруг мешки с песком, пулеметы на всех этажах...» Он сплюнул кровью и прислонился к стене. «Не выполнили мы, товарищ старший лейтенант...» Поливода стиснул зубы. «Я сам пойду,— хрипло выдавил он и обернулся.— Кто со мной добровольцем — шаг вперед!» Политрук Тарасенков положил ему руку на плечо. «Не надо. Сам зря погибнешь и людей погубишь». — «А что же, по-твоему, отступить?» — «Зачем? Прорваться всем вместе с орудиями на площадь и ударить прямой наводкой».

...Это был самый страшный бой. Немцы сопротивлялись отчаянно. Они знали: если противник возьмет этот дом, то возьмет и площадь, а если возьмет площадь, значит, и город. Орленко никогда не думал, что какой-то квартал, всего сто метров, такой длинный, почти бесконечный... Здесь все происходило мгновенно: упал — вскочил, выстрелил — снова упал... Они наступали под сплошным огнем. Пули, казалось, сыпались с неба, вылетали из-под земли — из подвалов, канализационных ям...

И все-таки этот проклятый дом был взят. Взят!

На площади горел подбитый немецкий танк. Ветер нес густой чад, пахло порохом, маслом и еще чем-то паленым. Орленко вбежал в нижний этаж — там прежде был ресторан. В дыму, опрокидывая столики, метался толстый офицер в черном с пистолетом в руке. Орленко выстрелил — мимо. Немец прицелился. Кто-то крикнул: «Ложись!» Раздался взрыв, офицер упал. Серов, бросивший гранату, вскочил, подбежал к немцу, потрогал его ногой. «Готов!» Орленко тоже поднялся, пошатываясь, побрел к буфету. Перед глазами плыли круги, со стойки на пол текло что-то красное: не то вино, не то кровь... Не глядя, он нащупал бутылку, выбил ладонью пробку, отхлебнул: «Водка!» Он протянул бутылку пограничнику. Серов ошалело смотрел на него. «Товарищ секретарь?» И вдруг догадался: «За первую победу!»

Перемышль снова был советским, уже два дня. И снова он, Петр Васильевич Орленко, выполнял свои прежние обязанности секретаря горкома партии. Руководил эвакуацией женщин и детей, отправлял в глубокий тыл банк, ценное оборудование.

Нужд было много. Город существовал — истерзанный, израненный, но живой, и люди как всегда обращались к секретарю со своими просьбами и заботами. Он делал что мог: собирал пекарей, механиков, машинистов, врачей: одних уговаривал, другим советовал, третьих ругал... Его слушались, может быть, потому, что видели его лицо, серое от бессонницы, и пропотевшую красноармейскую гимнастерку. Он мог воевать и трудиться, вместе со всеми жил и питался, не требуя для себя никаких привилегий, а это, он понял, действует на людей лучше всяких красивых речей. Если надо, он первым брался за лопату или

за гаечный ключ, и ему тут же приходили на помощь, и дело сдвигалось с места, работа закипала, и невозможное становилось возможным...

Жизнь в городе постепенно налаживалась: уже работали три пекарни и в магазинах торговали свежим хлебом. Возобновила работу водокачка. В надежных подвалах и старых заброшенных фортах расставили койки, оборудовали операционные, и врачи, перестроившись на военный лад, при свете коптилок и мигающих аккумуляторных лампочек резали, штопали, гипсовали раненых. Кое-кому даже выдали зарплату — авансом, за месяц вперед, и люди почувствовали себя еще увереннее. Значит, решили они, дело прочно...

Так было здесь, в Перемышле. И так, думал секретарь горкома, происходит везде, во всех других пограничных городах, оправившихся от вероломного фашистского удара. Иначе быть не могло. Он специально послал шофера за газетами в соседний Добромиль.

— Без них не возвращайся! — предупредил секретарь. Ему не терпелось прочитать первые сводки.

Долгожданная «Правда» принесла нерадостные вести. Противник продвинулся на десятки километров в глубину почти по всему фронту.

Дважды перечитав сводку, Орленко почувствовал будто проваливается в пустоту. Желанная тишина, которая наступила после дневной канонады, вдруг показалась зловещей.

— Разрешите войти? — раздался звонкий голос.

Орленко вздрогнул и посмотрел на стоявшего в дверях человека. Это был Королев.

— Я на партсобрание.

— Входи.

Молоденький политрук, сияя, вынул из планшетки газеты, протянул секретарю.

— Прочитайте, это, наверное, о нас пишут.

— Где?

— А вот. «Как львы, дрались пограничники, бессмертной славой покрыли себя вчера бойцы-чекисты. Только через мертвые их тела мог враг продвинуться на пядь вперед». Как львы! — с гордостью повторил он и засмеялся. — Я бойцам только что вслух читал. Два раза подряд!

«Правда» была та же самая, от двадцать четвертого июня. Но почему же он, Орленко, не заметил этой статьи?

— А сводку тоже им читал? — спросил секретарь.

— Конечно...

— Ну и что бойцы?

— Ничего, нормально. Сперва, говорят, враг нас на пядь, а потом мы его вспять. Одним недовольны: почему на границе остановились, дальше немца не гоним? Хочу сегодня об этом на партсобрании сказать.

Орленко любовно посмотрел на политрука, на его вдохновенное мальчишеское лицо с большими чистыми голубыми глазами и почувствовал, что так же думает и он сам: почему бы не выбить немцев из Засанья и, развернувшись по фронту, не пройти на север, не ударить врага в спину, помочь соседям у Равы-Русской...

Вошел Поливода — теперь он был комендантом города, — сдержанно поздоровался, сел.

Часы на стене пробили одиннадцать. Этот мирный звон вернул всех в уже забытое привычное состояние. Коммунисты — их собралось не меньше ста человек — притихли, зашуршали блокнотами.

— Начинай, Петр Васильевич, — сказал Тарасенков.

Орленко поднялся, посмотрел на людей. Таких собраний у него еще не было. Многие пришли с передовой и скоро уйдут туда же, и кто знает, удастся ли им дожить до следующего... Он молчал. Перед ним сидели и стояли настоящие коммунисты, проверенные огнем. Им нужны не прежние, не тысячу раз сказанные-пересказанные слова, а какие-то другие, особенные...

— Товарищи! — медленно проговорил Орленко. — Партийное собрание батальона погранотряда считаю открытым.

Тарасенков доложил о боевых действиях, привел примеры доблести и героизма пограничников и ополченцев, вернувших штурмом город и вот уже два дня мужественно оборонявших его в условиях непрерывных вражеских атак с земли и с воздуха, сказал о наших и немецких потерях, сослался на известную многим статью в «Правде», перечислил фамилии бойцов и командиров, подавших заявления о приеме в партию, и перешел к основной части доклада — дальнейшим задачам организации...

Все это было знакомо каждому из присутствующих:

и подвиги, и потери, и атаки врага, и свои задачи, но теперь, выстроенные в ряд, они воспринимали уже как нечто новое и значительное. «Вот она, великая магия слова,— думал Орленко,— даже не слова, нет, а идеи, объединяющей всех нас: командиров и подчиненных, старых и молодых, опытных и наивных... Слова могут быть разными, как и люди, но идея — идея должна быть одна, великая и святая, как правда. И можно убить человека, можно разрушить города и села, но убить и разрушить идею, если она справедлива и дорога всем, всему народу, нельзя!»

Собрание было бурным и закончилось, когда уже начало светать. Секретаря горкома избрали и секретарем партбюро сводного батальона, его кандидатуру предложил Поливода. Люди заторопились. «Пора на места, а то немец уже, поди, просыпается, скоро нам из пушек «гутен морген» скажет!»

Орленко остался в комнате один. «Надо бы переписать протокол! — спохватился он. Но махнул рукой.— Сойдет и так, разве дело в бумаге?» Он перечитал протокол. Все правильно. «Слушали...» «Постановили... Удержать границу, не дать кусочка родной земли, защищать до последней капли крови».

Это был самый короткий протокол в его жизни.

На следующий день Тарутин снова приехал в штаб батальона, который находился теперь в типографии городской газеты: это было менее уязвимое для немецких снарядов здание, прикрытое с запада бывшим польским военным костелом.

В петлицах у начальника погранотряда уже красовались три шпалы.

— Растем! — посмеялся он.— Начал войну майором, а на пятый день, гляди, подполковника дали. Если в таком темпе пойдет, через месяц, чего доброго, и маршалом стану...

Он сообщил, что сегодня утром Снегов и Дементьев говорили по прямому проводу с командующим фронтом Кирпоносом и тот просил поздравить от его имени всех участников обороны, обещал выслать подкрепление и назвал перемышльцев героями за то, что они не дали немцам оседлать железнодорожную магистраль, ведущую на Львов и дальше на Киев, и тем самым помешали расцечь фронт надвое.

— Выходит, что они шли с отмычкой к воротам Украины, а мы их — за руку! — сказал подмигнув Тарутин. Начальник погранотряда выглядел бодрым, помолодевшим.

— А как дела у соседей? — спросил Орленко, кивнув на север.

— Бьются. Снегов обещал им одну из дивизий подбросить. За наш участок он спокоен, говорит, здесь девяносто девятая и пограничники до прибытия подкрепления вполне справятся.

— Уже справились! — тряхнул чубом Поливода. — Теперь вперед рвутся, а их держат. Почему?

— Знаю! — Тарутин нахмурился, его большое красивое лицо потемнело. — Я бы и сам готов хоть сейчас на Берлин, да, увы, это от нас не зависит. Нас что — горстка, надо, чтобы другие подтянулись. Ничего, — успокоил он вставая. — Как говорится: погодите, детки, дайте батке срок... Да, — обернулся он на пороге, — вы вчерашнюю сводку Совинформбюро читали?

— Читали.

— То-то. Теперь мы у всей страны на виду. Даже бе-ри больше — у всего мира!

«Правда» сообщила, что советские войска стремительным контрударом вновь овладели Перемышлем. Это было через несколько часов после партийного собрания, и новые члены бюро тут же пошли по подразделениям, прочитали сводку бойцам. Газета переходила из окопа в окоп, из дота в дот, ее под ураганным огнем добровольцы-агитаторы пронесли по всему переднему краю.

Люди торжествовали. К Орленко прибегали бойцы и командиры, радостные, возбужденные, и приносили новости. Всем хотелось отличиться. Здоровенный парень — сержант из группы особого назначения — рассказал, как ему удалось задержать вражеского лазутчика. «Приметил я на улице Мицкевича одну дамочку, видную такую, белолицую, и пошел следом. Смотрю, дамочка моя ведет себя как-то чудно: ходит без всякой цели по главным улицам и туда-сюда глазками зыркает, вроде как высматривает, где у нас объекты. А увидит мужчину — сразу отворачивается и ноль внимания. Нелогично, думаю, получается: уж если ты, красавица, такая по природе любопытная, то почему твой интерес распространяется только на штабы и огневые точки? Ну, я ее и при-

щучил! И что же оказалось? Оказалось, что это не баба а мужик, да еще с двумя пистолетами за пазухой»

Орленко был рад их бодрому духу и смеялся вместе со всеми. И хотя он знал то, чего не знали они,— о продолжающемся наступлении немцев на флангах, о выходе вражеских танков на Львовское шоссе,— он не считал нужным говорить об этом вслух. Все еще может вернуться к лучшему, зачем заранее омрачать настроение? «Веселому,— любил повторять он,— и море по колению, а унылый в своих слезах тонет!»

Но день кончился плохо. Вечером по телефону Снегов сообщил, что тяжело ранен полковник Дементьев. Его нашли в поле недалеко от разбитой машины. Дементьева тут же отправили в тыл. Командиром 99-й дивизии был назначен его заместитель полковник Опякин.

А ночью в комнату к Орленко ворвался Поливода. Лицо его было страшным.

— Послушай, секретарь. Знаешь, какой приказ я только что из штаба корпуса получил? Взорвать мост! А как же мы наступать будем? Не сегодня-завтра должны подойти наши танки, а тут... — Он тяжело рухнул на стул и опустил голову. Его фуражка упала на пол, он отшвырнул ее ногой и заскрипел зубами.

— А ты бы уточнил у Снегова,— сказал Орленко и, чтобы скрыть лицо, нагнулся за фуражкой, подал ее комманданту города.

— Нет его в штабе, уехал куда-то.

— Тогда свяжись с Тарутиным.

— И его нет.

Предчувствие подсказало Орленко, что начинается самое тяжкое, то, чего он ждал, но во что также не хотел верить.

Однако надо было что-то решать. Он поднялся и пошел в комнату к телефонистам.

Орленко попросил позвать Петрина. Тот подтвердил приказ.

— Значит, плохо?

— Плохо. Но еще не страшно.

— А что может быть еще?

Ему показалось, что сквозь расстояние он уловил вздох.

Секретарь горкома вернулся к себе. Поливода сидел, по-прежнему опустив голову.

— Григорий Степанович,— тихо сказал Орленко,— иди выполняй приказ,— он положил ему руку на плечо.— Иди.

Поливода молча встал, нахлобучил фуражку, не оглядываясь вышел.

Вскоре воздух потряс взрыв. В ночное небо взметнулось пламя и, скользя по крышам, рухнуло вниз.

Через два дня они покидали город. Собственно говоря, его участь была решена еще на сутки раньше, когда генерал Снегов получил приказ командующего фронтом оставить Перемышль и отходить по направлению ко Львову. Но тотчас выполнить его он не мог: поднимать войска днем, в открытую было нельзя. Обе дороги на Львов — железнодорожная и шоссейная — просматривались немцами с высот за Саном и были пристреляны. Да и попробуй-ка только показать спину врагу, он тут же ринется вперед и всадит штык между лопатками... Надо было дожидаться темноты, чтобы скрытно оторваться от противника и выиграть хотя бы несколько часов.

Было за полночь, когда оборона рассыпалась на десятки походных колонн и маршевых групп. Немцы еще спали. Лишь изредка их дозорные выпускали в небо ракеты, высвечивая передний край. И тогда люди, вылезшие из траншей и окопов, прижимались к земле и замирали. Было строго запрещено разговаривать и курить.

Пограничники и ополченцы отходили последними. Было уже совсем светло, когда Поливода остановил свой батальон на окраине города и приказал людям рассредоточиться. «Будем идти кучей — накроют нас всех, костей не соберешь»,— сказал он и поставил задачу: выйти на шоссе Самбор — Львов неподалеку от местечка Рудкй.

Гитлеровцы пока вели себя пассивно. Они видели на том берегу Сана пустые траншеи, разрушенные и полуразрушенные дома без каких бы то ни было признаков жизни, черные столбы дыма, поднимающиеся из глубины дворов, там, где, по данным их наблюдателей, находились штабы и склады, и мрачные, несмотря на солнце, безлюдные улицы с разбросанными на тротуарах и мостовых бревнами, ящиками и мешками с землей и песком. К подобным картинам многие из них привыкли уже по прежним походам в странах Европы. Но это было там, на Западе. А здесь?..

Немецкий генерал, приехавший со своей свитой на набережную, долго рассматривал пустынный город в бинокль, не решаясь дать команду войскам перейти Сан. «Не хотят ли эти русские снова заманить нас в ловушку?» — думал он. Перед ним словно еще витала тень недавнего разгрома... Он приказал сначала послать разведку, и на тот берег вброд отправилась одна рота. И только когда командир роты доложил ракетой с Плата на Бrame, что «все в порядке», генерал, облегченно вздохнув, сел в машину и поехал к себе в штаб писать рапорт о взятии города — второй раз, и, как он суеверно приписал от себя, бог даст — последний...

Вскоре фашисты бросились в погоню. В небе показалась их «рама», помахала крыльями, и батареи, стоявшие на Винной горе, перенесли огонь вправо от основной магистрали. А слева, с севера, как доложили разведчики, в этом направлении двигались танки и мотопехота.

Теперь пограничники шли на восток, выполняя поставленную задачу: прикрыть в случае преследования свою главную силу — 99-ю дивизию, которая двигалась южнее и пробивала путь к фронту, откатившемуся, возможно, к старой границе*.

За Пикүлицами они увидели пылящих по шляху немецких мотоциклистов. Отбились от них на ходу, не останавливаясь. За речушкой Виар у Нижанковичей Орленко снова встретился с Поливодой. Бывший комендант Перемышля стоял с побуревшим от пыли лицом и мрачно смотрел на тянувшиеся по шаткому мостику повозки с ранеными. Он тронул Орленко за рукав: «Подожди, секретарь!» Взгляды их встретились, и, поняв друг друга без слов, оба поднялись на холм, в последний раз оглянулись на город. Он был уже далеко, за желто-зелеными полосами полей и перелесков, одним концом приныкший к земле, а другим — со своей Замковой горой — вздыбившийся в небо. Таким Орленко видел его впервые. «Как мертвый лев...» — подумал он и посмотрел на Поливоду.

— Не журишь, Григорий Степанович, мы еще вернемся.

Поливода молчал. На щеках у него каменели желваки, сильные пальцы, сжимавшие пряжку ремня, побелели.

* Имелась в виду бывшая граница с панской Польшей.— *Прим авт.*

Орленко сбежал с холма к реке, освежил лицо и вернулся в строй.

— Пошли! — сказал он ожидавшему его Поливоде.

— Пошли...

И они зашагали, уже не оглядываясь.

Шестьдесят километров прошли за двенадцать часов.

Когда отряд вышел к долгожданным Рудкам и был объявлен привал, люди уже не думали ни о чем, кроме сна. Но спать не пришлось. Примчался на взмыленной лошади посыльный от Тарутина и сказал, чтобы весь батальон немедленно снимался с места и выступал по направлению к Комарно, где находился штаб. Зачем, почему такая спешка — никто не успел спросить, посыльный тут же умчался обратно. Командиры рот бросились расталкивать спящих, и люди поднимались, строились в колонну. Тревожно ржали лошади, скрипели повозки, стонали раненые. Орленко, шагая в сгущающейся темноте, с трудом поспевал за молодыми бойцами. Но и те еле шли. Кто-то, увидев в стороне от дороги одинокий хутор, в окне которого теплой звездочкой светился огонек, сонно пробормотал: «Там живут!» Орленко нехотя улыбнулся: как всё в этом мире относительно — и горе и счастье. Еще совсем недавно вот в такой поздний час он сидел дома, в уютной квартире, за заботливо накрытым столом или лежал с книгой на мягкой тахте и воспринимал это как должное. А сейчас готов был отдать полжизни за несколько часов сна на каком-нибудь сеновале... Он отогнал эти мысли. То, прошлое, осталось позади. Теперь он был боец, такой же, как все, кто шел вместе с ним. И надо было идти. Идти, идти и идти!

В Комарно они пришли ночью. «Молодцы!» — похвалил Тарутин и пригласил командиров в хату.

— Ну, как твои ополченцы? — спросил он у Орленко. — Не отстали?

Он пытался бодриться, но его выдавало лицо: под глазами синели круги, губы выцвели и потрескались.

«Постарел он за эти три дня», — отметил Орленко.

— Вот молоко, пейте, — начальник погранотряда показал на кринку с молоком. Потом выдал каждому по пачке «Казбека» и стал объяснять обстановку.

То, чего опасался генерал Снегов, случилось: немцы,

прорвав наш последний заслон на севере от Перемышля, вышли на Львов. В связи с этим возникла еще большая опасность: моторизованные части противника продвигаются по магистрали гораздо быстрее, чем наша пехота. Единственная возможность задержать наступление — дать бой немцам здесь, помочь пехотинцам пройти вперед к старой границе, где, по имеющимся сведениям, две или три наши отступающие армии должны организовать оборону на широком фронте и остановить врага...

— Задача всем ясна? — закончил свое сообщение Тарутин.

— Все понятно, — глухо отозвался Поливода.

Остальные командиры молчали.

— А раз понятно, — повысил голос Тарутин, — немедленно за работу. Раненых отправим вперед, всем остальным копать. К рассвету рубеж должен быть готов. — Он повернулся к стоящему за ним начальнику штаба. — Лопаты у жителей собраны?

— Так точно!

— Раздайте их бойцам, у кого нет. А две оставьте — себе и мне. Всё.

Рубеж был оборудован на северо-западной окраине Комарно, на горе, в садах. После ночного дождичка остро пахло смородиной. Над головами свисали тяжелые ветки, осыпанные недозрелыми яблоками. Сквозь густую листву на засиневшем, умытом небе ярко светились звезды. В брошенных хозяевами сараях голосили петухи, кудахтали куры. Начинаясь еще один день.

Вернулись разведчики, доложили: головная колонна немецких танков прошла на северо-восток, ко Львову, за ней беспрерывным потоком следуют машины с солдатами.

— А боковое охранение у них есть? — спросил Тарутин.

— Есть. Вдоль дороги по проселкам шныряют мотоциклисты. Замечен также отряд танкеток.

Начальник погранотряда присел в окопе, пошарил фонариком по карте.

— Эх, повернули бы они сюда, в лощину...

Он не успел договорить. Снизу, из-под горы, в небо взлетела ракета и, описав дугу, упала по ту сторону села.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит! — снова услышал

Орленко веселый голос Тарутина.— Хотят девяносто девятой во фланг ударить. Сейчас будут здесь.

И точно. Не прошло и получаса, как послышался гул моторов. Замигали огни фар. Стаями они сползали с окрестных холмов и скапливались в долине. Казалось, что внизу, в черной впадине, среди лозняка и травы растет, мерцает и шевелится какое-то светящееся чудовище...

Орленко насчитал по огням около пятидесяти грузовиков и десятка три мотоциклистов. «В каждой машине,— прикинул он,— двадцать солдат. Итого, кроме мотоциклистов, тысяча... А у нас едва ли и половина наберется».

Взлетела еще одна ракета и осветила долину. Машины сгрудились у реки, не решаясь перейти ее вброд. Солдаты снимали с себя оружие и выпрыгивали из кузовов, бежали в лес...

Вскоре послышался визг пил, стук топоров, треск падающих деревьев. Немцы строили переправу. Надо было их накрыть сейчас.

Над окопами прошелестела команда: «Приготовиться!». Орленко приник к винтовке. Кто-то рядом жарко дышал в ухо, тикали часы на руке.

— Огонь!

Тишина разорвалась грохотом. С хрустом пронесся снаряд. И сразу стало светло.

Бой начался.

А закончился этот бой под вечер, когда уже никто не знал, какой ценой досталась победа...

С первой вражеской группой расправились быстро, в течение часа, но затем подошла новая. Ударила артиллерия, появились танки, и рубеж был смят. Тарутина ранило осколком в лицо, разворотило верхнюю губу. Его хотели уложить на носилки, но он не дался и продолжал руководить боем. Один за другим умолкали пулеметы, в окопах было уже больше мертвых, чем живых.

Под вечер поступил приказ на отход. Отбиваясь от наседавших гитлеровцев, мелкими группами бойцы прорывались на восток. За городом Миколаевом группа, с которой шел Орленко, встретилась с пехотинцами. Бывшего секретаря горкома пригласили в штаб корпуса. В тесной каморке лесника чадила коптилка, на стенах, дрожа, горбатились тени.

— Садись,— сказал Петрин.— Есть хочешь?

Орленко отмахнулся.

— Тогда на, читай.

Комиссар протянул листок. В глазах запрыгали строчки. «Немедленно отозвать и направить в распоряжение ЦК...»

«А как же они? — Орленко растерянно посмотрел на Снегова, склонившегося над картой, на Петрина, на бойца, стоявшего в дверях с винтовкой в руке... А где-то там его ополченцы, Тарутин. Перед ним вдруг встало его большое темное, окровавленное лицо.— Они останутся?»

— Я не поеду, Владимир Иванович, подожду.

— Чего?

— Вот выйдем к старой границе, тогда...

Снегов усмехнулся, поднял покрасневшие глаза.

— Если ехать, то не позже чем утром. Пока еще машина, надеюсь, проскочит. А за дальнейшее не ручаюсь.

Петрин, грузно скрипнув табуреткой, поднялся.

— Петр Васильевич, я тебя понимаю. Но...— Он развел руками и шагнул навстречу.— Давай, брат, прощаться!

Автомобиль летел по большаку прямо на солнце. Шофер, низко надвинув козырек фуражки, остро выхватывал взглядом бегущие под колеса ямы, разбитые зарядные ящики, какие-то бочки, мешки... Маленькая эмка вихляла из стороны в сторону, и полоса пыли тянулась за ней как размотанный бинт. Орленко несколько раз оборачивался назад, вглядываясь в убегающую вдаль рошу. Вот она мелькнула в последний раз и исчезла...

Машина съехала с холма к реке и остановилась. Под ветхим мостиком лежала на боку тяжелая пушка со снятым замком. Шофер вылез, прошелся по мосту, потрогал сапогом бревна.

— Авось, выдержит,— сказал он, снова садясь за руль.

На том берегу, взлетев на холм, они увидели висевшую над дорогой «раму». Шофер вдруг резко свернул на юг и повел машину по еле заметной тропинке через поля. Орленко с беспокойством взглянул на него. «Откуда он знает, куда надо ехать?» — подумал он. Но шофер не знал — он чувствовал. По его повеселевшему лицу Орлен-

ко понял, что дорога выбрана правильно. «Чудно! Один поворот руля — и все изменилось!» Здесь, на колхозных полях шла работа: мелькали косынки женщин, струился дымок полевой кухни. Орленко тоже повеселел: «Словно в другом мире...»

Эта картина была ему приятна и неприятна. Крестьяне берегли урожай, заботились о завтрашнем дне. Но ведь завтра сюда придет враг, и плоды их труда достанутся ему! Нет, эти люди еще не поняли, что такое война. Пока они берегут лишь свой дом, своих детей, свое поле. А надо беречь всю страну. Надо уходить в леса, сжигая дома и посевы, оставлять врагу только пепел, окружать его смертоносным кольцом огня, гнева и ярости... Но будет ли так?

Он не удержался и сказал об этом вслух.

Шофер согласно кивнул головой.

— Будет! — уверенно произнес он. — Народ, что медведь: пока рогатиной в бок не ткнешь, из берлоги не вылезет. Ну, а ткнешь, тогда уж держись!

— Все равно победим! — сказал Орленко, думая о своем.

Шофер засмеялся.

— А когда мы их не побеждали? Там, в Перемышле, они у нас как драпали — вы видели?

— Видел.

— Ну и тут будут. Непременно будут. Только, может, не так скоро...

Он с силой нажал на стартер, и машина, поднявшись на гребень, выскочила на шоссе.

Орленко прищурился, пытаясь разглядеть, что там впереди, но ничего не увидел. Впереди лежала только длинная бесконечная лента дороги, уходящая за горизонт. Она сверкала на солнце и слепила глаза...

Десять дней, всего десять дней из большой и нелегкой жизни, но Петр Васильевич запомнил их навсегда и не уставал вспоминать — будь то на шумной многолюдной встрече или дома за столом в его тихой и скромной киевской квартире. Иногда я получал от него письма: это бывало обычно тогда, когда он узнавал от своих старых боевых друзей какую-нибудь интересную подробность о боях в Перемышле. Этот город так и вошел навсегда в их сердца, недаром они называли друг друга «перемышльцами».

Комиссар Ильин

Не могу назвать его иначе, как комиссаром, хотя звание генерал-майора он получил будучи на командной должности и вообще любил именовать себя строевиком. Но известно, что командиры и политработники шагали в одном боевом строю, одинаково рисковали жизнью и часто, если кто-то из них выбывал из строя, командир заменял политрука, или, наоборот, политрук брал на себя командование в бою... Словом, всякое бывало. Но речь пока не о том.

В Москве в Центральном Доме Советской Армии шло торжественное заседание, посвященное двадцатилетию Победы. Было оно весьма представительным: с докладом выступал заместитель Министра обороны, в президиуме — известные военачальники, Герои Советского Союза, партизанские вожаки. Ветераны войны — их здесь было большинство — надели все свои ордена и медали, и зал, где горела огромная люстра, прямо-таки сверкал золотом.

После доклада председательствующий объявил перерыв, и люди вышли в вестибюль. Тщетно всматриваюсь в лица, пытаюсь увидеть кого-нибудь из бывших однополчан. И вдруг где-то рядом прозвучало слово «Перемышь».

В стороне полускрытые малиновой бархатной шторой сидели двое: один генерал-лейтенант, другой — в гражданском костюме с неестественно отставленной негнущейся ногой.

Они разговаривали, как разговаривают старые друзья — доверительно, на равных, понимая друг друга с полуслова.

— Хорошо маршал о Перемышле сказал! — произнес человек в гражданском. — Давно пора! Наши воины совершили там бессмертный подвиг!

— Ты прав, — откликнулся его собеседник. — Еще бы, выбить фашистов из города на второй день войны и восстановить границу... Мы все, вся армия, воодушевились, когда узнали об этом. Но ведь ты был тогда не там?

— Не там, но рядом, во Львове.

— В части?

Человек в гражданском усмехается.

— В резерве... Но все же выбил себе назначение именно к ним, в корпус Снегова.

— О, я Михаила Георгиевича знал! Замечательный был человек.

— Мне пришлось повоевать под его началом. Недолго, с месяц...

— Тогда, брат, месяц равнялся иному году. И кем же тебя назначили?

— Начальником отдела политпропаганды девяносто девятой...

— Первой орденоносной дивизии с начала войны?

— Так точно. Горжусь этим по сей день.

— Да... А ты награждение застал?

— Застал. Но практически оно тогда не состоялось: дивизия была все время в боях, почти без отдыха. После получили ордена... кто остался жив.

— Значит, и твоя капелька крови на том знамени есть?

Генерал-лейтенант дружески обнимает гражданского за плечо.

— Пойдем, пора. Слышишь — звонок?

Они направились снова в зал.

— Ты не знаешь, кто эти двое? — спрашиваю у знакомого журналиста из военной газеты.

— Генерал-лейтенанта знаю.— Он называет имя довольно известного военачальника.— А второй... Кажется, его фамилия Ильин. Он тоже генерал.

И вот я у него в гостях.

Мы сидим за столиком в саду, насквозь пронизанном солнцем.

— Да, было, было...— говорит Петр Сысоевич.— С этой дивизией я прошел почти от старой границы, а вы-был по ранению...— Генерал недавно перенес инфаркт, и говорить ему пока трудно.— Знаете, я лучше покажу вам еще одну статью, побольше.

Генерал встает, поскрипывая протезом, идет в дом и возвращается с пачечкой листов отпечатанной на машинке статьи.

— Это я давно, вскоре после войны, написал. Читайте отсюда, с середины.

«Дивизию я догнал 18 июля к вечеру, когда она приближалась с запада к городу Виннице. Командовал ею

полковник Опякин, начальником отдела политпропаганды был полковой комиссар Харитонов...» Это о 99-й! И я читаю дальше.

От Миколаева до старой границы дивизия пробивалась с боями. Враг нажимал на нее со всех сторон, пытаясь взять в клещи, беспрерывно клевал с воздуха, но она шла, яростно обороняясь и одновременно ища любимую, иногда почти неуловимую брешь во вражеском кольце. Два или три раза генералу Снегову удалось связаться со штабом фронта. Оттуда обещали подкрепление. Но оно не пришло. А строй редел, в степях и перелесках оставались убитые. Крестьяне говорили, что впереди немцы, советовали одеться в гражданское и идти скрытно, лесами. Но бойцы 99-й отвечали на это лишь усмешкой.

Мужество всегда находит приверженцев: почти в каждом селе к походному строю присоединялись местные парубки, еще не достигшие призывного возраста. Как их ни гнали командиры назад в родные хаты, они не уходили. «Мы же здесь любую тропинку знаем!» — клялись они. И командиры смирялись и приказывали дать им оружие.

За Проскуровом 99-ю догнал на машине новый начальник политотдела Ильин. Его представление командованию было коротким. «Прибыли!» — «Прибыл!» — «Но у нас здесь не мед, знаете?» — «Знаю». — «Ну и отлично». Снегов и Петрин пожали новичку руку и направили дальше — к Опякину и Харитонову. Те тоже были немногословны. Харитонов на ходу посвятил в события, предупредил, что будет трудно. Но Ильин и сам видел... От дивизии осталось едва ли больше половины. В строю шагали раненые: кто с повязкой на голове, кто с перевязанной рукой. Эти люди уже не боялись ни бога, ни черта. Начальник политотдела понял: здесь не надо агитировать. Надо драться с врагом, не думая о себе, и завоевывать уважение только личным примером.

...А вскоре он увидел дивизию в бою. Ночью головная колонна подошла к Виннице. Разведчики доложили: восточная часть города уже занята немцами, их охранение, вооруженное пулеметами и минометами, контролирует все дороги, ведущие на восток.

Командиры снова склонились над картой. Но все было ясно и так. Обойти город нельзя ни с севера, ни с юга. Дорога на север, к Житомиру, перерезана немецкой танковой группой — об этом сообщили все еще прикрываю-

щие дивизию с фланга остатки погранотряда. На юге, у Жмеринки, немцы тоже вбили мощный танковый клин, который может задержать лишь естественный рубеж — река Южный Буг, и то, если сосед справа успеет взорвать мосты... Остается одно — пробиваться здесь, у Винницы. Снегов с Опякиным переглянулись, поняли друг друга без слов. Тактика должна быть прежняя, уже проверенная: стремительный штурм с захватом переправочных средств.

Полковник Опякин приказал командиру разведбата смять вражеское охранение. По большаку проскрипели гусеницы — это прошли вперед три маленьких танка.

О начале боя догадались сразу, по первым же взрывам. Била вражеская артиллерия, пытаясь преградить путь. Но танки прорвались. Вернулся на трофейном мотоцикле связной, доложил, что первый мост через Буг взят. Тогда Опякин двинул пехоту.

Уже светало. В розовой от солнца пыли промчался на лошади командир одного из полков — майор Хмельницкий, невысокий, плотный, в распахнутой черной кожаной куртке. Он на рысях взлетел на холм, откуда был виден город с двумя мостами, соскочил с седла, отдал ординарцу лошадь и подбежал к НП. «Этот сейчас даст им пить!» — сказал, не отрывая от бинокля глаз, Харитонов. Ильин кивнул головой, хотя видел командира 197-го полка только мельком на совещании. Но Харитонов не стал бы хвалить человека зря.

Немецкая артиллерия свирепствовала всюду, била фугасными и осколочными снарядами, стараясь прижать пехоту к земле и отрезать ее от ворвавшихся в город танков. Однако наступление развивалось. Хмельницкий ракетами поднимал роту за ротой и бросал их в узкое горло прорыва. Сквозь дым, окутавший НП, Ильин увидел майора. Командир полка вскочил на лошадь и умчался по направлению к городу. «Пора и нам», — сказал Харитонов, пригласив Ильина в машину. Он словно знал, что теперь путь свободен.

Так оно и было. За эти несколько часов наши танки успели занять и второй мост через Буг. Тут им на помощь подошла пехота. Хмельницкий поставил задачу: очистить от противника прилегающие к мостам улицы, пройти дальше, пробить коридор для штабов и обозов. Неудержимой атакой — где огнем, а где штыками — бойцы очищали квартал за кварталом. Следом за ними по-

чти впритык двигались остальные. По булыжной мостовой неслись, разбрызгивая пену, лошади, грохотали повозки... Бой шел где-то рядом, на флангах. А здесь, в центре города, лишь свистели осколки, сыпавшиеся с неба, как град.

Это был первый бой, в котором Ильин увидел грозный почерк 99-й.

На восточном берегу Буга дивизию ожидали новые испытания. Немецкие танки снова были справа. Но пока они шли параллельно дивизии, видимо выжидая удобный момент для атаки.

Снегов снова связался со штабом фронта. В рации что-то шипело и трещало, генерал с трудом уловил приказ: выйти на участок железной дороги Умань — Тальное, не пропустить противника к этой важной линии, которая питает чуть ли не две наши армии. И уже в конце генералу сказали, что его и 99-ю дивизию вскоре ожидает радостная весть. «Какая?» — спросил он. Ему ответили: «Следите за сообщениями!» Он только пожал плечами.

Начальник политотдела ходил вместе с пехотинцами Хмельницкого в атаку под Дашевом, учился прокладывать путь штыком, не забывая, однако, что он политический руководитель. Подбадривая других, он подбадривал и себя, ведь ему было тогда уже за сорок. О своих подвигах генерал не пишет. Пишет, что воевал, «как и все». Как все в 99-й. Но силы иссякали. Нашему командованию план врага был ясен. Противопоставить ему оно могло лишь свою отработанную за месяц боев тактику, ну и, конечно, отчаянную, безоглядную храбрость своих бойцов.

Бои, прорывы и снова бои. Какой из них выделить?

Ильин пишет, что один особенно ему запомнился.

«Этот бой начался рано утром. Я находился в роте пограничников, имевшей задачу обойти слева противника, занимавшего село. Мы по ложине вышли к водяной мельнице, расположенной на окраине села. Надо было проскочить по мельничной плотине, которую немцы держали под огнем ручных пулеметов. Наши бойцы бесстрашно бросились вперед. По узкому мостику они пробегали парами, некоторые падали в воду. И все-таки мы преодолели плотину. Накопившись на другом берегу пруда, рота, несмотря на численное превосходство врага, атаковала фашистов. Дело дошло до рукопашной схватки. На каждого из

нас приходилось по два-три гитлеровца. Дрались зло — и те, и другие. В ход пошли гранаты, приклады, ножи. Хотя у меня был уже некоторый опыт, но такое я наблюдал впервые».

Это село называлось Краснополка. Оно на карте даже не обозначено, и генерал не знает, осталось ли от него что-нибудь, поскольку тогда все горело, рушилось.

— Краснополка?.. Краснополка?..— повторяет генерал, вдруг оживляясь. И с досадой машет рукой.

— Чертова старость! А все-таки вспомнил. Да ведь там же, в Краснополке, мы услышали по радио сообщение, что наша дивизия награждена орденом Красного Знамени?

Он берет у меня статью, близоруко приблизив листки к глазам, лихорадочно листает.

— Я же писал... Ага, смотрите здесь!

«Такое забыть нельзя! — читаю я.— В тяжелой обстановке отступления люди, измотанные непрерывными боями и походами, были взволнованы, потрясены этим известием и благодарили за признание их ратного труда. Многие плакали от радости».

Бывший начальник политотдела вспоминает, что он написал тогда обращение к бойцам. «Слова сами шли из души. Тут были и боль за погибших товарищей, и гнев на проклятых фашистов, и радость от того, что не посрамили знамя, и гордость за наше прекрасное, молодецкое воинство... Представьте, я тоже тогда плакал — такой был накал чувств. Писал — и плакал».

Он обещает поискать эту листовку в своих бумагах и показать ее мне.

— Что у вас еще сохранилось от тех дней?

Петр Сысоевич, усмехнувшись, стучит себя по протезу.

— Значит, вы тогда выбыли из армии?

Генерал упрямо качает головой.

— Шиш, да маленько! — так я сказал тем, кто предложил меня комиссовать. Не таков, мол, Ильин, чтобы выбыть из строя в самом начале войны. «Я сказал,— он грозит кулаком,— должен с фрицами рассчитаться за все мои раны, за все передраги!»

— И вас послушали?

— Не могли не послушать.— Он подмигивает.— Я ведь ни в огне не горю, ни в воде не тону...

И чтобы его слова не приняли за бахвальство, поясняет:

— Вот мои приключения только за первый год войны.— Он кладет на стол большую красивую совсем не старческую руку и начинает загибать пальцы.— Окружений — три, ранений — три легких и одно тяжелое, побегов — два: один — удачный — от немецкой стражи и еще один — неудачный — из нашего тылового госпиталя. Три раза тонул, раз пять меня зачисляли в списки пропавших без вести, однажды даже успели домой повестку послать, а нет, оказался жив курилка! — Он смеется.

— И как же вы справлялись?..

Ильин, видя, что я замаялся, подхватывает:

— Как я комиссарил на одной ноге? — Он смеется.— Так же, как и на двух. Мало того, решил попробовать свои силы в качестве командира. Пришлось опять добиваться. Добился. Послали меня на высшие командные курсы. Закончил их и получил полк. Потом бригаду. Потом дивизию... Дошел, можно сказать, на своей деревяшке до самого фашистского логова.

Глаза его задорно блестят.

— В сорок третьем, когда мне дали генерала, немцы каким-то образом дознались про мой протез и объявили через репродукторы бойцам нашего переднего края, что дела, мол, у вас «швах», если над вами одноногих генералов ставят. А бойцы — те по-своему эту весть переиначили. «Швах»-то у вас,—сказали,—если наши одноногие ваших двуногих бьют!»

Я смотрю на генерала. Куда делась его недавняя болезненная усталость? Он говорит живо, шутит, лицо разругалось.

Но теперь я вспоминаю о его недуге и поднимаюсь, чтобы уйти.

— Надеюсь, что мы еще встретимся?

— Почему — «надеюсь»? — Рукопожатие у генерала неожиданно крепкое.— Обязательно встретимся!

Он загадочно поднимает палец.

— У нас есть о чем поговорить!

Наша следующая встреча произошла года через два, зимой.

— Хочу показать вам кое-что,— сказал Петр Сысоевич и достал с полки, видимо, заранее приготовленную

толстую стопку листов с машинописным текстом.— Вот рукопись,— с гордостью сказал он.— Решил написать, так сказать, книгу жизни. Здесь будет вся война, какой я ее видел,— от старой границы до Одера и Эльбы. Путь в три тысячи километров!

Он хочет показать мне рукопись. Но прикинув, что времени до отхода моего поезда осталось мало, машет рукой и берет из рукописи несколько листочков.

— Ладно, всю прочтете как-нибудь в другой раз. А вот это может вам пригодиться.

Беру страницы, читаю: «К перемышльцам я попал, когда они уже были на марше. Сам попросился к ним. Наслышался об их лихости, вот и добился назначения в корпус генерала Снегова».

— Дальше,— подсказывает Ильин,— обратите внимание на одну смешную деталь, как я чуть не опростоволосился! И о Снегове заодно узнаете.

«Помню, было начало июля. Жаркий полдень. Зеленое, в садочках украинское село, а в небе белые облачка разрывов — немцы лупят шрапнелью. Наши отвечают. Где-то за селом идет бой.

Машина останавливается возле хатки. Выскакиваю. У дверей стоит часовая. Показываю удостоверение, вхожу. В горнице вокруг стола над картой склонились командиры, спорят, шумят. Самый старший — генерал, сидит спокойно, постукивает по столу карандашиком, иногда что-то помечает на карте. На меня никакого внимания, так, взглянул мельком. Я присел на лавку, жду, прислушиваюсь. Сначала решил, что генерал — начальник штаба. Потом слышу кто-то назвал его комкором. Тогда я вскакиваю и докладываю: «Товарищ командир корпуса! Полковой комиссар Ильин прибыл в ваше распоряжение!» Снегов слегка улыбнулся, поднялся, подал руку: «Очень рад, что вы к нам прибыли».

Спрашиваю генерала, тоже больше в шутку:

— И комкор на вас не обиделся, что вы поначалу «понижили» его в должности?

Ильин задумчиво смотрит перед собой.

— Что вы! Это был человек большого ума... А мелочное самолюбие удел мелких людей.

— Вы подружились?

— Как вам сказать, скорее, понимали друг друга, мы ведь с ним по характеру разные: он — само спокойствие,

выдержка, а я, видите ли, завожусь, как говорят шоферы, с полоборота.

Снегов мне понравился именно теми качествами, которых не было у меня. И я ему, вероятно, тоже. Так сказать, сработал закон диалектики о единстве противоположностей.

— Долго вы были вместе?

— До того дня, когда меня ранило.

— Да... тогда вы, наверное, не знаете.

Петр Сысоевич вопросительно смотрит на меня.

— Где вас ранило?

— В селе Подвысокое, у реки Синюхи.

— Там у вас была какая-нибудь связь с Москвой... или с Киевом?

— Вот уж не помню.— Генерал морщит лоб.— Помню, имелся у нас такой домик на колесах — «онегинская кибитка» мы его звали,— это была наша главная радиостанция. Но она утонула в этой проклятой Синюхе... А что?

Протягиваю генералу небольшую вырезку с заметкой из газеты «Красная звезда». Там написано: «Героическая оборона штаба. Действующая армия (по телеграфу от спец. кор.). Штаб соединения, которым командует тов. Снегов, находился в селе X. Неожиданно сюда подошли вражеская колонна в 25 танков и около батальона пехоты. Фашисты сломя голову ринулись к селу. Немецкое командование поставило задачу: во что бы то ни стало захватить штаб соединения, уже не раз наносившего сокрушительные удары по немцам. И неприятель лез сейчас из кожи вон, чтобы добиться этой цели.

Но фашистские изверги жестоко просчитались. Тов. Снегов подготовил врагу крепкий отпор. Он бросил в бой комендантский взвод и всех штабных работников, направил часть сил на борьбу с танками. Пользуясь бутылками с горючей смесью и гранатами, бойцы и командиры подорвали и зажгли 9 машин. Остальные поспешили ретироваться. Тем временем другая группа штабных работников вела ожесточенный уличный бой с пехотой врага.

После полуторачасовой схватки немцы отступили. Задуманное ими окружение штаба сорвалось. Штаб тов. Снегова остался в селе и продолжал бесперебойно управлять частями».

— Ну и что? — спрашивает Петр Сысоевич, снимая очки и протирая платком запотевшие стекла.— Корреспонденций о нас было много.

— Да, но эта последняя! Больше уже не писали...

— А что это за село «Х», где произошел бой?

Генерал открывает атлас.

— Где это было? — с досадой бормочет он.— Вот она, военная тайна,— село «Эс», река «бе»... Теперь, ищи свищи...

Вижу, что он снова загорелся. И вдруг спохватываюсь: да ведь надо же, наверное, ехать?

Часы показывают четверть двенадцатого. И через пять минут мы уже мчимся по ночному городу.

Я забираюсь в вагон и облегченно вздыхаю.

Поезд медленно трогается.

— Эту шараду мы решим... насчет села,— кричит, идя по перрону, Ильин и машет рукой.— До встречи! У нас еще много...

Его слова заглушает стук колес.

Потом было несколько лет переписки.

Радовался, когда видел в почтовом ящике письмо или открытку с плотным, убористым почерком. «Хочу вам сказать следующее...» — обычно начинал Ильин. И дальше излагал очередную идею. То присылал мне адрес какого-нибудь «замечательного человека» и говорил, что о нем обязательно надо написать, то предлагал поехать вместе с ним в какое-нибудь «увлекательное путешествие» по местам боевой славы...

Вспоминал он иногда и о героях Перемышля. О них он, конечно, говорил только в превосходных степенях. Снегов, Петрин, Харитонов, Опякин, Горохов, пограничники — сколько интересных подробностей об этих действительно замечательных людях сохранилось в его памяти. А он еще ругал свою старость!

Часто думая о нем, я спрашивал себя: «Почему один человек, который всю жизнь дрожит над своим здоровьем, оберегая себя от малейших волнений, еще смолodu превращается в духовного и даже в «физического» старика, а другой живет широко, смело, лезет в гущу событий, не щадит себя ни в бою, ни в мирных делах и остается вечно молодым, по крайней мере, душой!»

Нет, генерала Ильина, «комиссара из девяносто де-

вятой», участника многих славных боев и походов никогда бы не посмел назвать стариком!

Но однажды почта принесла странную бандероль: адрес отправителя был хорошо знакомый, но почерк чужой. В сердце кольнула тревога.

Это писала жена Ильина, Радолина Викторовна. Все го несколько строчек.

«Перед смертью,— говорилось в письме,— Петр Сысоевич успел продиктовать мне список товарищей и друзей, кому хотел послать свою только что вышедшую книгу «Героический рейд 20-й». Как ни печально, но сам он сделать этого не успел. Я выполняю его последнюю волю».

Вот и все. Человек умер. Но жив в памяти комиссар Ильин. Живет его книга, живут его дела.

Песня-боец

Чем больше росла известность поэта, тем сильнее хотелось разгадать эту загадку.

Собственно, здесь было для меня несколько неясных обстоятельств. Во-первых, когда сам находился на Юго-Западном фронте, то почему-то не слышал, что этот поэт, которого, несмотря на его молодость, уже любили и знали миллионы людей в нашей стране, тоже находится здесь. Во-вторых, удивило, почему он, никогда не выступавший в роли «песенника», вдруг написал текст «Песни девяносто девятой дивизии». Все мы, читавшие нашу фронтовую газету «Красная армия», хорошо знали сотрудничавших в ней писателей и поэтов. Среди них были авторы-текстовики многих популярных песен. И вдруг...

Эта песня была напечатана в одном из последних июльских номеров газеты. Вот ее полный текст:

За священную землю,
За родимые семьи,
За свободу мы встали стеной,
Враг коварный не страшен
Для дивизии нашей
Девяносто девятой, родной.
Мы от Сана до Збруча
В битвах с вражеской тучей
Выполняли присягу свою.

В той борьбе напряженной
Наши дети и жены
Вместе с нами стояли в строю.

Мы в боях не впервые,
За дела боевые
Нас отметила Родина-мать.
Били немца-фашиста,
Били крепко и чисто
И сегодня идем добивать.

Развевайся над нами,
Наше славное знамя,
Наш девиз непреклонно суров:
Это будет расплата
Девяносто девятой
За друзей и товарищей кровь.

В том порыве едином
Мы врага опрокинем
И раздавим лавиной стальной.
Развевайся над нами,
Опаленное знамя,
Девяносто девятой, родной.

Я знал почти наизусть этот текст, но никогда не слышал, чтобы где-нибудь исполнялась песня. Однако находились люди, которые утверждали, что она пелась на фронте, звучала даже на улицах Берлина вскоре после окончания войны. С ней будто бы шел строй наших фронтовиков-гвардейцев где-то в районе Бранденбургских ворот...

Кто мог лучше ответить на все эти вопросы чем сам автор!

Но при встречах с поэтом все никак не решался к нему подойти. Не знаю, что мне мешало — его всенародная слава или его вечная занятость, следы которой проглядывали на его лице. А в последние годы вдруг появились тревожные слухи о его тяжелой болезни...

Но вот получил письмо из Ворошиловграда от юных «следопытов» молодежного клуба «Бригантина». В письме ребята спрашивали о судьбе этой песни. Видимо, «следопытов» интересовали те же вопросы, что и меня.

И вот еще одна встреча с поэтом.

...Произошло это на съезде писателей России, когда после заключительного заседания делегатов и гостей пригласили в Кремлевской Дворец Съездов на прощальный банкет.

В огромном зале собрались сотни людей. Царила праздничная, приподнятая атмосфера.

Вдруг какой-то странный шелест прошел по залу. Все зашевелились и повернулись к дверям, разговоры стихли, слышалось лишь одно слово: «Он... он!» И тут я снова увидел поэта. Он пробирался между столами, высокий, грузноватый, опираясь на палку. Его крупное с неправильными чертами лицо было словно иссечено морщинами, особенно возле глаз, но сами глаза, небесно-голубые, зоркие и отчаянные, и задорный полуседей хохолок еще выдавали в нем бойца.

Со всех сторон к нему тянулись руки. Слышались голоса: «К нам! К нам!» Он устало улыбался и, прижимая к груди букет красных гвоздик, кого-то высматривал.

«Мы здесь, здесь!» — крикнул сидевший за нашим столом высокий парень с копной ярко-рыжих волос, показывая на себя и своих соседей. Поэт заметил их, просиял и сделал жест, как бы говорящий всем остальным: уж извините, но я пойду туда, ибо должен, обязан!

Так получилось, что я оказался за одним столом с его земляками-смолянами. И когда он подошел, то, поздоровавшись со всеми, оглядел меня, видимо, пытаясь угадать, кто я и какое отношение имею к Смоленску. «Твардовский», — представился он, протягивая мне руку. Я поспешно пожал ее, забыв от волнения назвать себя. «Это товарищ не смоленский», — сказал один из смолян. Но Твардовский строго посмотрел на него. «Ну и что же? — сказал он. — Ведь с нами же хлеб-соль делит?» Сосед по столу что-то смущенно пробормотал и принялся разливать вино в бокалы.

— Александр Трифонович, — набравшись храбрости, спросил я, видя, что он задумался, — скажите, при каких обстоятельствах, если помните, вы написали «Песню девяносто девятой дивизии?»

Твардовский повернулся ко мне, но казалось, что он либо не расслышал, либо не понял моего вопроса.

Тогда я сбивчиво рассказал ему, что меня, как участника боев на Украине, давно занимала история этой песни. А теперь этим интересуется молодежь.

Он помолчал. По его большому одутловатому лицу пробежали тени, залегли в морщинах.

— Меня попросили тогда написать... в политуправлении фронта... — заговорил он с паузами, словно с трудом

припоминая ту давнюю историю,— сказали, что это первый подвиг... его надо воспеть... вот я и написал.

Он вдруг пристально посмотрел на меня и поднял палец.

— Но не подумайте, что я работал, как холодный сапожник — по заказу. Такого за мной не водится. Значит, на душу легло, раз написал.— И кивнул мне.— Если можно, напомните хотя бы строфу!

Я стал читать:

За священную землю,
За родимые семьи,
За свободу мы встали стеной.
Враг коварный не страшен
Для дивизии нашей
Девяносто девятой, родной...

— Да,— сказал он, дослушав свою песню до конца.— Он снова вопросительно взглянул на меня.— А где это опаленное знамя? Им ведь тогда трудно пришлось...

Кто-то из стоявших рядом громко подхватил песню, и Твардовский отвлекся.

— Нет, братцы, сей опус, полагаю, в посмертное собрание моих сочинений не войдет. Но...— он подумал,— бойцам, возможно, нравилось петь про себя?

За столом дружно зашумели:

— Конечно, нравилось!

— Давайте и мы ее споем!

—Только мотив подскажите!

Твардовский сказал, что текст он написал на мотив популярной тогда песни, которая называлась «Походная конноармейская», и даже пропел один куплет.

Однако, когда смоляне хотели хором спеть его песню, он решительно запротестовал:

— Нечего. Каждому овощу свое время. Пусть она лежит себе молча в архиве. Ружё де Лиль, в данном случае, из меня не получился.

Он налил в бокал немного вина.

— Давайте, братцы, выпьем за то, чтобы наши строчки переживали нас, а не наоборот!

И, быстро выпив, сказал, что должен уйти.

Его не хотели отпускать, но вдруг рядом с ним, как из-под земли, возникла миловидная круглолицая просто причесанная женщина, мягко, решительно взяла под руку и повела к дверям. Он шел послушно, бережно при-

жимая к груди красные гвоздики, и шквал приветствий, добрых напутствий и прощаний провожал его...

У песни легкие крылья — она не знает ни окружения, ни смерти. А знамя? Если оно погибает, то прекращает существование и воинской части или соединения.

Вопрос Твардовского о судьбе знамени «первой из Краснознаменных» долго не давал мне покоя.

Вскоре после смерти поэта я выступал по Куйбышевскому телевидению и поведал всем о нашем разговоре. «Может быть, кому-нибудь что-то известно?» — думалось мне. Едва закончилась передача, как меня позвали к телефону. Одна из телезрительниц сказала, что слышала от своего брата Николая Никифоровича Рожкова, проживающего в городе Жигулевске, историю, которая должна меня заинтересовать.

И вот я в Жигулевске. Мой собеседник, слесарь одного из местных предприятий, рассказывает:

— Война началась для меня в Перемышле так же, как и для всех, кто там был. На второй день наш артполк помогал пехоте и пограничникам брать город. Участвовали мы и в обороне, потом прошли с боями сотни километров. Но речь сейчас не о том... Где-то на Уманщине, у реки Синюхи, предстоял нашей колонне решающий бой. Вражеские танки замкнули кольцо. Ночью немец заорал в динамики: все, мол, рус, капут тебе! Ну, мы ему ответили по-русски. Понял фриц, замолчал. Стал готовиться к бою. Мы тоже готовились: рыли ямы-ловушки в танкопроходимых местах, вязали связки гранат... Вдруг приходит из штаба наш комбат — фамилия его была Тевеленок — и говорит: «Нам, товарищи, оказаны большое доверие и честь: вынести из окружения наши боевые знамена». Так и сказал. Одно знамя даже достал из чехла и развернул. Было оно красивое, из темно-красного бархата, с тяжелыми золотыми кистями и шитой золотой надписью. Екнуло солдатское сердце. Кое-кто прослезился. Поклялись, что умрем, но доверие командования оправдаем...

Рожков, вздохнув, продолжает:

— Отделились мы от колонны и пошли на юг. Солнце только поднималось, трава была еще в росе. Дул ветерок, откуда-то тянуло гарью... Нас во главе с Тевелен-

ком было человек сорок — пешие и конные. Чтобы пешим не уставать, комбат выделил две повозки, на одной из них везли знамена.

В голове колонны гарцевали на рысках два конных разведчика. Они то пришпоривали лошадей, и те уносили их по дороге до самого горизонта, то возвращались. Когда впереди возникала опасность, они докладывали Тевеленку, который тоже ехал верхом, но от повозки со знаменами не отлучался. Наш командир, выслушав доклад, тут же сворачивал с дороги и пускал колонну по какой-нибудь обходной тропинке. «Только не ввязываться в бой!» — предупреждал он. Несколько раз мы видели вдалеке немцев — постовых или регулировщиков, расставляющих придорожные знаки. Можно было уложить этих фрицев незаметно, без шума. Чесались руки. Но приказ есть приказ.

Кажется, на пятый день вышли к реке. Река большая, широкая, но беспокойная, куражливая, вся в белых накипях. По середине реки камнями-самоцветами островки тянутся: зеленые, в желтых отмелях. Красиво. И пустынно. Ни души. Только птицы наподобие наших коршунов, но с сизиной, над водой парят, рыбок ловят.

Осмотрелись мы, в прибрежных травах тропинку нашли, спустились к реке. Комбат поколдовал над картой, потом конников вправо и влево послал. Те вернулись, доложили: «Немцев на десять — пятнадцать километров в округе нет». Один из разведчиков видел баржу под красным флагом, она плыла вверх по Днепру, значит, к нашим. И Тевеленок решил: пойдём на север.

Прошли еще день, ночь и наутро увидели большой город. То было Запорожье. Там, в комендатуре, с нами долго не возились, выписали пропуск на левый берег и сказали, чтобы мы не задерживались.

В степном городке Гуляй-Поле много военных было. Здесь стоял какой-то штаб. Вот здесь и закончилось наше путешествие. Лошадей и повозки нам приказали сдать. Оставшиеся крупы и сухари мы поделили между собой. Нас всех распределили по разным частям.

Комбат попрощался с нами — кого обнял, кого расцеловал, и в тот же день со знаменами уехал в Москву.

Полученные сведения решил проверить у генерала Сергея Федоровича Горохова.

— Было ли среди спасенных знамен знамя девяносто девятой дивизии? — спрашиваю я у бывшего начальника штаба этого соединения.

Генерал говорит, что это знамя осеняло прославленную в боях дивизию вплоть до весны сорок третьего года, когда 99-я Краснознаменная стрелковая дивизия была преобразована в 88-ю гвардейскую Краснознаменную стрелковую дивизию. Солдаты и командиры дивизии стали именоваться гвардейцами — званием, которое присваивалось самым стойким, самым отважным.

Но сам генерал стал гвардейцем еще раньше. После того, как он вывел значительную часть дивизии из окружения, его назначили на командную должность. А затем в конце второго, еще более тревожного, лета войны он со своей 124-й стрелковой бригадой был направлен на защиту Сталинграда.

— Помню, прибыли мы, — рассказывает Горохов. — А город бомбят, обстановка напряженная, полчища врага уже подошли к городу... От каждого из защитников требовалось великое мужество. Мне об этом в штабе фронта сразу дали понять. Член Военного Совета спросил меня — он знал, что войну я начинал как начштадив девяносто девятой — походит ли моя бригада на «первую Краснознаменную»? Я ответил, что если еще не совсем походит, то будет походить. «Смотри, Горохов, — сказал он. — Других нам не надо».

Бригада оправдала доверие. Она отважно сражалась на одном из самых трудных и ответственных участков и заслужила благодарности командования. Многие ее воины были награждены орденами и медалями, особо отличившиеся в боях получили высокое звание Героя Советского Союза. Командиру бригады присвоили звание генерал-майора, он был назначен командиром корпуса.

Где только генерал Горохов затем не воевал: в степях Придонья, в шахтерском крае на востоке Украины, на улицах Одессы. Война бросала его с берегов Черного моря на берега Балтики, от устья голубого Дуная до суровой Карелии. Закончилась эта великая страда для него в Германии, на Эльбе.

Генерал говорил, что неподалеку от соединения, которым он тогда командовал, сражалась в завершающих боях и 88-я стрелковая дивизия. Она уже именовалась так: гвардейская Запорожская ордена Ленина, Красно-

знаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия. Всем, особенно людям военным, это говорило о многом. Ею тоже был пройден славный боевой путь, и генерал гордился, что здесь есть и его заслуга. Ведь первый орден на знамени дивизии был тот самый, полученный за Перемышль и бои на Правобережной Украине.

Генерал по-солдатски скромн, прост, даже немного застенчив. Вспоминаю, что будто бы в Волгограде, в этом городе-герое есть даже улица, названная в честь Горохова.

— Не в честь меня,— вносит он поправку,— а в честь всей нашей бригады. Было же в ней несколько тысяч человек. Так что моя доля совсем небольшая.

Смотрю на его грудь, украшенную орденами.

— А где тот, что вы получили за Перемышль?

— Вот он, самый первый,— генерал показывает мне на орден Красного Знамени.

И, помолчав, добавляет:

— Самый первый и, наверно, самый дорогой... для меня.

Песнь о Перемышле

Из путевого блокнота

В последние годы мне пришлось много путешествовать. Побывал я и на Урале, на Кавказе. Ну и, понятно, снова завернул на дорогую моему сердцу Украину, где прошел когда-то по фронтовым дорогам. Конечно, теперь невозможно было узнать их.

Проходя по знакомым местам, вспоминал о героях Перемышля. Мне напоминали о них то дорожные знаки с названиями городов и сел, где шли когда-то жаркие бои, то братские могилы, то какой-то разговор со случайным собеседником. Конечно, мне приходилось выбирать по крупице наиболее важное для меня. Но говорят же: не скоро сказка сказывается! И песня не сразу складывается. Сначала возникает первый, еще далекий и неясный звук. Потом к нему присоединяются другие. Вот уже звуки объединились в мелодию, ведущий голос находит себе подголосков, и песня выходит на простор...

Песнь о Перемышле! Как она родилась? Где и когда?

В приграничной полосе

«Видно, уже так устроен человек, что все честное, благородное, мужественное он помнит гораздо дольше, чем мелочное и злое!» Эту фразу я с трудом прочитал на бумажке, которая сохранилась в кармане моего старого дорожного плаща. Листочек оказался счетом одной из львовских гостиниц. По дате я определил, что это была моя первая поездка на места бывших боев. Но где и что заставило записать эти слова?

И наконец вспомнил.

...В машине нас было трое: шофер-пограничник Николай, корреспондентка Львовского радио Мария Влязло и я. Из Львова мы выехали утром, при ярком свете солнца, но через каких-нибудь полчаса небо потемнело и по брезентовой крыше нашего газика забарабанил дождь. Мария забеспокоилась. «Кажется, это надолго,— сказала она, кивнув на небо.— Надо бы переждать!»

Но возвращаться мне не хотелось. Однако я понимал, что девушка права: в такую погоду нам вряд ли удастся осмотреть бывший перемышльский укрепрайон, вернее, ту его часть, которая осталась на нашей территории, по эту сторону советско-польской границы. Дороги к старым дотам конечно заросли, в легкой обуви к ним сейчас не проберешься.

С надеждой вглядываясь вперед, думал: «А может, нам повезет, тучи скоро рассеются?» Нет, Мария знала здешний климат. Чем дальше мы ехали на запад, тем небо становилось мрачнее, тяжелые тучи, казалось, цеплялись за вершины придорожных тополей. Где-то далеко впереди, наверное, у самой границы, неясно сверкала молния, но грома не было слышно.

Мы ехали с полчаса. Мария, забравшись на сиденье с ногами и, прижав к груди свой диктофон, хмуро поглядывала то на меня, то на Николая.

Но мы молчали: солдат — потому, что он солдат, а я — от досады, что пропал день, на который возлагал столько надежд. Что ж, ничего не поделаешь, придется возвращаться назад.

Но тут впереди вдруг показались какие-то строения. «Великий Любень! — бодро произнес шофер.— Тут гостиница есть». Меня словно дернуло что-то: так ведь это же где-то здесь, под Любенем, погиб Поливода! Мы дол-

жны сходить на его могилу, поклониться праху. Кто-то, кажется, еще в Москве говорил, что на этой могиле поставлен памятник.

Спрашиваю у Марии. Да, она тоже слышала и о могиле, и о памятнике. Но сама их еще не видела — ей рассказывал об этом один местный учитель, Малиновский. «Где он живет?» Мария отвечает, что где-то недалеко от центра, там же в большом доме находится основанный Малиновским музей.

Вглядываемся. Ага, вот и большой дом. Читаем вывеску: «Клуб». Накрывшись плащ-палаткой, Николай бежит в дом и вскоре возвращается. «Музей здесь, но в музее ни души. И в клубе тоже». — «Что же делать?» — «Вы идите туда, под крышу. А я поеду учителя пошукаю». Он рыцарски накрывает Марию своей плащ-палаткой, и мы под проливным дождем бежим в клуб.

В сенях отряхиваемся, при свете спички оглядываю наше убежище. Чувствуется, что дом старый, но крепкий, сделанный на века. Стены сложены из грубых, тесаных, желтоватых камней, двери дубовые, с железными накладками.

Возвращается наша машина, слышатся чьи-то голоса. Неужели Николай разыскал учителя? Точно! Разбрызгивая лужи, они врываются в подъезд, и тут же второй сует мне мокрую руку и представляется: «Александр Владимирович Малиновский».

Скрипит ключ, открывается дверь, мы входим в музей. Малиновский, оправдываясь, что свет в селе в связи с грозой выключили, зажигает свечу. Но это даже хорошо: маленькое дрожащее пламя сразу как бы отбрасывает нас в прошлое, делает каждый предмет значительным и немного таинственным.

В музее две комнаты. В первой собрана этнография: расписные народные костюмы, горшки и кувшины с потрескавшейся глазурью, какие-то древние мотыги, прялки... Малиновский, невысокий, быстроречивый, очень подвижный для своих лет (а ему, наверное, уже под шестьдесят), идет впереди, водит свечкой по экспонатам и рассказывает...

Большинство этих реликвий было собрано еще до войны, когда он, молодой учитель, задумал приобрести местных ребятишек к краеведению. Но грянула война, учи-

тель эвакуировался из Любенья на восток и вернулся в родное село «аж в сорок пятом».

Музей в первые же дни оккупации разрушили гитлеровцы. Учитель, повзрослевший, переживший немало военных невзгод, чуть не плакал, глядя на сваленные в углу обломки. Надо было все начинать сначала.

И он начал. Собрал новых ребятишек — младших братьев, а затем и сыновей тех, бывших его учеников. Ребята ходили по селу и окрестным хуторам, «шукали» старинную одежду и утварь.

Но теперь для людей история жила не только и не столько в отскрипевших свой век прялках и потрескавшихся горшках. Она клокотала в сердцах и раскаленной, трудно остывающей лавой текла из вчерашнего дня в сегодняшний. Это была память о недавней войне, которая уже стала историей. И сельский учитель, понявший это, вскоре решил изменить направление поисков. Он повел своих «следопытов» в поля и леса. Ребята обшаривали каждую ямку, похожую на заросший травой окоп или осыпавшуюся траншею, и часто под вечер возвращались в село с трофеями — ржавой продырявленной каской или винтовкой. А потом сидели и долго разбирали полустершиеся буквы, нацарапанные на прикладах безвестным защитником Родины, пытаясь разгадать, кто он и откуда.

А взрослые рассказывали: в сорок первом, на седьмой или восьмой день войны, сюда, к шоссе, подошли наши бойцы, почти все в зеленых фуражках, не так чтобы много, человек двести. Командовал ими чернявый дядько лет двадцати пяти — тридцати, судя по петлицам, не то политрук, не то старший лейтенант. Он спросил, проходили ли здесь немцы, ему ответили, что проходили, но тоже немного — с батальон, не больше, только не пешком, а на мотоциклах. Командир мотнул чубом: ну, это, мол, не страшно. «Значит,— сказал он своим,— главные силы противника еще на подходе, им-то мы и дадим здесь бой». И приказал рыть окопы, готовить рубеж.

Вскоре на шоссе показалась вражеская колонна. Впереди шли открытые бронемашины, за ними грузовики с солдатами. И вот тут завязался бой. Гитлеровцев было раз в десять больше, чем наших, но пограничники так ловко расположили свои огневые точки, что уничтожили почти всю колонну, а сами потеряли совсем мало.

Было это в полдень. А к вечеру подошла еще одна колонна. Противник, видно, был уже предупрежден, что здесь их ожидает засада. Не доезжая Любенья, часть колонны свернула на юг, к Комарно, а другая часть остановилась, солдаты спешили и пошли в атаку.

Этот второй бой длился двое суток. Местные жители (а среди них были участники войн) рассказывали, что такого ожесточенного боя они не видели никогда — ни до, ни после... Раза два или три чернявый командир поднимал своих бойцов в штыковую атаку, многие были ранены, но из строя не уходили.

Особенно запомнился последний день боя. Наши уже знали, что Львов сдан, они окружены. И дрались еще яростнее, еще беспощаднее.

Теперь фашисты наступали с трех сторон. Они шли в полный рост, автоматы к животу, и вели непрерывный огонь. А у красноармейцев уже кончались боеприпасы, они экономили каждый патрон. Один пулеметчик (он сидел в окопе у шоссе) уничтожил, наверно, с сотню гитлеровцев. Пропустит их по дороге вперед, а потом даст в спину две-три очереди из своего «дегтяря». Хорошо воевал хлопец! Уже смеркалось, когда он был ранен, товарищи принесли его в хату, попросили хозяев ухаживать за ним, а сами ушли. И тут же в хату ворвались гитлеровцы. Схватили раненого героя, уволокли в сарай кирпичного завода и там замордовали.

Одним из последних (было это, говорят, на третий день боя) погиб пулеметчик, окопавшийся со своим напарником у западной окраины села. Он тоже покосил много врагов, наконец его «точку» засекли и открыли по ней ураганный огонь из пулеметов и минометов. Его напарника убило. Тогда пулеметчик сменил точку и засел у подножья холма, в кустах. Немцы, видя, что пулемет замолчал, двинули туда с полсотни мотоциклистов. Пулеметчик подпустил их к холму и дал очередь. Машины закружились на дороге, образовалась пробка. Пользуясь паникой, пулеметчик перестрелял всех мотоциклистов... Тут немцы совсем озверели и начали бить по холму из орудий. Пулеметчик уже давно был мертв, а враги боялись подходить к нему и стреляли...

Кто были эти герои, память о которых жила в сердцах людей?

Малиновский ведет нас в другую комнату, военную,

и показывает хранящиеся под стеклом фотографии, письма... Вот маленькая, темная, вся в каких-то пятнах страничка. Бумага истлела, можно разобрать лишь одну выцветшую строчку в графе «воинская часть». Учитель подносит свечку ближе, и я читаю: «92-й погранотряд».

Перемышльцы! Теперь не сомневаюсь, что передо мной удостоверение Поливоды: такие книжечки имели только командиры. Но Малиновский качает головой. Он тоже слышал о легендарном коменданте Перемышля и думал, что «чернявый» и «Поливода» — одно и то же лицо. Но это удостоверение было найдено в сумке командира, погибшего на окраине Любена. А тот, «чернявый», как говорят, погиб южнее, при попытке прорваться от Любена к Комарно. И учитель повторяет ту же версию, что я уже слышал. «Как погиб? Ушел со своими хлопцами в высокую рожь, а немцы за ним... Сильная тогда была стрельба, только из той ржи никто не вышел — ни немцы, ни наши».

«Ну а герои-пулеметчики, их вы опознали?» — «Первого, что бандиты замордовали, опознать так и не удалось. А второго звали Федор Лихачев». — «Как же это вы установили?» — «Как?» Малиновский осторожно, двумя пальцами, достает из-под стекла еще одну реликвию: черный пластмассовый медальон. Отвинчивает крышку, вынимает узенькую полоску бумаги, показывает. Да, Лихачев Федор Егорович, уроженец села Старая Усмань Воронежской области. «По этому медальону и установили», — поясняет учитель. «Но почему тот самый герой — именно он?» — «А потому, что мы нашли медальон в земле вместе с пулеметом».

Мы смотрим на фотографию Лихачева, полученную музеем из села Старая Усмань от родственников героя. Федор Егорович, а вернее, просто Федя, деревенский паренек, надевший недавно военную форму, еще мешковатый, глядит исподлобья, словно тоскуя о родном доме, о воронежских своих полях и лесах. А за его спиной красуется невероятно роскошный пейзаж с фонтанами и лебедями.

А вот и другая фотография, сделанная двадцать лет спустя, уже в Любене. Две пожилые женщины с натруженными крестьянскими руками и два бравых молодца-солдата. Это сестры Федора Лихачева со своими сыновьями, племянниками героя, Анатолием и Василием. «Меж-

ду прочим, они тоже пограничники!» — говорит Малиновский. Оказывается, он и его «следопыты» разыскали не только отважного пулеметчика, но и его родственников, и те несколько лет назад приезжали сюда, на Львовщину, чтобы поклониться праху своего Федора и его боевых товарищей.

«Вы думаете, что это единственные наши гости? — добавляет учитель. — Кто бы ни ехал через Любень Великий, обязательно заглянет в музей. О героях Перемышля многие помнят — еще с первых военных сводок, интересуются их судьбой».

Шофер Николай задумчиво ощупывает ржавую пулеметную ленту. А я дописываю в блокноте последнюю строчку. Нет, этот день не пропал даром.

К полудню дождь утихает, небо проясняется. «Можно ехать дальше», — заявляет Мария. Мы садимся в машину, Малиновский с нами. Учитель хочет показать нам братское кладбище, где похоронены герои-пограничники.

Оно открывается сразу, едва мы выезжаем из села. На вершине холма, метрах в пятистах от дороги, стоит памятник: серый постамент и на нем солдат в шинели, с каской в одной руке и с венком в другой.

Мы гуськом поднимаемся по тропинке между молодыми деревьями: строгие и торжественные, как бойцы на плацу, стоят тополя, с зеленой шапкой листвы каштаны, дубы. «Наш холм Славы!» — тихо с гордостью поясняет Малиновский. «Наш парк Героев!», «Наш...» Впрочем, перечисление ни к чему — здесь все «наше», созданное энтузиазмом и трудом простого сельского учителя и его воспитанников, их родителей, местного начальства и комсомола.

Мы прощаемся с Малиновским. Идет встречная машина, останавливается, учитель садится в нее, нахлобучивает фуражку, берет под козырек. А я смотрю на холм, где когда-то сражался и погиб никому не известный пулеметчик, думаю о его судьбе и о судьбе учителя Малиновского и многих, таких как он, энтузиастов.

Да, здесь помнили о героях! Мы проехали до самой границы, видели взорванные или замурованные доты и неподалеку от них братские могилы, аккуратно обложенные дерном, свежие цветы у обелисков.

Возле села Волица в поле мы встретили колхозника, который сказал мне, что Перемышль якобы не один, а

несколько раз переходил из рук в руки. «Не может быть!» — усомнился я, поскольку услышал об этом впервые. «Ото ж ей-богу!» — клялся тот и повел меня на высокий холм, откуда была видна пограничная речушка, а за ней россыпь белых и серых домиков, железнодорожная станция с дымящей трубой депо, а еще дальше, на взгорье, какой-то город. Так вот он, Перемышль! Мирно голубело небо, весело перекликались гудками идущие через границу поезда. А человек, стоящий рядом, твердил: «Ось, видсея мальчишкой сам бачил. То нимцы наших посунут, то наши их. Мабуть, пять-шесть раз так було. А не верите — поезжайте туда, до поляков, они подтвердят!»

Еще одна легенда о Перемышле

Теперь этот город называется по-польски — Пшемьсль. Наше правительство учло интересы братского народа и вскоре после окончания войны передало город новой, народно-демократической Польше. Граница, которая ранее проходила по реке Сан, отодвинулась в этом районе несколько восточнее.

Но мир меняется, и люди, созидающие новый мир и новое общество, ищут уже не то, что их разделяет, а что объединяет. Немалую роль в этом благородном процессе играет история и, прежде всего, примеры боевого содружества советских людей и поляков в годы минувшей войны.

Участники боев в Перемышле не раз говорили о помощи, оказанной им в дни обороны населением города. Когда завязывались уличные бои, польские женщины и дети добровольно выполняли обязанности связных и проводников. Жители бросали из окон на головы гитлеровцам тяжелую мебель, утюги, кирпичи из разобранных печей. Мужчины-поляки вступали в ополчение, некоторые из них погибли в боях.

Об этом узнал польский «Союз борцов за свободу и демократию» — организация, занимающаяся делами и судьбами ветеранов войны. Мне любезно была обещана поездка по местам бывших боев, и я с радостью отправился в путь.

...Город встретил меня сурово — холодным пронизывающим ветром, скрипом флюгеров на высоких покатых

черепичных крышах, насупленными бровями заснеженных карнизов.

«Вы привезли нам подарок русского Деда... как его — Мороза?» — сказал, улыбаясь и пожимая мне руку, секретарь Перемышльского горкома ПОРП Войцех Баня. У него в кабинете за длинным столом сидело человек двадцать немолодых мужчин и женщин, которым он представил «гостя из Союза». Секретарь сказал, что они собрались здесь, зная о моем приезде. Это были местные коммунисты, свидетели и участники боев в июне сорок первого года.

Мы проговорили до позднего вечера. Отрадно, что в памяти этих людей могли так ярко и зримо сохраниться картины боев. Ведь с того времени прошло почти двадцать пять лет. Четверть века! Некоторые из них тогда были почти детьми.

В их словах сквозило искреннее и чистое восхищение отвагой и благородством наших бойцов и такая же гордость за то, что это происходило здесь, в их славном городе.

Вот, что рассказали они.

...В памятный день двадцать третьего июня контратакующие группы советских воинов вышли к берегу Сана.

Местные жители видели, как гитлеровцы опретью кинулись к реке. Отчаянные схватки завязывались на мосту, в лодках или прямо в воде.

Бои шли в разных местах: на левом фланге — в районе лесопильного завода, в центре — у пешеходного и железнодорожного мостов, правее — за водокачкой... И где-то в полдень одна из групп, численностью до роты в наступательном порыве переправилась на другой берег и гнала фашистов до района городского госпиталя. Здесь наступающие остановились. Увидев, что противник опомнился и, получив подкрепление, собирается контратаковать, а с нашей стороны новых сил не прибывает, они решили укрепиться на достигнутом рубеже. Были найдены при содействии местного населения наиболее надежные укрытия, построены заграждения из мешков с песком, бревен, мебели, а на чердаках и колокольнях оборудованы огневые точки...

Местные жители радовались, что гитлеровцы отступили и скоро, как все думали, выкатятся из города. Но советские воины, видимо, получили от своего командова-

ния какой-то приказ и под покровом наступившей ночи снова отошли на свой берег.

На другой день в сопровождении одного из очевидцев я отправился по следам неизвестных героев. Мой провожатый вел меня по узким улочкам, показывал одному ему понятные следы давних боев. Мы спускались в пахнущие сыростью подвалы, поднимались на какую-то старую башню, или пожарную вышку, где к перекладинам, опутанным паутиной, прилепились летучие мыши. Там поляк показал мне нацарапанную гвоздем или штыком надпись на подоконнике: «Мы не уйдем!» Написано было по-русски. Но ведь это мог написать и местный партизан? Здесь, в городе, многие знали русский язык, некоторые даже неплохо говорили по-русски.

Более достоверным доказательством был сохранившийся в одном из подвалов ящик с поржавевшими и позеленевшими винтовочными обоймами. Самих патронов не было, их вынули взрослые, опасаясь за своих любознательных ребятишек. Но обоймы оставили — нарочно, как память о советских, воинах.

Но и это не убедило меня окончательно. Мало ли, как мог попасть сюда этот ящик. Те же польские партизаны зачастую пользовались нашим оружием и боеприпасами. Не исключено, что наши или польские воины вели здесь бой при освобождении города от гитлеровцев летом сорок четвертого года.

«Подвергай все сомнению!» Полушутя-полусерьезно я повторял этот любимый девиз мудрецов моему деятельному gidу. В сорок первом, когда здесь шли бои, ему было уже тринадцать лет. Теперь он учитель с солидным стажем и может вполне авторитетно утверждать, что память у подростка даже лучше, чем у взрослого человека, уже перегруженного впечатлениями.

Одинаково взволнованные нашими поисками, мы не заметили, как оказались перед красивым зданием с большим зеленым куполом и лепными украшениями на фронтоне. Это и был городской госпиталь, местный «шпиталь», построенный еще в прошлом веке. «Здесь они остановились», — сказал спутник. И чтобы предупредить мои сомнения, он повел меня... к главному врачу.

Доктор Токаж, невысокого роста, плотный, с седыми висками, выслушав учителя, не без добродушной иронии заметил, что недоверие к историческим фактам лишь тог-

да квалифицируется, как болезнь, когда сами факты обладают стопроцентной убедительностью. Но поскольку в наш век таких фактов почти не осталось, то мой скептицизм можно отнести к категории «здоровых» явлений. «Однако,— добавил он,— все же с легкой натяжкой, как для гостя».

Мы сели за низенький столик, сестра в белоснежной наколке принесла в чашечках крепкий кофе, и доктор уже вполне серьезно стал рассказывать о том, как часто случаи, кажущиеся на первый взгляд невероятными, при близком рассмотрении являются вполне закономерными. Этот разговор, носивший поначалу общий характер, он подвел к событиям двадцать третьего июня.

«Поставьте себя на их место, вообразите жаркий, самый долгий летний день, усталость тела и необыкновенный нервный подъем, злость и ярость атаки, ненависть к проклятым, наглым захватчикам, торжество первой победы и желание закрепить ее,— и вы поймете, что для атаковавших было вполне естественным гнать гитлеровцев до тех пор, пока хватит сил... Остановились же они только благодаря приказу. Но вы уверены, что этот приказ дошел до всех, до каждой группы? И не сомневаетесь ли вы в том, что человек в состоянии крайнего возбуждения всегда способен проверять свои действия логикой? Короче, может быть много вариантов того случая, который с вашей точки зрения больше смахивает на легенду, а с нашей — является непреложным фактом».

Так говорил за кофе этот почтенный человек, ученый, общественный деятель.

Потом он встал и повел нас на второй этаж, в одну из палат, где, по рассказам персонала, когда-то скрывались двое наших бойцов, раненных в тот день. Поздно вечером, перед тем как уйти из Засанья, товарищи принесли их в госпиталь и попросили польских медиков спасти им жизнь. Какую гарантию могли им дать поляки, кроме своего честного слова, скрепленного общей ненавистью к врагу?

Их спасли, этих русских — достали поддельные документы, лечили, самоотверженно ухаживали. Потом, когда оба выздоровели и окрепли, переправили к мастеровому Роману Завише, простому рабочему, бобылю,

жившему на окраине города, неподалеку от леса. А уже от него они ушли в отряд к польским партизанам.

...Затем мы с трудом нашли каморку этого человека. Он спал. Извинившись, что разбудили его, хотели уйти, но старик, чуть ли не силой удержал нас. Еще крепкий для своих лет, только почти совсем беззубый («зубы в гестапо потерял»,— говорил он), хозяин рассказал, как целый месяц тайно содержал у себя своих «постояльцев», укрывая их от жандармов и полиции. «Кормились втроем одним моим пайком»,— говорит он. Приходилось прирабатывать какими-нибудь мелкими поделками. Он мастерил деревянные игрушки, плел коробки из соломы и сбывал их немецким солдатам. Иногда в обмен на свои изделия ему удавалось раздобыть какой-нибудь деликатес — кусочек колбасы, бутылочку пива. Он нес их своим «квартирантам». И улыбался в душе: знали бы немцы, кого они подкармливают!

Осенью он тайными тропами провел русских на хутор, где свел их с партизанами из «батальонов хлопских». На прощанье расцеловались. А как звали его «крестников»? Старик долго чешет затылок, припоминая. Один по-польски звался Грегор, что значит Егор, Георгий или, может быть, Игорь. «А другой... мабуть, Иван?» Больше он их не видел и об их судьбе ничего не знает.

«Вы убедились?» — торжествующе спрашивает мой гид. Утвердительно киваю. И все же, наверно, нет полной уверенности в моем кивке. Тогда учитель обещает отвести меня к самой высокой инстанции — к местным историкам-краеоведам. «Лучше их вам уже никто не скажет!»

...Историков в Перемышле двое — тех, кто многие годы занимается сорок первым годом и совместными действиями советских воинов и поляков. Один — Ян Рожанский, высокий, стройный, с бледноватым лицом и рыжеватыми усиками. Другой — Рышард Далецкий, моложавый, подвижный, темноволосый.

Кажется, они соревнуются друг с другом. Однако на мой вопрос оба отвечают, в сущности, одинаково. Ими собраны различные документы, подтверждающие боевые действия советских бойцов в оккупированном немцами Засанье во второй половине дня двадцать третьего июня.

Вспоминаю рассказ Патарыкина. «Мы хотели форси-

ровать Сан», — сказал бывший командир роты. А что скрыто за туманной фразой генерала Снегова: «Могли бы и дальше?..»

Здравствуй, Чуваши!

Давняя эта история, давняя...

«Сказывают, в те времена замыслил Тохтамыш идти на Московию... Ночью примчался запыленный гонец с недоброй вестью и в ту же ночь ускакал на свежих конях к Москве, дабы оповестить князей. А другой всадник покинул крепость, чтобы забить тревогу по чувашским городам и селам.

Большую силу собрал Чавдар. Мужчины взяли оружие, в такое время — всяк воин. А место война — под знаменем эмбю.

Чавдар, отважный полководец, не стал ждать, когда враг нагрянет, двинулся навстречу непрошенным гостям. В крепости остались только малые дети, женщины да старики».

...Сказка осталась недосказанной. Где-то неподалеку, у реки грохнул выстрел, и Настя чутким женским сердцем угадала недоброе, бросилась к двери, распахнула ее. Навстречу из темноты коридора выбежал посыльный: — Тревога! Где товарищ лейтенант?

Она не успела спросить, в чем дело. Лейтенант, пять минут назад заснувший под тихий шепот жены, рассказывавшей сказку маленькой дочурке, вскочил, как подброшенный пружиной. Правда, он уже просыпался один раз: томила жара, накопленная стенами за день — самый долгий в году. И было как-то тяжело на душе, как перед бедой. Хотел поделиться со своей Настенькой, да передумал: она кормит ребенка, надо ее беречь. И Яков ласково посмотрел на ребенка, на жену, послушал ее шепот и снова задремал...

А сейчас он бежал на блокпост, позабыв про предчувствия. Началась служба! Боец по дороге рассказал, что из соседней Синявы позвонили: там немцы напали на погранпосты, идет бой. Лейтенант Николаев подумал: опять провокация, но что-то уж больно наглая...

Его подчиненные, свободные от наряда, толпились во дворе. «Смирно!» — крикнул дежурный, увидев лейтенанта. Тот махнул рукой: «Вольно!», бросился к теле-

фону. «Синява, Синява!» Он сам хотел узнать, что там, может быть, черт не так уж страшен? Но Синява не отвечала.

Плохо! Сердце словно сжали в кулаке. И снова он не сказал никому о своих предчувствиях. Смотрел в бинокль за реку — пока там было пустынно и тихо. Решил: «Надо ждать, скоро все прояснится». Подал команду приготовиться к обороне. Бойцы занимали окопы, подносили ящики с пулеметными дисками и гранатами...

— Летят! Летят! — крикнул кто-то из бойцов.

В небе с запада приближалась армада. Грозно урчали тяжелые бомбардировщики, тонким металлическим гудением моторов буравили воздух охраняющие их истребители. И было такое ощущение, будто желтобрюхий удав пронесся над головами. Пронесся и скрылся в дали.

Яков понял: началась война. Сразу все стало ясно. «Будем воевать!» — сказал он себе и посмотрел на своих бойцов. Увидел: они тоже все поняли и тоже готовы. «Вот и хорошо!»

Теперь он уже ничего не почувствовал, когда увидел на той стороне большую группу немцев, вышедшую из леса. Просто спрыгнул в окоп и приказал стрелять, если враг перейдет границу. Именно «враг», а не «сосед», как было до сих пор, и не «нарушит», а «перейдет».

И тут вспомнил о жене и дочурке. Надо их предупредить. Нет, он сделает это сам.

«Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь?»

Он домчался до дома, сказал Настеньке, чтобы она с ребенком немедля уехала в тыл — подводы уже ждут, быстро поцеловал ее и убежал назад.

Ему очень хотелось сказать жене еще несколько слов, но он торопился. Враг уже перешел границу, начался бой.

«Шли чуваша на супостата стройными рядами, сохраняя боевой клин — острием вперед. Гарцевал на белом коне сам Чавдар. А вокруг него — ближайшие друзья и помощники, славные батыры. На флангах пылила легкая конница, защищая отряд от внезапного нападения.

На этих лугах, кивнул Ендимер, и сошлись два войска — Чавдара и Тохтамыша. Страшная была битва. От топота копыт дрожала земля, звон мечей летел за леса и горы, кровь убитых уже не принимала земля...»

Зачем продолжать сказку, когда этот бой был первым и последним? И один Ендимер, и другой, и третий — все говорили, что ее Чавдара искать бесполезно. В листочке с печатью ясно сказано, что «лейтенант погранвойск Николаев Яков Николаевич пропал без вести». Но как понимать это слово — «пропал»? Анастасия Константиновна в русском языке была тогда не сильна. Заглянула в словарь, прочитала, что глагол «пропасть» имеет два значения: «исчезнуть куда-то» и «погибнуть». Она выбрала для себя первое. Хотя знала, что фашисты пограничника не пощадили бы, даже если бы он поднял руки. Но разве ее Яков, ее «Чавдар» мог поднять руки?

А годы шли. Выросла Эмма, пошла в школу, с успехом переходила из класса в класс. Лицом она выдалась в отца: черными стрелками брови, темные глаза, быстрый, но пристальный взгляд. Все схватывает на лету. На здоровье тоже нельзя пожаловаться. Даже и не поверишь, что несла ее крошечную сквозь огонь пожарищ, прячась от немцев в лесах и заброшенных хуторах... И под проливные дожди попадала, и реки переплывала — с этим родным комочком на руках. Сохранила дочь — память о Якове и свою единственную радость.

О себе было меньше забот. Много ли ей надо, сельской учительнице, простой женщине, сызмальства привыкшей к труду? Родители-бедняки ее учили когда-то: жизнь дает человеку то, что он заслуживает. Вот Анастасия и выросла неприхотливой и независтливой. И то счастье — есть хорошая дочь, есть работа по специальности, дети ее любят, родители уважают, кров над головой есть, без хлеба она и Эмма не сидят... Якова нет! Она знала, видела, что в каждой второй семье мужчина не вернулся с войны. Для каждой женщины ее «батыр» был самый сильный и красивый. Но ее Яков был особенный.

Она любила ходить на речку. Там, на берегу, у нее было свое заветное место. Большая ива причудливо изогнулась, свесив ветви к воде. Как девушка, моющая волосы...

Анастасия снимала туфли, проходила по стволу и садилась среди ветвей. Ее окружала блестящая пахучая листва, внизу на воде мерцали и переливались солнечные блики. Все уходило куда-то — и заботы, и разгово-

ры. Даже доносившиеся с той стороны, с покоса, голоса были словно из другого мира.

Здесь обитали ее Сказка, ее Мечта. «Загадай желание и посмотри в воду»,— учили когда-то старики. И вот она смотрит — долго, зачарованно. Сердце ее замирает...

В то же время, может быть чуть раньше или чуть позже, другой человек на берегу другой реки думал свою думу, в чем-то схожую с этой...

Его звали Юзеф Болеслав Гарас. Он жил в новом районе Варшавы, в доме у самой Вислы. Из окна открывался вид на широкую, спокойную реку с плывущими вверх и вниз пароходами и баржами, на круто сползающий к воде противоположный берег и скопище домов — полуразрушенных, с мертвыми черными глазницами. То были следы минувшей войны. Но они уже начали исчезать. На месте развалин вырастают новые дома яркой, веселой окраски. Не пройдет и десяти лет, как от этих мрачных руин ничего не останется.

Но люди не должны забывать о трагедии века! Пусть все узнают о жертвах и героях, и он, Юзеф Болеслав Гарас, солдат и офицер на минувшей войне, а ныне историк, сделает для этого все, что в его силах. Он задумал гигантский труд — своего рода партизанскую энциклопедию, где будет описан каждый подвиг, назван каждый герой, оставивший след на многострадальной польской земле.

Молодой ученый взвалил на свои плечи нелегкую ношу. Документов почти не сохранилось, часто приходилось полагаться лишь на свидетельства человеческой памяти. А она несовершенна. Что-то человек хранит в своих «кладовых», а другое, иногда очень важное теряет, или заменяет фикцией. И попробуй, разберись в этой путанице правды и вымысла!

Особенно занимает историка судьба одного человека, сражавшегося вместе с поляками и погибшего за свободу Польши. В рассказах людей он выглядит одновременно и очень простым, и загадочным, многое в его биографии еще покрыто тайной. Кто знает, может быть, со временем что-то еще прояснится? А пока... Пока историк подолгу задумчиво смотрит за окно на широкую, спокойную реку, перебирая в памяти услышанное.

...Осенью 1941 года в районе Парчевских лесов, что севернее Люблина, после одного из боев батальонов

хлопских * с оккупантами, к одной из партизанских групп присоединился неизвестный, назвавшийся советским командиром.

Среди партизан тут же распространился слух, что этот человек прилетел самолетом из Москвы и был сброшен к ним с парашютом, который зарыл в лесу. Якобы, у него имелось специальное задание консультировать партизанских командиров, как лучше бить врага. Говорили, что он по званию то ли майор, то ли даже полковник.

Однако если он и был «советником», то недолго. Согласовав с командованием какой-то план, новичок организовал свою небольшую группу, куда вошли представители разных национальностей — поляки, русские, украинцы, осетины. Сам командир взял себе кличку Чуваш.

Эта группа стала действовать в тех же Парчевских лесах, иногда совместно с основными силами, но чаще самостоятельно. У нее сразу же определился свой почерк — дерзость замыслов, четкость исполнения, высокая маневренность. Фашисты, получившие от группы Чуваша ряд чувствительных ударов, начали с удвоенной энергией и злостью охотиться за партизанами: пробовали подсылать провокаторов, объявили по хуторам и фольваркам о награде за поимку командира, но все их старания были тщетными. Чуваш и его группа, совершив очередную диверсию, ускользали бесследно.

Численность группы быстро росла. К концу года в ней насчитывалось уже больше тридцати человек. А вскоре она пополнилась партизанами из других групп и стала именоваться отрядом Чуваша. Зоной его действий был уже не только район Парчева, но и район Влодавы, города, расположенного на крайнем востоке Люблинщины, у реки Западный Буг, за которой начинались белорусские земли.

Чем занимались эти партизаны? Тем же, чем и все: пускали под откос фашистские эшелоны с войсками и техникой, нападали на оставшие от походных колонн обозы, а иногда, когда выдавался благоприятный случай, и на сами колонны, поджигали комендатуры и биржи труда, помогая местному населению избежать каратель-

* Батальоны хлопски, или БХ — так назывались польские партизанские отряды, состоявшие в основном из крестьян.— *Прим. авт.*

ных мер и угона в фашистское рабство. Велика была их отвага, но силы пока еще малочисленны, и для того, чтобы осуществлять более крупные операции, отряд Чуваша объединился с отрядом Теодора Альбрехта, так же известного в этих краях своими умелыми и решительными действиями.

Теперь в отряде насчитывалось более двухсот человек. На совете решили, что командовать отрядом будет Теодор Альбрехт, он же Федор Ковалев, в недалеком прошлом старший лейтенант Красной Армии и командир батальона мотопехоты. Чуваш возглавил в отряде группу разведки.

Этот отряд, носивший сначала имя польского генерала Бема, а затем великого поэта и патриота Адама Мицкевича, избрал своей базой хорошо знакомые Парчевские леса. Но теперь его действия простирались еще дальше, чем прежде. Желая помочь соседним отрядам, Теодор Альбрехт послал почти половину своих бойцов на восток, за Буг. Правда, в чем заключалась эта операция и кто ею руководил, точных сведений не было. Одни утверждали, что во главе партизан находился Чуваш, ибо только он мог осуществить такой далекий и опасный рейд, прорвав или обойдя несколько вражеских кордонов. Другие склонялись к тому, что группой командовал кто-то еще, поскольку Чуваш вскоре появился в урочище под Парчевым, где произошла встреча партизанских руководителей района с прибывшим из Варшавы представителем подполья и одним из руководителей польского Сопротивления Юзефом Бальцежаком, и партизанский отряд Теодора Альбрехта влился в вооруженные силы Сопротивления.

В любом случае Чуваш оставался правой рукой Теодора Альбрехта и в дальнейшем, когда деятельность отряда проходила под непосредственным руководством Польской рабочей партии — авангарда борющейся Польши. Конечно же, только опытный разведчик мог ловко проникать в замыслы врага, выведывать тайны передислокации его воинских частей и безошибочно наводить партизанских минеров на дороги, по которым должны были проследовать колонны гитлеровских машин. Только он умел безошибочно находить себе помощников среди местного населения и даже среди немецких солдат, которые становились как бы глазами и ушами пар-

тизан во вражеском стане. И, может быть, ему принадлежала одна из главных ролей в том поистине чудесном «представлении», какое разыгралось в Парчевских лесах поздней осенью сорок второго года.

Тогда командир карательных войск Люблинского округа эсэсовский генерал Глобочник получил приказ от своего начальства уничтожить партизанский отряд, парализовавший движение на одной из главных магистралей, питавшей гитлеровские армии на центральном участке восточного фронта. В облаве участвовало до тысячи эсэсовцев, жандармов и легионеров. На лесных опушках и сельских околицах патрулировали вооруженные полиция, прикрывая выходы из чащи к населенным пунктам.

Но облава провалилась. Партизаны к началу боя уже знали, где расставлены вражеские засады, и ловко обошли их или смяли в лихой атаке. Отряд имени генерала Бема (тогда он назывался так) не только отошел почти без потерь, но и сам нанес врагу несколько чувствительных ударов.

«Знаменитый» Глобочник, которого сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер дружески называл в письмах «Мой дорогой Глобус!», осрамился. Но не успокоился, решил взять реванш, попросив у начальства подкрепления.

Всю зиму продолжались бои между карателями и партизанами. Последним это стоило нечеловеческих сил, да и немалых потерь — ведь то была целая серия тотальных акций, предпринятых гитлеровцами. Так они еще никогда не свирепствовали. И все же отряд жил и боролся.

Последняя и самая мощная волна карательных акций гитлеровцев прокатилась весной, когда уже просохла земля, но зелень только проклюнулась. В лесу — сквозном, прозрачном — трудно было укрыться даже одному человеку, не говоря уже о большом отряде с его хозяйством. Против партизан враг бросил почти вдвое больше солдат, чем прежде, а также танки и самолеты. По лесу вела огонь артиллерия — несколько десятков стволов крупного калибра.

Принимать бой с врагом партизаны уже не могли. Оставалась единственная надежда — найти лазейку во вражеском кольце. Но есть ли она?

Чуваш и его бойцы искали ее всю ночь. И нашли! Как — это осталось тайной. Только помнят оставшиеся в

живых партизаны, что вел он их сначала вброд через реку, потом по заболоченным лугам, вывел наконец к большому, темному урочищу. Здесь стояла тишина, только могучие сосны тихо покачивали зелеными головами, словно говорили: «Теперь вы спасены!»

Погиб легендарный партизанский разведчик поздней осенью того же, сорок третьего года, в доме польского крестьянина на хуторе Русилы, вблизи от города Влодава. Зашел погреться, перекусить, перебинтовать раненую ногу. Сидел за столом, шутил с хозяевами и их детьми, потом задремал. И вдруг неожиданно в дом нагрянула облава. Чуваши успели вскочить и выхватить оружие. Вместе с ним отстреливались от гитлеровцев несколько его разведчиков. Но силы были неравными. А главное — не было «лазейки»: каратели держали под обстрелом все окна и двери, даже печную трубу.

Все же трое или четверо из осажденных спаслись — их прикрыл огнем командир, последний из оставшихся в доме. Вот и все. Тело Чуваши нашли крестьяне под обломками досок и штукатурки. А когда немцы уехали с хутора — местные жители похоронили славного партизана на своем сельском кладбище. Сначала там был просто холмик с «опознавательным знаком» — березкой. И лишь через несколько лет, когда уже закончилась война и Польша была мирной, свободной и счастливой, могилу взяли в ограду и поставили каменный обелиск с короткой надписью: «Чуваши».

Больше о нем сказать пока никто не мог!

«... — Я не узнаю Чавдара!»

Так сказала мать, и все затихло. Лишь далеко-далеко слышался гул побоища, там гибли чувашские воины, побеждаемые многочисленным врагом.

Нет, это неправда! Анастасия Константиновна умолкает. Но сказка еще не кончена.

Эмма вопросительно смотрит на мать. А та раздумывает: открыться ей или пока рано, ведь надо многое выяснить, уточнить. Так говорят все, кто занимается этой историей — журналисты, краеведы. С ними — наука, факты. А с ней — ее вешнее сердце, оно еще никогда не ошибалось. «Чуваши» это он, он — ее Яков. И узнают ли его там, в далекой Польше по фотографии, которую туда послали из Чебоксар, или не узнают — теперь для нее ничего не изменится. Яша, ее Яша — этот храбрый польский

партизан, и он не мог быть другим, если судьба забросила его туда, в партизанские леса...

Но это лишь часть правды, светлая ее половинка. Вторая — черная, как ночь, которую она увидела во сне лет двадцать с лишним назад, зимой сорок четвертого года. И до того ей снился этот хмурый незнакомый лес, но раньше в чаще просматривалась избушка и в ней перед одинокой свечой сидел он — ее муж, ее Чавдар. А здесь приснился только лес — глухая стена деревьев, за которой не было огонька.

Она запомнила этот сон, и тот далекий день запомнила потому, что долго тогда носила тяжесть в груди. Никому не говорила о своих предчувствиях, вот уже сколько лет молчала и еще помолчит, пока все не убедятся в том, что партизан Чуваш, о котором пишут поляки, и ее муж, Яков Николаевич Николаев — одно и то же лицо.

В ноябре шестьдесят пятого года в Варшаве меня познакомили с двумя моими соотечественниками из города Чебоксары. Это были мать и дочь Николаевы — почетные гости Польши, хранящей, как величайшую из святынь, память о героях, погибших в боях с германским фашизмом.

Это были жена и дочь легендарного Чуваша, о котором я слышал еще за неделю до этой встречи от видного польского военного историка, доктора, полковника Юзефа Болеслава Гараса, автора широко известных книг о партизанском движении в некогда оккупированной фашистами Польше. Гарас говорил мне о том, что ему пришлось внести немало существенных корректив в главу о Чуваше после того, как жена по фото опознала его. Значит, он был пограничник! Так вот откуда бесстрашие, военная хватка!

Гарас — небольшого роста, плотный, с живым и добрым лицом, весело смеется над своими же заблуждениями.

— Так рождаются легенды, — говорит он. — Крестьянам, видно, очень хотелось, — а я сам по происхождению крестьянин и знаю их психологию, — чтобы этот разведчик прилетел к ним с неба, вот они и сделали из него таинственного парашютиста. А он был такой же, как и они.

Он дастает из шкафа большую бутылку с «зубровкой», которую ему прислали его деревенские родичи.

— По обычаю мы должны сказать,— говорит он, поднимая рюмочку,— «за упокой!» Но здесь особый случай, и мы добавим: «и за здравие!» Пусть наша земля ему будет пухом. Здравствуй, Чуваш!

У человека — два пути, две судьбы.

Можно быть живым и здоровым, но бесполезным для людей и далеким от их сердца.

А можно давно уйти в землю, но не зарости травой забвения, а продолжать жить в человеческой памяти. Так как же тогда понимать это великое слово «Жизнь»? Наверно, как семя, дающее только добрые всходы!

Меньше, чем через год после того, как было установлено его подлинное имя, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось: «За активное участие в партизанском движении в период Великой Отечественной войны, мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, наградить лейтенанта Николаева Якова Николаевича орденом Красного Знамени (посмертно)».

О Чуваше написано в книгах, статьях — и у нас, и в Польше. По следам Чуваша идут ученые, журналисты, краеведы, юные «следопыты», обнаруживая все новые и новые подробности его жизни. У могилы Чуваша на кладбище в Русилах, в день поминовения усопших «боевников», встает почетный караул, на зеленый холмик возлагаются цветы.

...А это произошло совсем недавно.

Было лето. Солнечным днем шел по Волге пассажирский теплоход, и веселая студенческая компания, расположившись под тентом на верхней палубе, распевала под гитару любимые песни. Их знал почти каждый пассажир, и, подхваченные сотнями голосов, они широко неслись над рекой.

Но вот встал черноволосый гитарист и сказал, что сейчас будет исполнена песня, посвященная пограничникам Перемышля, погибшим когда-то, в первые дни войны. Тем, кто форсировал Сан и был на территории врага. Всем тем, кто пошел в атаку и не вернулся.

Рванули взрывы на заре,
Они ложились слишком густо...
Но в Перемышле и под Русской
Мы по чужой прошли земле
И там растаяли в огне...

Вы знали все: и стынь Москвы,
И севастопольские гари,
И вновь счастливыми вы стали.
А мы так рано умирали,
В полях цветами проросли.

Опять светлеет небосвод,
Туман редее над могилой
И как всегда встает рассвет.
Жена, найди тот холмик милый.
Скажи: вы счастливы иль нет?
Скажи: нас помнят или нет?

Парень спел песню, и все задумались. «Кто сочинил ее?»—спросили у певца.—«Народ»,—ответил он.—«А как она называется?»—Парень пожал плечами.—«Каждый называет ее по-разному. Одни — «Зеленые фуражки», другие — «Первая атака».

Мне рассказала об этом дочь Чуваша — Эмма Николаевна, когда я приезжал в Чебоксары. Сама она услышала эту песню на фестивале самодеятельной патриотической песни, проходившем в ее родном городе зимой семьдесят восьмого года.

В фестивале принимали участие посланцы Москвы, Ленинграда, Минска, Куйбышева, Ульяновска, Уфы, Тольятти, Димитровграда и многих других городов нашей страны. Песню исполнял студент Эмир из Казани. Он сказал, что посвящает ее человеку, который родился на этой земле,— лейтенанту 92-го Перемышльского погранотряда и легендарному польскому партизану Чувашу — Якову Николаевичу Николаеву.

Так и сказал: «ему», а не «его памяти».

Словно живому человеку.

Живому среди живых.

В НАЧАЛЕ ДНЯ

И умер он, судьбу приема,
Как подобает молодым,
Лицом вперед, обнявши землю,
Которой мы не отдадим.

И. Уткин

В польском городе Пшемьсле на берегу реки Сан возле железнодорожного моста стоит скромный памятник. Несколько положенных друг на друга каменных плит с гербами Советского Союза и Польши. На металлической дощечке написано, что памятник поставлен в конце шестидесятых годов лейтенанту Нечаеву П. С. и бойцам-пограничникам — защитникам железнодорожного моста.

«Кто же был этот П. С. Нечаев и в чем заслуга его и бойцов?» — может спросить случайный прохожий, каких, особенно в летние дни, немало на туристских тропах Подкарпатья, живописной местности, богатой памятниками прошлого. Сколько их, больших и малых, величественных или почти неприметных, увидишь и на людных площадях городов, и у немых развалин какого-нибудь старинного замка или крепости, или вот здесь, на берегу реки, чей тихий плеск время от времени заглушается стремительным шумом проходящего поезда... И попробуй расшифруй эту короткую надпись! Разве лишь какой-нибудь краевед расскажет в подробностях про подвиг маленького отряда советских пограничников в самом начале войны, или по-польски в алки, с которого все — и русские, и поляки — ведут отсчет героическим делам, происходившим тогда в этом городе.

Много воды утекло с того дня. Выросло новое поколение, и мало уже тех, кто знал лейтенанта Нечаева — и в Перемышле, и в других городах и весях. Даже могилу его по сей день не нашли.

Только память о нем живет!

I

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант?

— Докладывайте.

— За время нахождения в дозоре на нашем участке ничего подозрительного не обнаружено, за исключением трубочиста.

— Опять? — живые темные глаза лейтенанта мгновенно загорелись.— Тот самый?

— Так точно. Только цилиндр на шляпу сменил... Но мы его, товарищ лейтенант, — красивый, ладный Саша Калякин подмигнул своему напарнику, худенькому, малорослому Кузнецову, — по ноздрям узнали. И по почерку.

— Передавал?

— Похоже. Слишком уж часто метлу дергал.

— А ты записал?

— Конечно. Вот,— Калякин поспешно достал из сумки испещренный значками листок бумаги.— Как вы учили: тянет — значит тире, дергает — точка...

Лейтенант жадно схватил листок, глаза его забегали по строчкам.

— Так... Так...— забормотал он.— Вроде что-то получается.— Он вскинул голову, прищурился.— А как ты узнал, где слова кончаются?

— Сам догадался. Если выпрямился,— значит, думаю, слово кончилось. Ну, а если выпрямился и постоял, да еще шляпу потрогал, значит — фраза...

— Молодец, москвич! Так... «Брата»... «понедельник»...— забормотал лейтенант, разбирая шифр. И вдруг хлопнул ладонью по столу: — Прочел! Три раза одна и та же фраза: «Брата ждем понедельник обедню новостями». Смотрите! — Он стал читать вслух.

Отпустив обрадованных его похвалой бойцов, лейтенант тут же, не откладывая, написал донесение в штаб комендатуры, высказав свое предположение насчет того, что под «братом» следует понимать какое-нибудь духовное лицо, которое должно в назначенное время передать на ту сторону вышеуказанные «новости» с помощью церковного колокола. Он хотел добавить, что, по его мнению, в понедельник надо записать вот так же азбукой Морзе, звон всех имеющихся в Перемышле колоколов, но — воздержался. «Это уж слишком,— решил он.—

Там и без меня сообразят. А то еще посмеются, что яйцо курицу учит!»

Однако, как человек, привыкший любое дело доводить до конца, пожалел, что лишен возможности вытянуть всю эту ниточку, которая незримо тянется с немецкого берега на наш...

В коридоре послышались знакомые шаги, звон шпор, и в комнату вошел начальник заставы Патарыкин.

— Происшествия есть?— спросил он, садясь за свой стол.

— Есть,— заместитель положил перед ним донесение.— Прочитай и подпиши.

Патарыкин размашисто подписал, а потом уж прочел.

— Смотри-ка: трубочиста приспособили.— Потарыкин хохотнул, покрутил круглой, как шар, головой.— Или он такой же трубочист, как мы с тобой? Как ты его засек?

— Заочно, по обзорным данным. В октябре бойцы доложили, что на крыше дома, где монахи живут, трубочист возился, и в начале ноября тоже. А кто же дважды за месяц трубы чистит?

— Ишь ты, знаток печного дела! — умилился Патарыкин.— Откуда это у тебя?

— Я же сибиряк, из кержаков. А в Сибири печь — едино, что икона.

— Да,— протянул Патарыкин, любовно глядя на своего заместителя и вдруг, вспомнив что-то, нахмурился.— Слушай, ты мне сегодня утром насчет отпуска говорил. Это серьезно?

Нечаев покраснел.

— Серьезно.

— Нашел время! Немцы к границе войска стягивают, а он... На сколько дней просишь?

— Хотя бы на десять.

— А куда поедешь? К своим старикам?

— Нет. В Ростов-на-Дону.

— В Ростов? — Патарыкин испытующе посмотрел на заместителя.— Кто там у тебя объявился?

— Невеста.

— Какая это еще такая невеста? — Глаза у Патарыкина вдруг округлились.— Постой, постой, уж не та ли это дивчина, которая в прошлый раз, когда мы у Белецких чай пили, тебе на фотографии приглянулась?

Нсчаев еще больше покраснел.

— Она.

-- Так это же, как у нас на Украине говорят, мрия, пустая думка! Или ты с ней уже списался?

— Нет.

— А как же?

— Так, по-пограничному... Оперативно.

Голос у лейтенанта был преувеличенно бодрый, на щеках, покрытых юношеским рыжеватым пушком, пламенел румянец.

Патарыкин насмешливо фыркнул и, махнув рукой, погрузился в чтение деловых бумаг. Поведение заместителя на этот раз показалось ему несерьезным. «Еще одумается,— решил он.— Или здесь, в Перемышле, для него невест нет?»

Нечаев помрачнел. Он уже готов был пожалеть, что открылся в своем, может быть, и впрямь немного безрассудном намерении. Впрочем, что же здесь особенного, бывает ведь любовь с первого взгляда? И у него тоже вспыхнуло чувство к этой девушке с нежным овалом лица и черной челочкой. Он выделил ее из всех школьных подруг Леры, жены своего друга и сослуживца Феди Белецкого, когда в тот самый вечер рассматривал альбом с фотографиями. «А ты глазастый! — сказала Лера.— Тамара Шерстобитова была гордостью нашего класса — училась хорошо и в самостоятельности участвовала — пела, танцевала. Вот бы тебе, Петя, такую жену! Между прочим, она и сейчас не замужем...»

Разговор был, конечно, шутейный. А запали эти слова Петру в душу. Он не раз вспоминал о них, возвращаясь после служебных забот и хлопот в свою пустую холостяцкую квартиру. И девушка являлась к нему в мечтах — красивая, веселая, ласково смотрела на него синими большими глазами, и на душе у него становилось тепло и спокойно. А этой ночью он увидел ее во сне, будто бы она плыла вместе с ним в лодке и пела звонко-звонко. Петр проснулся, счастливый, и, вдруг решившись, написал рапорт об отпуске. Нет, теперь отступить нельзя! Он поедет, увидится с ней и расскажет все, как есть. Неужели она его не поймет?

Патарыкин, читая рапорт, искоса поглядывал на лейтенанта. Тот сидел, отвернувшись к окну, за которым буйствовал осенний ветер, срывая с деревьев последние

листья, и задумчиво барабанил пальцами по стеклу. «Та... Ти-та... Та-та...— Ухо начальника заставы уловило привычную дробь.— Ти-та-ти... Ти-та». «Тамара»,— прочел Патарыкин и чертыхнулся в душе.— Фантазер!»

А Тамара Шерстобитова и в самом деле ничего не знала. Вернее, знала, что где-то, чуть ли не на краю света, в далеком и таинственном Перемышле (говорили, что туда пускают только по пропускам), на одной лестничной площадке с ее бывшей школьной подругой Лерой Бышевской и ее мужем, командиром-пограничником Фейей Белецким, через стенку, живет какой-то холостой лейтенант, Федин начальник, который, будучи у них в гостях, увидел фотографию Тамары и сказал, что на этой красивой девушке он хотел бы жениться. Тамара, кажется, посмеялась тогда, читая Лерино письмо. Оно даже в памяти не осталось.

У Тамары в девятнадцать лет была своя заповедь: «Любовь не надо торопить, она придет сама». В соответствии с этой заповедью Тамара вот уже около года дружила с Сережей Саркисовым, молодым и тоже красивым, даже очень красивым инженером, ходила с ним на танцы и в кино, постепенно привыкая к нему. Нет, она еще не любила его, но он ей нравился — у него были хорошие манеры, он был ласков и предупредителен, хотя держался с Тамарой чуть покровительственно, как старший. Знакомые говорили, что они — «пара, что надо», на них любовались, встречные на улице оборачивались им вслед. И Сергей был доволен, он шел, бросая по сторонам гордые взгляды и демонстративно обнимал Тамару, чем немало смущал ее.

Они прогуливались медленно, не спеша, и девушка верила, что когда-нибудь они придут к неизбежному, как приходили к маленькому домику под зеленой крышей в Доломановском переулке, где жила Тамара. Прощаясь, молодые люди стояли у калитки минут пять, иногда десять, но не больше, договаривались о следующей встрече, целовались и расходились.

И вот однажды... Впрочем, дата запомнилась точно, потому что был День Конституции, и еще накануне вечером мать Тамары, Екатерина Авраамовна, поставила тесто, а утром встала рано и занялась пирогами. Стара-

лась не греметь, пусть домашние поспят. Муж ее, Виктор Васильевич, вчера до полночи возился с отчетом, хотел все закончить, чтобы в праздник быть со спокойной душой. Тамара — она работала в редакции корректором — пришла под утро: готовился к выпуску праздничный номер газеты. Есть она не стала и, едва сбросив с себя платье и туфли, нырнула в постель.

Екатерина Авраамовна осторожно подняла заслонку, посмотрела на пироги. «Хороши, не передержать бы только». Она взглянула на часы и ахнула. Уже восемь! Накинула на плечи полушубок, побежала открывать ставни. Светало. Улица, обычно людная в это время, была пуста. Только по другой стороне ходил какой-то военный в длинной шинели, останавливаясь у каждого дома и вглядываясь в номера. Наверное, искал кого-то.

Вскоре встал Виктор Васильевич, прошел, не зажигая света, через столовую, в сумерках, со сна, задел стул, ругнулся — вечно мебель не ставят на место, но, войдя в кухню и получив внушение, подобрел — не столько от слов жены, сколько от наполнявшего кухню сдобного духа и тепла. «Медведь, медведь... — согласился он. — А будить их все одно надо. Ничего, что ночью пришла: поест и снова ляжет».

В десятом часу все сидели за столом, пили чай с пирогами, и Виктор Васильевич похваливал жену — в наидание дочерям, чтоб ценили материнский труд, а также не без тайного умысла получить досрочно, до обеда, рюмку наливки.

Забегала соседка, попробовала пироги, сказала, что по переулку вот уже больше часа ходит военный в зеленой фуражке, с каким-то листком в руке, кем-то интересуется. В это время самая младшая в семье Оля подбежала к окну, крикнула: «Мама! Он на наш дом смотрит!» Отец подошел к окну. Действительно, на той стороне улицы, на тротуаре, стоял высокий стройный военный в длинной шинели и пристально, исподлобья глядел на их дом. Женщины испуганно притихли. Отец решительно распахнул форточку, крикнул: «Вы кого-то ищете?» Военный ничего не ответил и отошел.

Потом все снова пили чай, и Виктор Васильевич шутил над незамужней сестрой жены Галей и старшей дочерью, что вот де, отогнал от дома выгодного жениха, потом пришел племянник Екатерины Авраамовны Аким,

слесарь, и стал чинить лопнувшую пружину у старого граммофона, починил, и граммофон завели. Хозяйка, нарушив положенные сроки, поставила на стол бутылъ с вишневой наливкой и первой налила себе рюмку. Соседка, конечно, осталась еще «на минутку». Выпили за День Конституции, за то, что каждый человек, у кого совесть чиста, может спать спокойно, за холостяка Акима, чтобы он не мотался, а скорее женился бы на хорошей женщине. И в эту минуту хозяйка чутким ухом, сквозь смех, уловила, что во дворе залаял Мурзик, вскочила, побежала к дверям. Звякнул звонок, Екатерина Авраамовна толкнула незапертую дверь и замерла. У порога, в сенях, почти упираясь зеленой фуражкой в потолок, стоял военный в длинной шинели, тот самый!

Это был он, лейтенант Петр Нечаев.

Три дня назад начальник заставы Патарькин все-таки подписал приказ об отпуске, но посоветовал своему заместителю не говорить в штабе об истинных намерениях. «Отпуск я тебе, можно сказать, с кровью вырвал, обстановка на границе сам знаешь какая, а ты вдруг, ляпнешь: поеду за невестой. И за какой? За мифологической! — Саша Патарькин любил иногда подпустить ученое словцо. — Представь, что вернешься назад без молодухи и даже без штампа о браке? Позор будет на весь отряд — и тебе, и мне!»

Петр согласно кивнул, и в штабе, когда начфин, выписывая проездной литер, спросил его, почему он едет не в Сибирь, как прежде, а в Ростов, ответил шуткой, что решил сэкономить государственные денежки: ведь проезд до Ростова, наверное, раза в три дешевле, чем до Сибири. Начфин похвалил лейтенанта за бережливость, хотя понял, конечно, что тот шутит.

Белецким же Нечаев прямо заявил: «Еду к Тамаре, давайте письмо». Федя иронически хмыкнул, но промолчал, не решился отрезвлять начальника. А скучающая в Перемышле Лера, увидев литер до Ростова, восторженно захлопала в ладоши: «Ай да Петя! Ну и молодец!» — и тут же настрочила записочку подруге. И вот Петр в незнакомом городе. В темноте вышел на привокзальную площадь, ежась от влажного ветра, остановился под фонарем, посмотрел на план, нарисованный Лерой. Стрелка вела прямо, потом направо, через мостик над речушкой вдоль трамвайной линии, до продуктового магазина.

А уж оттуда до заветного дома не больше пятидесяти метров: четвертый или пятый от угла, в три окна, под зеленой крышей.

Петр шел быстро, походным шагом, ни о чем не думая. Но ориентиры засекал — «на случай отхода». Вот тумба с афишами, здесь кончается дорога к вокзалу и начинается шоссе. Вот поворот направо, где-то здесь должен быть мостик. Ага, есть! Петр облегченно вздохнул. Теперь лежащий в белесой мгле город уже не казался чужим.

Вот и переулок. Единственный фонарь освещал лишь два-три домика, дальше все тонуло в темноте. Петр толкнул в плечо сторожа, дремавшего на ступеньках магазина. «Где дом восемьдесят три?» Сторож испуганно вскочил, наверно, приняв его за милиционера. «Тут, товарищ начальник!» — он махнул рукавом тулупа вправо и отдал честь.

Ломая спички, лейтенант светил на номера. Но Лера, видимо, что-то напутала. Дом под номером восемьдесят три был длинный, в шесть окон, с высоким чугунным крыльцом и какой-то табличкой на двери.

«Нет, это явно не то! — решил пограничник. — Буду ходить взад-вперед, пока не рассветет. — Чтобы убить время, начал считать шаги. — Ведь где-то же она здесь, близко?» — думалось ему.

Наконец появились первые прохожие. Загремели ведра, заскрипели, захлопали ставни. Две женщины, набравшие из колонки воду, показали на маленький домик с дымящейся трубой. «Не восемьдесят третий, а восемьдесят четвертый, — наперебой объяснили они. — И хозяин там есть, и хозяйка, и две дочки, одна уже барышня, Тамарой зовут».

Он быстро подошел к домику, но в калитку войти не решился. «Боишься? — спросил он себя и тут же ответил: — Не боюсь, а неудобно влетать так, с ходу». Он снова перешел на другую сторону и стал не спеша прохаживаться, поглядывая на домик. Вдруг занавеска в среднем окне зашевелилась. «Она!» Но распахнулась форточка, и мужчина в синем кителе крикнул, не ищет ли он кого. Петр смутился, отошел. Своей зеленой фуражкой, письмом в руке, а главное, сосредоточенным видом он привлек внимание жителей этого тихого переулочка. На него смотрели из окон, оглядывались при встрече.

Он сунул письмо в планшетку, надвинул фуражку и зашагал к дому.

Дверь была не заперта. Пригнувшись, он вошел в сени и услышал хриплые звуки граммофона, смех.

Лейтенант решительно шагнул вперед, дернул шнурок звонка. Открылась дверь, невысокая темноволосая женщина, увидев незнакомца, слегка отпрянула. «Свадьбу играете?» — спросил он. «Нет... День Конституции отмечаем. А вы, простите, к кому?» — «К Тамаре, — и быстро добавил, — от Леры Белецкой, из Перемышля». Женщина радостно всплеснула руками. «От Лерочки?» — она засуетилась, крикнула в столовую: «Тамарочка, к тебе гость!» И опять к нему: «А вы снимите шинель и проходите. Слава богу, пироги есть... Тамарочка сейчас немного приберется, она с ночного дежурства пришла, ну, а у нас все свои, родичи и соседка».

Но он смотрел мимо нее, на узкую полоску в дальней двери, куда скрылась Тамара. Он увидел ее только в спину — голубой халатик и темную шапку волос. А сейчас увидит в лицо. «Скорее же, скорее!» Он даже шинель снял, не поворачиваясь, и машинально, наугад, повесил на вешалку. «Что же она?» Петр прошел в столовую, познакомился со всеми, продолжая поглядывать на слегка приоткрытую дверь. Там, за дверью, не торопились. «Так как там, Белецкие? — наконец, услышал он голос хозяина, — довольны жизнью в Перемышле? Или это военная тайна?» — «Нет, почему же, конечно, довольны», — заговорил он.

Дверь за спиной легко скрипнула. Он повернулся и вскочил.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

Девушка покраснела и быстро взглянула на него. Лейтенант стоял, вытянувшись, как на параде.

— Меня зовут Нечаев, Нечаев Петр.

— Очень приятно... Но, может быть, мы сядем?

Она слегка улыбнулась и села на диван. Петр тоже сел. «А глаза у нее не синие, — отметил про себя он, — и не карие, а золотистые. И ласковые...»

— Где же письмо, давайте?

Он расстегнул планшетку, торопливо достал письмо

— Здесь, на конверте, даже план нарисован, как вас найти.

— Оригинально! — Тамара усмехнулась.

Она быстро пробежала глазами коротенькую записочку. Подруга просила отвести лейтенанта к ее маме, чтобы он рассказал подробно об их с Федей житье-бытье, поскольку в письмах («Не маленькая, сама понимаешь») многого писать нельзя. «Кстати,— добавляла она в конце,— это тот самый наш сосед, которому ты поправилась на фотокарточке».

«Ах, вот в чем дело!» Тамара разгадала нехитрый замысел подруги: Лера решила познакомить ее с этим лейтенантом и теперь старается, придумывает всякие уловки. А он... Уж не рассчитывает ли на скорую победу? Но, кажется, он не похож на повесу. На вид он, скорее, человек серьезный, обстоятельный, только немножко смешной.

Лейтенант рассказал о себе, поглядывая то на Тамару, то на ее родителей.

— Я ведь по происхождению не городской — деревенский. Алтайские мы.— Он достал несколько любительских фотографий.— Вот мои старички. Сам снимал. Папаша — красный партизан, член партии, большого ума человек, хотя и не шибко грамотный. Таежник. На все руки мастер — и печь сложить, и крышу покрыть. На охоту до сих пор ходит, белку из винтовки бьет. А это мамаша, домохозяйка. Все с детьми да с детьми. Видите, их сколько! С этим братом, Павлом, мы погодки, даже одни сапоги на двоих носили. Когда на улице грязь, то друг друга на закорках через лужи переносили. А сейчас — оба командиры.

— А жена или невеста у вас есть? — полюбопытствовала мать.

— Нет.

— И не было?

Петр замялся.

— Была одна... Не невеста, а так, знакомая. Только давно. Вот!

Он показал фотокарточку неулыбчивой белокурой девушки. Тамара из вежливости тоже взглянула мельком.

— Храните? Значит, любили.

— На границе обо всех вспоминаешь. Но любви у меня не было.— Он испытующе посмотрел на нее.— А у вас, есть кто-нибудь... близкий вашему сердцу?

— Конечно. Даже несколько.

— Она шутит,— поспешно вставила мать.

— Почему же? А ты, а папа?

— Я о других.

— Есть и другие.

Она отодвинулась от него. Помолчали. Лейтенант тронул ее руку:

— Вы меня проводите... до Лериной мамы?

— Может быть, я лучше вам расскажу, как туда пройти?

— Иди! — строго сказал отец.— Он же наш гость. Только не задерживайтесь, оба приходите к обеду.

«Этого еще не хватало!» — подумала Тамара. А лейтенант просиял.

Они вышли на улицу.

Наконец-то вдвоем, без свидетелей! Как он ждал этой минуты. Сейчас он скажет ей одну из тех пламенных речей, которые придумывал бессонными ночами. Но робость, проклятая робость, которую он ненавидел в себе, словно сковала язык. Все пылкие речи вылетели из головы, осталась какая-то жалкая труха. Он вспомнил наставления Леры: «Говори о книгах, о кинофильмах — она девка начитанная, грамотная».

А Тамара шла и, казалось, не замечала его, чему-то рассеянно улыбнулась. «Где сейчас Сережа? Неужели все еще в командировке?» Она вдруг подумала о нем, проходя через скверик и посмотрела на скамью у фонтана, которую они звали «нашей».

— О чем вы думаете?

— Угадайте. Вы же пограничник.

— Пограничник должен угадывать только мысли врага. А вы... вы для меня...— Он даже задохнулся,— так она была хороша в своей синей шубке и синем беретике, с розовыми от мороза щеками, темными локонами, припорошенными легким пушистым снежком.

Девушка засмеялась махнула рукой. Они вышли на оживленный Буденновский проспект, уже весь белый от снега.

— Вон там,— показала Тамара,— видите гостиница «Ростов», а рядом, под куполом дом, где живет Лерина мать. Первый подъезд, третий этаж.

— А вы?

Она посмотрела на его обиженное лицо.

— Не сердитесь. Сегодня к нам могут прийти гости,

мне надо сходить в парикмахерскую. Вы же видите, какая я растрепа.

— Послушайте, Тамара! — Он удержал ее и, зардевшись, взглянул на нее так, что она испугалась.— Сколько вам нужно знать человека, чтобы выйти... чтобы заключить с ним брачный союз?

— Года два-три... Собственно, зачем это вам?

Она вырвалась и быстро пошла в другую сторону. «Оглянется или нет?» Ее невысокая стройная фигурка мелькала в толпе, как синий огонек. «Если не оглянется — все пропало». Она оглянулась и махнула рукой. Все в порядке!

Он посмотрел на идущих мимо людей, на деревья, запорошенные снегом, вдохнул свежий, пахнущий миндалем и фиалками воздух и засмеялся: «Два-три года!» А у него в запасе всего семь дней: пятнадцатого он должен быть в Перемышле.

Если бы люди могли читать мысли друг друга...

Тамара оглянулась просто потому, что почувствовала на себе взгляд этого чудака, и с досадой махнула рукой: идите же! Не придавала она значения и его вопросу «о брачном союзе». Как и большинство девушек, Тамара могла бы понять того, кто бы сам понравился ей с первого взгляда. Но появление незнакомого лейтенанта, как и его ухаживания казались нелепыми и смешными.

«Больше я с ним никуда не пойду!» — сказала она родителям. Тамара вернулась сердитая и расстроенная: в парикмахерской пришлось выждать большую очередь; телефон у Саркисовых, куда она позвонила с почтамта, молчал, по-видимому Сережа еще не приехал. «Я несчастная! — думала Тамара.— Так ждала праздника, мечтала провести его в какой-нибудь веселой интересной компании... А тут придется сидеть дома, в общества долговязого лейтенанта. Хотя бы он не пришел!»

Но лейтенант пришел — выбритый, сияющий, со свертком в руке. Отозвал на кухню Екатерину Авраамовну и о чем-то долго шептался с ней. Мать вышла оттуда смущенная, с красными пятнами на щеках. «Тамарочка,— сказала она,— ты развлекай Петю. Спой что-нибудь или хотя бы заведи граммофон». Петь Тамара конечно, не стала, а граммофон завела. Лейтенант пригласил ее танцевать. Отодвинули стол, сделали два-три

круга и уселись на диван. «Расскажите про шпионов», — попросила сестра Оленька. Отец шикнул на нее, но лейтенант оживился и рассказал несколько случаев из пограничной жизни, предупредив, что о них уже писали в газетах. Он говорил, увлекаясь и не отрывая глаз от Тамары. Она тоже смотрела на него с интересом, вероятно, потому, что впервые подумала о его трудной и опасной службе и представила, как должно быть он одинок в далеком, чужом городе в пустой квартире, куда часто возвращается уставший, промокший до нитки. Перед ней был необыкновенный человек, герой. А она смеялась над ним!

Тамара стала рассматривать его лицо — пристально, как бы определяя, что же в нем героического? Нет, это было заурядное лицо сельского парня — скуластое, с пухлыми обветренными губами, с жестким ежиком темно-русых волос. Ничего примечательного, только, пожалуй, глаза — темно-карие с искринкой, живые, сообразительные. Как они много видели!

Лейтенант ушел поздно, сказав, что поселился в гостинице «Ростов» и что завтра, если Тамара не возражает, он зайдет за ней и они пойдут в театр. «Завтра не могу — у меня ночное дежурство». — «В таком случае разрешите зайти и проводить вас на службу?»

Сейчас он опять был прежний — угловатый, смешной. Тамара хотела отказать. «Вдруг знакомые увидят, скажут Сереже». Но передумала. «Пусть Сережа немного поревнует, в следующий раз не будет задерживаться в командировке!»

Лейтенант просиял.

— Так, значит, завтра в пять ноль-ноль!

Он ушел довольный и весело, заговорщически подмигнул матери. Тамара вспомнила об оставленном свертке. «Что он тебе принес?» — недовольно спросила она. «Это не мне, — призналась мать. — Тебе».

«Нет, он сошел с ума!» — говорила себе девушка. Она пыталась сердиться и не могла: таким красивым и необычным был этот подарок. Неизвестный чеканщик когда-то постарался, словно зная, что украшения достанутся именно ей. И простенькое кольцо, и серьги — все так шло к ней. А перстенок! Именно о таком она мечтала. Нет, наверное, он и в самом деле может угадывать мысли, и не только врагов.

Тамара, глядя в зеркало, невольно любовалась собой. Сейчас она была похожа на всех своих кинокумиров сразу — на Тарасову, Марецкую, Зою Федорову. Подружки увидят — умрут от зависти!

И вдруг мысль, которая неприятно уколола ее вначале, вернулась и разом стерла улыбку с лица, потушила блеск глаз. Тамара сняла с себя украшения и сложила их обратно в коробку. Какое она имеет право брать этот подарок да еще хвастаться? И кто ей лейтенант? Завтра же она скажет ему, чтобы он больше не приходил. Нет, пожалуй, это слишком грубо! А она не должна грубить, тем более человеку, который служит на границе, защищает Родину. И все равно: как он смеет? За кого он принимает ее. Впрочем, она сама виновата: не сказала ему прямо о Сереже и своей любви к нему.

«Любви?» Тамара на мгновение задумалась, как лучше назвать свое чувство к Сергею. А может быть, между ними пока еще не любовь, а просто дружба? Пусть так, но лейтенант должен понять, что «третий — лишний», и удалиться. А Сережа — хороший, хороший, хороший. И если бы сейчас не был в командировке, то она не разрешила бы лейтенанту прийти, и вообще... Но за что лейтенант так полюбил ее? Или он притворяется, играет? Нет, такой человек притворяться не может. Он тоже хороший. Ей почему-то вспомнилось, как он на улице читал стихи — громко во весь голос. Сережа так не вел бы себя. Нет, этот лейтенант большой чудаки. Едва они познакомились, как он уже заговорил о «брачном союзе», и подарок принес...

Ей было жаль огорчать лейтенанта. Тамара снова колебалась, но вдруг услышала шепот на кухне. Прислушалась. Это разговаривали между собой отец и мать «Он сибиряк, крестьянский сын, уж если полюбил, то крепко, на всю жизнь», — говорил отец. «Но он ей, может быть, не нравится», — пыталась возразить мать. «Понравится! В старое время тоже иногда без большой любви, по сватовству выходили». — «Это верно, — соглашалась мать. — Только ведь теперь у них другое понятие...»

Ах вот как! Значит, они хотят решить ее судьбу за нее?

Вечером она вышла лейтенанту навстречу, в руках

коробка. Заученная речь прозвучала торжественно и скорбно.

— Возьмите, Петр. И прошу вас,— она запнулась, не решаясь выговорить «оставьте меня в покое» — прошу... не надо больше.

Лейтенант вспыхнул, прищурился, потом усмехнулся печально.

— Что ж, насильно мил не будешь. А это... оставьте себе на память. Или отдайте кому-нибудь.

Она подняла глаза, но он уже повернулся. Хлопнула дверь, жалобно звякнул звонок.

— Что ты ему сказала? — мать, вышла из столовой, недовольно оглядела дочь.— Эх, обидела человека! Он же от чистой души.

Не слушая ее, Тамара прошла на кухню, торопливо, обжигаясь, выпила стакан чаю, завернула бутерброд, оделась.

В разгоряченное лицо ударил холодный, колющий ветер. «Конечно, мне его жаль. Но я не виновата. Каждая порядочная девушка на моем месте поступила бы так же». Она была даже рада, что все закончилось быстро, без упреков и объяснений.

Качнулся фонарь, метнулась чья-то тень. Тамара испуганно отстранилась. В освещенный круг вышел лейтенант, весь осыпанный снегом.

— Не бойтесь меня, Тамара,— сказал он.— Только ответьте мне на прощание... Вы верите в то, что ваш друг любит вас больше, чем я?

Тамара молчала.

— Ага! — воскликнул лейтенант.— Вы не уверены в его чувствах! Мне Лера кое-что говорила. Но я не хочу повторять. Я хочу только одного, чтобы вы были счастливы.

— Почему вы так думаете, что я не уверена? — с вызовом ответила Тамара.— Вам наговорили...

— Нет, нет! — выкрикнул лейтенант.— Я только предполагаю. Где он, ваш друг, его не было ни вчера, ни сегодня? — Он прислонился к столбу, фуражка упала с его головы.

Тамаре снова стало жалко этого чудака. Ну что, что с ним делать? Она осторожно погладила его волосы, лоб, мокрую от снега щеку!

— Петя, милый, прошу вас...

Он встрепенулся.

— Как вы сказали? Повторите.— Петр отпрянул от столба, схватил ее руку, поцеловал.

— Сумасшедший, из-за вас я могу опоздать на работу.

— А вы подайте заявление об уходе.

— Кто же меня будет кормить?

— Я.

Она надела ему на голову фуражку, взяла под руку, и они быстро пошли через темный сквер по направлению к Буденновскому. Тамара искоса поглядывала на лейтенанта. У него снова было веселое лицо.

Не доходя до проспекта, Тамара остановилась.

— Петя, мы должны поговорить серьезно. Но сейчас у меня нет времени.

— У меня его еще меньше.

— Вот и хорошо. Давайте разойдемся, вы уедете к себе, проверите свои чувства, а я свои, и будущим летом или осенью мы, возможно, встретимся опять, тогда все будет ясно.

Лейтенант вздохнул.

— «Возможно!» — он покачал головой.— Нет, тогда-то уж мы не встретимся.

Он улыбнулся какой-то вымученной улыбкой, и Тамара почувствовала, что за всеми этими недомолвками, вероятно, кроется некая тайна, о которой лучше не спрашивать. И снова, неожиданно для себя, погладила его по руке...

Тамара пришла в корректорскую тихая, задумчивая. Сослуживица, пожилая корректорша Людмила Михайловна, вся в мелких подкрашенных букольниках, с нарумяненными щеками, оторвалась от газетной полосы и, шурясь, оглядела ее.

— Что-то случилось, Томочка? — пропела она.— На тебе лица нет.

— Случилось. Мне сейчас сделали предложение.

— Боже, это же чудесно. Тот красавец брונет, с которым я тебя как-то видела?

— Нет, другой.

— Другой? Кто же он?

— Военный. Пограничник из Перемышля.

И Тамара рассказала о событиях, последних двух дней: как приехал Петр, как начал ухаживать за ней, как только что на ступеньках редакционной лестницы, прощаясь, сделал предложение. Она ему ничего не ответила, побежала наверх. Он крикнул ей вслед: «Все равно ты расстанешься со своей редакцией!»

Ну как, как ей поступить с человеком, который не хочет ничего слушать и твердит одно?

Людмила Михайловна, считавшая себя специалистом в сердечных делах, пришла в восторг.

— Влюбиться по фотографии и приехать черт знает откуда, чтобы сделать предложение, — это же прелестно, восхитительно! Боже, как романтично! Он меня заинтересовал. Нет, нет, Томочка, — Людмила Михайловна так разволновалась, будто ей самой сделали предложение, — я не видела, но уже представляю себе этого решительного лейтенанта. У меня был когда-то такой же неистовый поклонник. Конечно, он не уедет от тебя просто так.

Приходили и уходили метранпажи, вычитывались и правились полосы, а в перерывах между правкой неугомонная Людмила Михайловна бегала в редакционную библиотеку то за энциклопедическим словарем, то за картой, пока не уточнила, что представляет из себя Перемышль, куда лейтенант зовет Тамару. Сквозь сумятицу мыслей до Тамары доносились восторженные восклицания: «Да это же чудесный древний город — в нем больше десяти монастырей! В окрестностях — старинные усадьбы, замки. Ты будешь жить как в сказке!»

В полночь, когда последняя, четвертая, полоса была вычитана и в корректорской наступило затишье, Тамара попросила у ответственного дежурного разрешения позвонить в Таганрог, в гостиницу судоремонтного завода. «Скажите, у вас живет инженер Саркисов? — спросила она вахтера. — Пригласите его к телефону». — «А что сказать?» — Она замялась: «Скажите — невеста».

Трубка дрожала в ее похолодевшей, влажной руке. В трубке слабо попискивало, где-то далеко, чуть слышно играло радио. Тамара села, у нее подкашивались ноги. «Скорее, Сереженька, — молила она. — Скажи мне только два слова...» — «Вы слушаете, — раздался хриплый голос. — Не отпер он дверь, выругался. Нет, говорит, у меня никакой невесты».

Тамара положила трубку. Посидела с минуту, за-

крыв глаза. Вошел дежурный со свежим оттиском, заинтересовался:

— Ну, как там у тебя, в порядке?

— Да,— сказала она.— Спасибо.

И удивилась своему спокойному голосу. Неужели в жизни все так просто? Или она еще вообще не знает, что такое жизнь?

II

Свадьба была скромная — только родственники и мать Леры. Подруг Тамара не пригласила, зная, что они ее не поймут.

После свадьбы всей компанией пошли на вокзал. Шли в темноте, стараясь не шуметь. Переулок еще спал, лишь кое-где сквозь щели в ставнях пробивался робкий огонек. Аким и мать Леры, Нина Петровна, рослая, красивая, были навеселе, шли позади всех и пытались иногда нарушить тишину. «Степь, да степь кругом»... Но на них тут же шикали — первая Тамара, за ней остальные: «Люди еще спят». — «А пусть не спят,— возмущалась Нина Петровна,— пусть смотрят, какого орла наша Тамарка отхватила!»

На вокзале, прощаясь, Екатерина Авраамовна и Тамара заплакали. «Живите хорошо, дружно... Бог даст, весной приеду, перед посадками!» — «Не бог даст,— подхватила Нина Петровна,— а зятки наши пропуск для нас у начальства выхлопочут. Вместе поедем. Смотри, орел! — грозила она Петру своей увесистой рукой.— Не обижай Томку».

Наконец поезд тронулся, в последний раз мелькнули родные лица, слились в желтую полосу фонари, потом полоса оборвалась. Прощай, Ростов!

Тамара села, глядя в темное окно с отражающейся в нем лампочкой. Лампочка мерно подрагивала. «Поехали, поехали», — стучало под полом.

Петр сел рядом, тихо положил руку на плечо жены. — Может быть, ляжешь, поспишь немного?

Тамара кивнула. Петр сбегал к проводнику, принес постель, быстро и ловко разложил на полке. Тамара легла, не раздеваясь, закрыла полотенцем лицо. Петр подоткнул в ногах жены одеяло и вышел в коридор.

«Поехали, поехали!» — стучали колеса. За окном

светлело. Мирно курилась розовыми дымками станица, искрились голубовато-серыми боками башни элеватора, по узкой протоптанной в снегу дорожке гуськом бежали ребятишки в школу, приветливо махали руками.

На маленькой станции долго стояли и тронулись снова, когда мимо промчался новенький пустой поезд. Петр успел разглядеть лишь красные кресты и окна с матовыми стеклами. «Санитарный,— догадался он.— То же на запад». В душе екнуло, натянулась невидимая струна. «Не журишь, лейтенант,— он успокоил себя,— все будет хорошо!»

В Киеве к ним в купе вошли новые попутчики — высокая, худенькая женщина с двумя детьми,— мальчиком и девочкой. Дети шалили, показывали стоящей за окном старушке какие-то знаки. Тамара уловила взгляд Петра: он с нежностью наблюдал за детьми. «Вот и моя участь!» — Тамара почему-то вспомнила корректорскую, редакционную суету. «Неужели все это уже в прошлом?» — спросила она себя. Где-то там, далеко, ее родные — мать, отец, сестра Оленька, ее товарищи и подруги. А здесь только Петр. Тамара с любопытством разглядывала мужа. Она привыкнет к нему, к его широким скулам, к этой складке на лбу. Теперь он стал самым близким для нее человеком. А еще неделю назад они были чужими. Как странно...

Во Львов приехали ночью. Город тонул во мгле, освещена была только привокзальная площадь. Огромное серое здание вокзала с куполом, уходящим в черное небо, и каменные фигуры у входа, подсвеченные прожекторами,— вот все, что сохранилось в памяти. Петр куда-то ходил, потом вернулся вместе с бойцом в замасленной куртке, как оказалось, шофером, присланным из погранотряда, потом погрузились в автобус, где уже сидело несколько военных. В автобусе ее укачало, она положила голову Петру на плечо и заснула. А проснулась, почувствовав, что кто-то ее поднимает и несет.

— Сюда, сюда! — крикнул сверху знакомый голос.— У вас же нетоплено.

«Лера!» — Тамара радостно встрепенулась и тут же застыдилась. Петр нес ее по лестнице на руках.

— Пусти... пусти меня.

— Нет уж, моя золотая, разреши донести тебя до места.

Он поднялся на верхнюю площадку, попросил Леру открыть дверь в свою квартиру и, войдя в нее, опустил Тамару в глубокое кресло.

— Вот мы и дома.

Зажег свет, счастливый, засмеялся, сняв фуражку.

— А теперь поцелуйтесь!

Подруги обнялись.

— Он даже не дал телеграммы, твой маг-волшебник,— с притворным возмущением говорила Лера.— Хорошо, что я проснулась и услышала, как вы подъехали.

Федя тоже целовал Тамару. Петр сбегал в квартиру напротив и привел заспанных Патарыкина и его жену Марию.

— Все знакомьтесь с моей Тамарочкой! — приговаривал он, смеясь и потирая ладони.— Видите, ездил за ней не напрасно!

Расторопный Патарыкин принес дрова, растопил камин. Лера и Мария накрыли стол. Федя торжественно вручил Петру бутылку шампанского.

— От нас с Лерой. Она еще в день твоего отъезда купила, сказала: приедут, будет чем встретить молодых. А я, признаться, сомневался...

Патарыкин, как старший, налил бокалы.

— Значит, с прибытием... С прибытием и пополнением...— начальник заставы посмотрел на Тамару.— Теперь ты будешь жить в нашей пограничной семье. А наша семья, знаешь, какая?!

Да, семья была дружная — Белецкие, Патарыкины, еще одни соседи, Скрылевы, жившие на втором этаже. Все они были на «ты»: Лера, Мария, Аня. Теперь к ним прибавилась Тамара. Подруги учили ее, как готовить вкусные блюда, как чистить мебель, чтобы она блестела. И Тамара готовила, и чистила, и мыла, и стирала — делала все, что ей советовали бывалые жены и чего она не делала дома, при маме.

Однажды — это было перед самым Новым годом — она целый день провозилась, убирая квартиру. За работой не заметила, как прошел день. Поздно вечером хватилась: уже десятый час, а Петра нет. Побежала к Белецким — Феде тоже не было дома. Лера успокоила: «Это у пограничников часто бывает. Привыкай». Приг-

ласила пить чай, но Тамара отказалась, ушла к себе, прилегла на диване и заснула.

Проснулась от легких прикосновений: кто-то целовал ее в щеку.

Она открыла глаза. Муж склонился над ней, в полной форме с оружием.

Тамара прижалась щекой к его холодной шинели, потянулась, чтобы снять фуражку.

— Не надо. Я забежал на минутку.

Она успела заметить под надвинутой фуражкой белую полоску бинта. Испуганно вскочила, бросилась к нему.

— Петя, что это?!

— Так... Кошка оцарапала.

Он засмеялся, отвел ее руку, усадил рядом с собой на диван.

— Не волнуйся, милая. Ты же знаешь: пока мы вместе, со мной ничего не случится.— Он достал платок, вытер слезинки, блеснувшие в ее глазах. Но вот посмотрел на часы, поднялся.

— Мне пора.

Тамара молча уткнулась в подушку. Она поняла: кричи, не кричи, он уйдет. Уйдет, потому что должен идти. Так будет всегда.

И еще она поняла, что любит его.

С этого дня все пошло по-другому. Она уже не рассматривала, какой у него нос, какие уши. Он был ее на всю жизнь. И если раньше, за свадебным столом, это были слова, то теперь они как бы растворились в ней, стали частицей ее самой — женщины, жены, боевой подруги.

Началась весна, и Петр стал уходить чуть свет, а возвращаться затемно. Но она уже не могла на него сердиться. После того случая, когда он пришел с забинтованной головой, Тамара ни разу не упрекнула мужа за опоздание, но и не спала, ждала его прихода. Чтобы отвлечься, брала в руки книгу, однако тревожные мысли не оставляли ее. «Лишь бы он вернулся живым!» — молила Тамара. В эти часы ожиданий она слышала каждый шорох в подъезде, каждый скрип двери.

Иногда она вскакивала, подходила к окну и смотрела туда, где за темной грядой черепичных крыш вставало бледно-желтое марево. Это горели фонари на набе-

режной. Вторая, еще более далекая гирлянда фонарей, тянулась как бы повторяя первую: то было уже на чужом, немецком берегу. Между гирляндами был черный провал — река Сан, по которой проходила граница. В одном месте, почти напротив дома, берега соединяла светящаяся прямая — железнодорожный мост. Каждый час, с точностью до минуты, на той стороне, у моста, появлялись два ярких оранжевых глаза. Раздавался резкий, протяжный гудок — это шел немецкий поезд с грузом. Он проходил, а вскоре слышался гудок паровоза и шум поезда, идущего с нашей стороны, тоже с грузом.

«Как же так,— думала Тамара.— Ходят поезда, везут товары. Ездят дипломаты, жмут руки, улыбаются. А в то же время через границу пробираются шпионы и диверсанты, чтобы убивать, взрывать, воровать государственные тайны. И почему мир так устроен? Но придет же время, когда не будет границ».

Как-то она поделилась с Петром этой мыслью.

— Вот было бы здорово. Только куда же я денусь,— пошутил муж,— ведь пограничников тогда тоже не будет?

— Пойдешь вместе со мной в газету, тем же корректором.

— Нет, лучше ловить живых шпионов, чем бумажных блох.

Тамара понимала, сколь ответственна и опасна порой служба у мужа. Но вот одного она не могла себе представить, как ее ласковый, впечатлительный, немного смешной Петя командует бойцами и ловит нарушителей границы. Тамара видела, что к нему с уважением относятся и Патарыкин, и Скрылев, и даже начальники повыше, гордилась тем, что не было такого праздника, чтобы его не награждали Почетными грамотами — то за меткую стрельбу, то за успехи в физподготовке, то за хорошую выучку собак, и все-таки не верила: неужели он может быть таким же строгим и требовательным «железным командиром», каких показывали в кино и на плакатах?

Он улыбался, когда она спрашивала об этом. Ну, как ей объяснить, что быть строгим и казаться строгим — понятия, в сущности, разные. Конечно, командир — воспитатель, он должен уметь потребовать, если надо — наказать, даже тогда, когда ему жаль провинившегося.

Сразу же после училища, в начале своей командирской службы, он напустил было на себя суровость, но ненадолго: что-то мешало ему, будто на душе надет панцырь. Заметил, что бойцы хотя и слушаются его, но приказы выполняют без энтузиазма, с какой-то тайной усмешкой. «В чем дело? — думал он. — Ведь есть же командиры еще строже, чем я, а бойцы относятся к ним с уважением?» Как-то, дежуря в штабе комендатуры, он решился поведать о своих сомнениях старшему политруку Тарасенкову. Они сидели вдвоем поздно вечером, можно было говорить начистоту. «У вас такое случилось?» — полюбопытствовал лейтенант. «Случалось, — признался Тарасенков и усмехнулся. — Еще принц Гамлет мучился, как себя вести, нам же сам бог велел». — «И к какому выводу вы пришли?» — «К простому! Надо быть самим собой».

Вот уже несколько лет он жил по этой нехитрой заповеди, никому не подражая и не завидуя. Были командиры лучше или удачливее его, некоторые из них, начинавшие службу вместе с ним, уже командовали заставами. Но он не считал себя обиженным. Заместитель начальника заставы — эта должность была ему по плечу, на большее он пока не претендовал. «Надо еще подрасти!» — отвечал он Патарыкину, когда тот намекал, что может походатайствовать перед начальством о его выдвижении. Однако в душе Патарыкин не хотел бы расстаться с таким помощником.

Нечаев любил свою работу. Когда он вел за собой строй, то сразу угадывалась особая, чистая музыка шага — трах-тах, трах-тах! — ни одной фальшивой ноты, ни одного отставания даже на полсекунды. И отмашка была особая — четкая и в то же время лихая, за которой — и это опять-таки знал каждый военный — стояла упорная выучка бойцов и характер их командира.

Правофланговый запевал, бравая песня летела над сонной рекой. «Врагу мы скажем: нашей Родины не тронь...»

Ребята шли — так шли, что звенела земля.

А конная подготовка! И здесь Нечаев не любил «мелкой езды», как называл он езду во дворе по кругу или гарцевание по узким кривым улочкам. Это все показуха, цирк. Нет, он выезжал с бойцами за город, на простор полевых дорог и там давал развернуться душе. «Впере-

ди враг! — командовал он.— Догнать и уничтожить!» Лавина с места трогалась рысью, затем переходила на аллюр, кони мчались с развевающимися гривами: посмотришь сверху — огонь бежит по траве. Ближе к «противнику» — шашки наголо! Дьяволы, лешие — кто еще там может сидеть на этих конях! За поворотом — заготовленный заранее лозняк. «Руби!» Сверкают клинки — треск, треск, только летит на землю скошенная лоза...

Игра? Да, игра! Но смотрели на скачущих пограничников местные жители, почтительно уступали дорогу, качали головами: экие черти, попадись таким «якась вражина» — мокрого места не останется! В глазах — задор, в руке — сила. И старики вспоминали, как гнали когда-то панов красные конники: тот же дух, та же лихость!

А потом лейтенант и его бойцы сидели где-нибудь в овражке и сообща разбирали операцию. Нечаев требовал, чтобы каждый говорил, что думает и как думает, а не ждал, пока выскажется старший по званию. «Умеешь рубить — умеешь мыслить!» — говорил он. Понимал, что приучить мыслить нелегко, но полагался на время. Главное — разбудить желание, привить вкус, а там — пойдет.

Теперь бойцы любили его, хотя он давно забыл думать о своем авторитете. А если над ним смеялись, то не так, как прежде, не затаенно. И сам он смеялся, если попадал впросак. Прыгнет на соревнованиях с шестом, собьет планку — расстроится, потом поймет, что спорол глупость, запросив непосильную высоту, скажет об этом вслух и посмеется над своими потугами. Так всегда и во всем. «Святая простота?» Может быть. Но был в этой простоте и хитроватый крестьянский расчет: живи на миру и с миром — не проиграешь! Конечно, он знал, что его любят, уважают. А как это называется: авторитет, или взаимопонимание, или, если уж на то пошло, дружба — что задумываться! Лишь бы служба шла хорошо.

Новый, сорок первый год встретили весело, в дружной компании. Правда, Патарыкину несколько раз звонили с заставы, докладывали о задержанных нарушителях границы. Но Лера накануне предупредила Тамару, что надо привыкать, и Тамара «привыкала», но не за-

бывала исподтишка поглядывать на еще незажившую рану на голове мужа.

Когда под утро Нечаевы вернулись к себе, Петр сказал:

— Этот год будет самым прекрасным в нашей жизни. Или...

Он не договорил: взял новый календарь, повесил на стену, оторвал первый листок.

— Положи под подушку и загадай что-нибудь. А потом расскажем друг другу, что нам снилось.

В начале весны — это было перед восьмым марта — Екатерина Авраамовна получила из Перемышля письмо: молодые поздравляли с праздником, звали в гости и жизнью своей, как она поняла, были довольны, и нечего вроде бы ей беспокоиться.

Но отчего-то легла тревога на материнское сердце, щемит, не дает покоя. Как она, Тамара, там, в незнакомом городе, так уж ли ладно живет ей, как пишут. «Соскучилась по дочке, вот и вся причина твоих страхов», — успокаивал муж, Виктор Васильевич. «Нет, надо самой съездить, посмотреть, удостовериться», — рассудила она. А тут и вызов пришел кстати.

Встретили ее, как полагается, с букетом живых цветов, с машиной на вокзальной площади. «Мамочка! — сокрушалась, разглядывая ее Тамара. — Ты какая-то бледная, печальная. Тебя что-то беспокоит?» Мать же приглядывалась к дочери, к зятю, до поры помалкивала, а про себя отметила: кажется, между ними мир да любовь. Екатерина Авраамовна удивлялась их отношениям — милуются, никакой серьезности. Она не узнавала дочь: раньше Тамара была сдержанной, стеснялась показывать свои чувства. А теперь прыгает, смеется, будто девчонка. Словно бес в нее вселился! Ну, а о зяте и говорить нечего, тот как на крыльях летает. Дома бывает редко, но зато уж если придет, то готов на голове ходить. И обязательно подарки приносит.

Екатерина Авраамовна была и довольна и недовольна. Как-то не выдержала, сказала:

— Сорите деньгами, о завтрашнем дне не думаете?

Тамара беспечно махнула рукой. А Петр пропел:

«Живем мы весело сегодня.

А завтра будет веселей!»

Вот и поговори с такими. Теща только вздыхала: они

с отцом начинали свою семейную жизнь по-другому. Но вспомнив молодость, Екатерина Авраамовна невольно призналась себе, что хвалиться-то ей, собственно, нечем. Что она видела тогда, после гражданской? Голод, разруху, беспризорников. И заботы, заботы — чем накормить мужа, чем прикрыть наготу. Достаток пришел потом, после, когда самые лучшие годы остались позади. Ее жизнь ограничилась стенами дома, своим двором на тихом Доломановском.

Но она недаром жила ради детей! Теперь может быть спокойна: ее Тамара счастлива, так счастлива, как никто не ожидал. Она и Петр живут душа в душу, дай бог всем так жить. Ну, а насчет непрактичности, легкомыслия — пусть пока попрыгают. Жизнь еще длинная — остепенятся!

Понравился Екатерине Авраамовне и город. Чистый, на тротуарах спать можно. Дома старинные, с резными дверями, с железными решетками, крепкие, время словно не коснулось их. На балконах ящики для цветов, глухие стены увиты плющом. Правда, много церквей и почти во всех служба идет — это как-то непривычно, ощущение такое, будто смотришь фильм из прежней жизни. Повстречаются на улице двое мужчин, еще молодых, приподнимут шляпы и скажут: «Слава Христу!» Чудно! И здесь же бегут в школу ребятишки в пионерских галстуках, маршируют с песнями красноармейцы, красуются на доске Почета стахановцы-ударники.

Край страны! «Хотите, мама, посмотреть, где кончается Советский Союз?» — спросил как-то зять. Дал ей и Тамаре пропуск на набережную Сана. Было воскресенье, над городом плыл колокольный звон, заглушаемый репродукторами. По радио передавали музыку, и чем ближе к границе — тем громче звучала она. «Броня крепка и танки наши быстры!» — гремело над рекой. Екатерина Авраамовна с любопытством разглядывала противоположный берег. Дома, как дома. Люди, как люди. Прогуливаются по набережной, цветочницы с большими корзинами продают подснежники, изредка с веселым цоканьем проедет извозчик в кожаной безрукавке и шляпе с перышком. «А где же граница?» — спросила мать у Тамары. Та показала на узкую белую полосу посередине моста. На самой реке никаких знаков — ни колышков, ни флажков.

Нет, граница ей представлялась другой, таинственной и неприступной, закованной в камень или железо. То, что она увидела, разочаровало ее, но и успокоило. Раз там так тихо и мирно, не видно ни пушек, ни танков, значит, пока нечего и волноваться.

А уехать пришлось все же с тяжелым сердцем. За день до отъезда Екатерина Авраамовна с дочерью пошли в кино. В фойе, перед сеансом, к ним подошла невысокая миловидная женщина лет тридцати, жена начальника штаба комендатуры Бакаева. Поговорили о том, о сем, а когда входили в зал, то Бакаева взяла ее под руку и тихо сказала: «Дочь заберите с собой в Ростов, мой вам совет. Понимаете?» Мать испуганно кивнула и весь сеанс думала над тем, что могли бы означать эти слова.

Петр вернулся домой, как обычно, поздно, в десятом часу. Сбросил с себя форму, умылся, напевая, облачился в легкий спортивный костюм, сел ужинать.

— Петя,— тихо спросила теща, когда Тамара ушла в другую комнату.— Скажи, как по-твоему, скоро будет война?

Он вздрогнул. Екатерина Авраамовна смотрела на него и видела, как сразу изменилось его лицо. Ей стало страшно: в его сурово сжатых губах и побелевших от напряжения скулах она прочла невысказанный ответ.

А через месяц — это было в середине мая — он вдруг сказал Тамаре сам, что лучше бы ей уехать. «В Миллерово едет тетя Клава, из соседнего дома, поезжай с ней до Ростова. Погостишь у своих. А там и я подъеду». Он говорил спокойно, даже весело, но в глаза не смотрел.

«Глупый, я же все понимаю!» — хотелось сказать ей. Обстановка на границе накалялась, редкая ночь проходила спокойно, без тревоги или стычки с нарушителями, и кто знает, что еще может произойти. Но Тамара старалась об этом не думать.

Двадцатого июня, в пятницу, он дежурил. Утром в субботу пришел уставший, с покрасневшими веками, зато впереди у него и Тамары было два свободных дня. Целых два дня! Петр прилег на диван не раздеваясь. «Еще разосплюсь,— сказал он.— Жалко терять время». В полдень вскочил, побрился и предложил пройтись на Замоквую гору, погулять по парку. Намекнул, что сегодня из города он отлучаться не может. Но Тамара была даже рада. В последние дни с ней творилось непонятное:

она стала уставать от шума и суеты, отяжелела, что ли. «Неужели старею? — думала она.—Нет, наверное, это другое».

В парке было тихо, прохладно. Только на главной аллее электрики и пиротехники развешивали гирлянды разноцветных лампочек, оборудовали «огненное колесо». Готовились к праздничному вечеру, как говорилось в афише у входа, хотя по какому случаю должен быть праздник — никто не знал.

В самом конце парка находился полуразвалившийся старинный замок. Тамара еще не была здесь. Ей захотелось посмотреть башню, о которой она много слышала. Об этой башне ходили разные легенды. Даже сейчас облупившаяся, вся в трещинах и лишаях, она выглядела внушительно, возвышаясь над остальными зданиями, как грозный, но уже немощный вождь над жалкими остатками своего племени, знавшего когда-то лучшие времена.

Петр отворил скрипучую дверь и повел Тамару по витой каменной лестнице. Тамара с трепетом смотрела на вытоптаные ступени. Сколько людей прошло по ним — графы, князья, красавицы, воины, узники. У каждого из них была своя жизнь, своя судьба — счастливая или печальная. Пахло сыростью, прелыми листьями, где-то чуть слышно капала вода.

Наверху в глаза ударило солнце. У башни не было крыши. Потоки света врывались в узкие бойницы, перекрещивались, круглая комната дымилась золотисто-белой пылью.

Тамара суеверно шарила взглядом по земляному полу, по стенам, боясь увидеть череп или кости. Но все давно истлело, превратилось в пыль. На полу у стен мирно зеленели кустики травы, в бойницах чернели птичьи гнезда.

«Улыбнись, Маша, ласково взгляни...» — донеслось снизу, из парка, где включили радиолу.

Знакомая песенка вернула Тамару к действительности. Она посмотрела на мужа. Петр стоял у окна и, прищурившись, хмуро всматривался в даль.

Тамара подошла к нему, положила руку на его плечо.

— Ты чем-то недоволен?

— Я? — Да ты что, Тamarочка! Слышишь: «Жизнь прекрасна наша, солнечные дни!» и показал вниз, на

аллеи парка, уже заполненные народом.— Весело мы живем.

Они стояли, обнявшись, и разглядывали противоположный берег.

Солнце, уже повисшее над Винной горой — самым высоким из холмов на той стороне,— окрасило в розовый цвет реку и прилегающие к ней улицы, пустынные, будто вымершие. Зоркий глаз Петра фиксировал каждую подозрительную деталь. Нет, не варенье варят в садах: это дымят тщательно замаскированные полевые кухни. Улицы недаром пустынно: гражданского населения в городе поубавилось, а немецким солдатам дана команда зря не болтаться, не обнаруживать места сосредоточения. И офицерские жены, которые весной разгуливали по набережной, давно уехали: приказ об их эвакуации из «опасной зоны» стал известен еще месяц назад. А недавно поступили новые тревожные сведения...

Тамара залюбовалась закатом.

— Какой чудесный вечер! Правда, Петя?

— Правда, моя звездочка, правда!

— Мы теперь часто будем приходить сюда?

— Конечно, будем.

Она хотела сказать ему о своих радостных предчувствиях, но передумала. Пусть и у нее будут секреты! К тому же об этом еще рано говорить.

Сон вдруг оборвался. Что-то гудело, трещало, разламывалось. Тамара с неохотой открыла глаза.

— Ты уже уходишь?

Петр одевался, как всегда быстро. Рывком затянул ремень, проверил, заряжен ли пистолет. В сумерках его лицо показалось серым, скулы заострились.

— Подожди, ты же ничего не ел.

— Я еще вернусь,— крикнул он с порога.

Тамара посмотрела на часы. «Так рано? Еще четырех нет...» Она замерла: за окном послышался резкий свистящий звук. Свист перешел в шелест, и тут же оглушительно грохнуло, распахнулась балконная дверь, жалобно задрезжали, посыпались стекла.

Тамара испуганно присела. Вдруг вспомнились слова лектора, проводившего недавно в клубе занятия для командирских жен: «При взрыве нужно ложиться на землю». Она легла, уткнувшись носом в пол и прислу-

шиваясь к зловещему свисту и клекоту. Взрывы грохотали справа, слева, вокруг. Потом сразу все стихло. Только где-то в стороне границы, слышались винтовочные выстрелы.

— Что они там, сбесились, что ли? — раздался возмущенный голос Леры.— Это же прямое нарушение договора. Смотри, пожар!

Тамара поднялась, вместе с Лерой выбежала на балкон. Справа, в стороне вокзала, за домами бушевало пламя, в небе клубился густой, черный дым. Ветер донес запах нефти.

— Цистерны горят,— догадалась Тамара.

— Так это же им везли! — Лера в нетерпении даже приподнялась на носки.— Ничего не понимаю.

Из подъезда, застегивая на ходу гимнастерку, выскочил Патарькин, побежал к заставе.

Выстрелы у моста не умолкали. Иногда в их нестройное пощелкивание машинной строчкой врывалась пулеметная очередь. Тамара, напрягая зрение, пыталась рассмотреть, что творится на берегу. Лера сбегала к себе, принесла театральный бинокль. «На набережной спокойно, никого нет. Будка, как стояла, так и стоит». Берег Сана был пустынным, даже часовые у моста и те куда-то скрылись. А выстрелы продолжались. Было непонятно, кто стреляет и откуда...

Пришла еще одна соседка, с первого этажа — жена ветеринарного фельдшера, растрепанная, в халате, в шлепанцах на босу ногу. «Мой только что прибежал,— сообщила она,— сказал, что Москва Берлину по телефону уже предъявила ноту. Гитлер извинился, обещал наказать виновных. Сейчас все кончится».

Женщины успокоились, пошли на кухню готовить мужьям завтрак. Теперь их почему-то не волновали ни рокот пролетающих в небе самолетов, ни шальной вой пожарных машин. Лера сказала, что год назад здесь было похлеще, когда взорвался артиллерийский склад, снаряды рвались чуть ли не целый день.

Они уже шутили, смеялись. Но на сердце у Тамары было беспокойно. «Скорее бы вернулся Петр!» — думала она.

Он прибежал возбужденный, взъерошенный, но веселый. На носу у него блестели капли пота.

— Я на минутку,— предупредил он. Посмотрел на

яичницу с ветчиной, с досадой прищелкнул языком.— Подлецы, поесть не дадут!

Достал из ящика стола гранаты, сунул в карман. Попросил помочь ему снять со шкафа диски для автомата. Она сняла, уложила в коробку, вышла с ним на лестничную площадку.

— Вот, я понимаю, жена пограничника! — сказал он и уткнулся ей в плечо. Постоял так молча, держа в одной руке диски, другой ошупью, как во сне, гладил ее по волосам.

— Петр Семенович! — закричали снизу.— Скорее!

Он спустился на вторую площадку, посмотрел вверх и, сняв фуражку, помахал. У нее защемило сердце.

— Я буду ждать! — крикнула она.

— Жди! — донеслось до нее снизу.

Тамара побежала на балкон, чтобы еще раз посмотреть на него, но за углом соседнего дома раздался новый взрыв. В воздух полетела черепица — снарядом разворотило крышу, улицу заволокло облако красной пыли. Внизу слышались стоны и плач. Тонким голосом кто-то истошно кричал:

— Мамочка, вставай, фашисты идут!

Облако растаяло, и она увидела их.

Гитлеровцы шли по середине моста, плотной серозеленой массой. В бинокль можно было различить, что они шли с интервалами, пригнувшись и втянув головы в плечи. Тускло поблескивало железо — каски, автоматы, бляхи на поясах. Все вокруг будто замерло, затаило дыхание, наблюдая за этой массой, которая выдавливалась с того берега, как паста из тюбика, и, медленно заполняя горловину моста, приближалась к белой черте.

Грянул винтовочный залп. Немцы остановились, потом с криками ринулись вперед. Теперь Тамара увидела и наших. Небольшая группа бойцов в зеленых фуражках, сверкая на солнце штыками, двинулась навстречу немцам. Они сошлись, завязалась схватка.

Победно горлая, немцы продвигались вперед. В их серой массе постепенно, одна за другой, тонули фуражки пограничников. Падали и немцы. Но задние давили на передних, и те бежали по телам упавших, не щадя ни чужих, ни своих.

И вдруг откуда-то слева застрочил пулемет. Его бодрый, отчаянный голос сразу выделился из окружающего

воя и свиста. Немцы, уже выбежавшие на наш берег — их было не больше десятка, — бросились врассыпную. А те, что были на мосту, повернули обратно. Пулеметные очереди неудержимо гнали их назад, укладывали на доски, сбрасывали в воду. Серо-зеленая масса быстро таяла, втягивалась обратно с моста на тот берег. А пулемет все строчил.

Тамара услышала как грянуло «Ура!». И ей тоже захотелось закричать от радости и броситься туда, где бьются наши, где, может быть, сейчас и ее Петя.

Но почему она не видела его?

Сверкнул огонь, горячая волна ударила в грудь. Чьи-то руки подхватили ее обмякшее, беспомощное тело и понесли. «Зачем же меня уносят? — мелькнула последняя мысль. — Ведь я обещала его ждать...»

III

Обстановка в квартире, чистенькой, с белыми стенами, очень скромная — недаром, едва переступив порог, я вспоминаю почему-то больничную палату. Говорят, что первое впечатление самое сильное, и от него, как от печки, надо начинать. А начинать трудно.

Да, трудно: я должен рассказать о двух женщинах, судьба которых переломилась тогда, в то страшное утро.

— Разве мы жили бы так, как живем сейчас, — говорит, заметив мой взгляд, Тамара Викторовна.

— А что? — бодро отвечаю я. — Живете вы в новом доме, в центре Ростова, в хорошей светлой комнате.

— Да я не об этом говорю. Комната хорошая, ну, обстановка еще пока бедноватая — это не беда, дело наживное. Хуже — здоровье слабое — и у меня, и у Леночки. А главное, — Тамара Викторовна показывает глазами на портрет на стене, — его нет с нами. Вот уже двадцать восьмой год пошел. Подумать только: двадцать восьмой! А мы жили с ним всего шесть месяцев. Гора, а под ней маленькая песчинка счастья. И какого счастья...

Ее голос начинает дрожать.

— Мама! — тихо говорит Лена.

— Да, доченька, ты права, — соглашается мать. — Прошлого не вернешь.

Они молчат. Мать берет с полки пузырек, капает в

рюмку какое-то лекарство. Дочь раскладывает на столе большую пачку писем, щурясь, определяет по почерку, чье письмо.

Я смотрю на нее. Эта привычка щурить глаза — от отца. И тот же пристальный взгляд темных серьезных глаз, те же пухлые губы.

— Прочтите вот это письмо. Оно было первым, — Лена уголком глаза незаметно ловит мать. — Первым... на интересующую вас тему.

Беру письмо — оно от Патарыкиных, из Киева. Достая сложенный вчетверо листок клетчатой, из школьной тетради бумаги, разворачиваю, читаю: «Милая, дорогая, бесценная наша Тamarочка! Разрешите нам вас так называть по старой привычке, несмотря на прошедшие годы. Все у нас в памяти: как мы жили в доме по ул. Бандурской, дом 7, и как Петр Семенович привез вас в Перемышль, и как...»

Дальше пропускаю почти две страницы и, наконец, нахожу то, за чем, в сущности, приехал: «...а когда я прибежал на заставу, Петр уже был там: вооружал бойцов, раздавал запасные боекомплекты патронов и гранат. Мне он сразу сказал: «Это война!» Да и я сам был такого мнения, потому мы, не отвечая на вопросы окружающих товарищей, особенно гражданских, по существу действий со стороны немцев, стали готовиться к отражению их атак на всем протяжении госграницы (имею в виду наш участок, поскольку за других говорить не могу)... Наши предположения вскоре полностью подтвердились. С постов наблюдения поступили донесения, что немцы готовят к переправе ряд десантных групп — в районе Замковой горы, куда хотят переправиться на лодках, в районе водокачки — бродом, и в центре — прямой атакой на железнодорожный мост, с целью захвата основной коммуникации. Но, усиленные накануне, еще с вечера, посты смогли оказать отпор, правда, ненадолго. Вражеские атаки в районе моста повторялись, причем с каждым разом их солдат становилось все больше...

Примерно около 7.00 мне доложили, что к штурму моста готовится новая группа немцев количеством доста человек, среди них замечено несколько военных в черной форме, возможно, из войск СС или каких других, приданных для храбрости. У нас же на том участке оста-

валось не более двадцати человек, включая писаря и оружейного мастера. Силы, понятно, неравные. Я позвонил в комендатуру, попросил помощи из резерва. Начальник штаба старший лейтенант Бакаев сказал, что дадут при первой возможности, а пока надо рассчитывать на свои силы, любой ценой не допустить немцев.

Положение складывалось тяжелое. В храбрости и патриотизме наших бойцов мы не сомневались, но просто погибнуть — мало. Надо было решить почти невыполнимую задачу. Я посмотрел на Петра Семеновича, спрашивая его совета. Он сказал: «Все ясно. Пойду сам. Я их учил драться по-суворовски: брать не числом, а умением. Вот теперь попробую показать, как это делается». Сказал вроде в шутку, я даже, помню, улыбнулся: «Суворов Чертов мост брал, а мы наш «чертов мост» должны удержать».

Вместе с Петром Семеновичем послал бойца Мазаева, наказал беречь лейтенанта, не отходить от него ни на шаг. А сам остался с командиром отделения Қалякиным и еще двумя-тремя бойцами для управления и связи с группами, с одной стороны, и со штабом комендатуры — с другой.

Мы тоже видели, как немцы пошли в атаку. Видели и Петра Семеновича — его высокая фигура выделялась из всех. Наши бойцы вели огонь в основном из щелей, открытых за будкой слева от моста. Петр Семенович перебегал от бойца к бойцу, давал каждому задание, чтобы не стреляли все скопом, а действовали с умом.

Потом я его, признаться, упустил из вида, сосредоточив все внимание на немцах. Смотрю, они прут и прут, скоро будут на нашем берегу. Даже зубами закрипел от злости, думаю, подкинули бы мне сейчас хотя бы взвод, повел бы я его в штыки и остановил бы гадов.

Вдруг я снова увидел Петра, уже с пулеметом. Он выкатил его на открытую позицию и начал расстреливать немцев в упор. Их атака тут же захлебнулась: передние попятились, смяли задних, образовалась «пробка». А он их косит и косит...

Мы, все, кто видел это, закричали «Ура!». И там, у моста, хлопцы будто бы нас услышали — тоже «Ура!» кричат. Выскочили из щелей, лупят немцев, те бегут, некоторые от страха в воду прыгают.

Да, было у нас минут десять радости! А потом пришло горе. Немцы дали залп, наверное, сразу из всех стволов, что сосредоточили в районе моста. Набережную всю дымом заволокло, как простынями занавесили. По берегу из минометов лупят (мост берегут), в глубину — из пушек крупных калибров.

Грохот был страшный, тем не менее я ухо наострил, в перерывах между залпами слышал еще два наш пулемет. Потом он замолчал. А потом, не помню кто, пробегая мимо, крикнул, что лейтенанта убило...»

Лена молча подвигает ко мне еще одно письмо. Оно — из-под Москвы, от Василия Васильевича Мазаева. Это уже ей.

«Уважаемая Елена Петровна!

Вы просите меня рассказать о последних минутах жизни вашего отца, всеми нами любимого командира, тов. Нечаева П. С. Просьбу вашу выполняю, хотя говорить об этом тяжело.

Когда начальник заставы тов. Патарыкин А. Н. приказал мне идти с тов. Нечаевым, я пошел с радостью, чтобы не дать ему в опасности быть одному. По дороге тов. Нечаев зашел к себе на квартиру взять запасные диски для автомата. В то самое время я увидел, что немцы начали наступление, сказал об этом лейтенанту, и мы побежали проходным двором к спуску и вступили в бой.

Про этот бой вам написал тов. Патарыкин, я повторяться не буду. Лишь про последние минуты скажу. Каждый из нас понимал, что тов. Нечаев, ваш папа, идет на верную смерть, выходя из укрытия. Он не послушался предупреждения, приказал мне молчать, а я, как рядовой боец, по уставу обязан был выполнять приказание. Но, если сказать честно, то не было другого выхода, мы это тоже понимали. Кто-то должен был решиться первым. Не сделал бы он — другой решился бы, может, и я. Только он сделал это раньше всех, потому что был наш командир и имел такой быстрый характер.

Позицию выбрал правильно, теперь ничего не мешало. Немцы сначала не ожидали — очень их этот маневр ошарашил. Паника, конечно, была сильная, положил он их, а, сказать точнее, намолотил на мосту, как снопов на току. И «мутер» кричали, и руки поднимали, и офицер в черном сам в своих стрелял.

Только война есть война: засекали точку и накрыли товарища лейтенанта минометным огнем. Вижу, он от пулемета отвалился, лежит на боку, рукой знак делает — себе замену зовет. Я подполз и не знаю: его спастись или за пулемет ложиться? Лег. А пулемет не работает: ствольную коробку вместе с прицелом повредило... Хотел оттащить лейтенанта в будку — он и это не решил. Скомандовал: «Иди, немцев бей! О себе сам позабочусь». Все же я уложил его за бугорок, побежал к мосту.

Бились мы с фашистами до последних сил, однако врага не удержали. Просочился, как грязь сквозь сито. Трое или четверо гитлеровцев бросились к лейтенанту — добить его, а может, в плен взять. Я взял переднего на мушку, только выстрелить не успел. Бросил лейтенант гранату — взорвал и себя, и подбежавших к нему гитлеровцев... одним словом погиб. И немцев прикончил».

Это все — о том, что было тогда. На следующий день, двадцать третьего июня, когда наши пограничники, уже вместе с пехотинцами, артиллеристами и ополченцами, вышибли немцев из города, в центре, на площади Рынок, похоронили убитых. Но через неделю Перемышль был оккупирован фашистами, которые не пощадили не только живых, но и мертвых. Местные жители рассказывали, что по приказу немецкого коменданта останки наших воинов были извлечены из земли и увезены куда-то.

— Не могла даже цветы положить на могилу, — говорит Тамара Викторовна, которая недавно была в Перемышле. — Положила их на то место на берегу, где его убило.

На фотографии я вижу это место — серый бугристый берег с редкими пучками травы, серую реку. Прозаический пейзаж, даже не верится, что когда-то здесь был совершен подвиг, о котором и сейчас, много лет спустя, пишут в газетах и книгах, сочиняют песни.

Я вижу слезы в глазах людей, стоящих на этом, ныне мирном, берегу, людей, переживших все четыре года войны, десятки, а может быть, сотни боев.

Нет, они ничего не забыли — это видно по лицам ветеранов, приехавших сюда издалека — с Волги, из-под Ленинграда, с Каспия, приехавших, несмотря на возраст

и болезни, ради первой и, кто знает, возможно, последней встречи в городе, где для них началась война.

И это не причуды человеческой памяти, а извечный закон сердца, не забывается все «первое» — первый бой, первый подвиг...

И первая любовь! Тамара Викторовна рассказывает мне о ней так, словно все это было вчера: его приезд, смешное ухаживание, скоропалительная свадьба. «Ворвался, как вихрь!» А потом к ней пришло настоящее чувство — она хранит его до сих пор, постаревшая, но еще красивая, женственная, не огрубевшая от ударов судьбы.

Живет она вдвоем с Леной, родившейся в начале сорок второго, через восемь месяцев после гибели отца. Здоровье у Лены слабое — сказался, видимо, Перемышль, пережитое матерью горе, эвакуация под огнем, невзгоды войны. Ей дорога память об отце, которого она знает по рассказам, дорога переписка с многочисленными друзьями — боевыми товарищами отца и теперешними пограничниками, с писателями и журналистами, с режиссером телевидения, готовящим передачу о лейтенанте Нечаеве, с сибирскими пионерами, оборудующими у себя в школе уголок боевой славы, и поляками, гражданами Перемышля, ныне польского Пшемысля, установившими на свои средства памятник на месте гибели Петра и его боевых поварищей.

Прощаясь с Тамарой Викторовной и Леной, замечаю висящую на вешалке в передней зеленую фуражку пограничника. «Это нам подарили на встрече ветеранов во Львове», — говорит Лена. Тамара Викторовна смотрит на фуражку, щурится, подходит ближе, снимает невидимую пылинку.

Я закрываю дверь.

Спускаюсь по лестнице.

Выхожу на освещенный огнями проспект.

Много молодежи — веселой, оживленной.

Падает первый снег. Призывно горят неоновые рекламы. В их свете снежинки кружатся, как искры праздничного салюта.

Жизнь идет.

* * *

Помню, это было в конце юбилейного, 1967 года, когда я вернулся из Ростова в Пензу, где тогда жил. И сра-

зу же засел за повесть, пока еще «горячим» был материал, да и признаться хотелось как-то, пусть словом, помочь этим двум женщинам. Может быть, потому писалось легко.

Впервые повесть «Любовь и смерть лейтенанта Нечаева» была напечатана в газете «Пензенская правда». Дело прошлое: кое-кто из газетчиков выражал сомнение, стоит ли давать обстоятельный рассказ о людях, которые, в сущности, не имеют никакого отношения к пензенской земле. Но редактор газеты сказал, что земля у всех нас общая, советская, к тому же приближается красная дата — двадцатипятилетие Победы...

Вскоре после публикации в редакцию стали приходиться читательские отклики. Их оказалось неожиданно много — всего, вероятно, больше сотни. Писали самые разные люди — ветераны войны и школьники, офицеры и солдаты, ученые и домашние хозяйки. В основном, это были женщины, которым особенно понравился главный герой повести — веселый, открытый, душевный парень, одновременно и ласковый, и мужественный. «Он так заботился о своей молодой жене, так ее любил... Но в первом же бою погиб, грудью заслонив Родину. Нас до слез тронула его судьба», — говорилось в коллективном письме персонала одного из отделений областной больницы. Некоторые читатели сетовали на автора за то, что он «поспешил» разлучить их с героем, забыв, видимо, что повесть документальная и от автора, к сожалению, не зависели ни жизнь, ни смерть ее персонажей.

Были письма с просьбой сообщить точный адрес семьи Нечаевых с тем, чтобы оказать ей посильную материальную помощь. Пожалуй, больше всего меня взволновали эти простые, трогательные строчки. Я был горд за моих земляков — людей доброй, отзывчивой души.

А через некоторое время я получил письмо от Тамары Викторовны Нечаевой. Она писала, что у нее завязалась дружеская переписка с одной семьей из села Елизаветино Мокшанского района Пензенской области, и теперь, к лету, ее и дочь Елену всем селом приглашают в гости — отдохнуть на природе, поправить здоровье. «Нам и хочется, и боимся: ведь дорога нелегкая...»

В середине августа, когда жара спала, но было еще тепло, мать и дочь Нечаевы сошли на пензенском перроне. В это же утро на машине, любезно предоставлен-

ной для них облисполкомом, они приехали в село. Там их ожидала встреча, которую трудно описать в словах. Это надо было видеть! Все жители села, от мала до велика, почти все жители окрестных сел, входящих в зону местного совхоза «Елизаветинский», во главе с директором, парторгом и председателем рабочкома ждали приезда дорогих гостей. Хлебом-солью, щедро накрытыми столами встретили двух скромных женщин из далекого Ростова. Братались навечно люди, познавшие цену жизни и смерти, пережившие войну и потерявшие родных и близких. И слезы горя и радости смешались в этот час...

Еще год спустя, опять же благодаря этой публикации, отыскались в другом конце России — в прибалтийском Калининграде братья лейтенанта Нечаева — Павел и Константин. С тех пор мы переписываемся. А недавно повидались в Москве. Павел Семенович приехал ко мне в Переделкино, и я был несказанно рад увидеть перед собой плотного, загорелого — он ехал с курорта — человека «нечаевских кровей», того самого любимого брата Павлика, с которым в детстве у Петра была одна пара сапог на двоих. Павел Семенович рассказал, что он и его братья с юных лет посвятили себя армейской службе, все воевали, только судьба у всех оказалась разная. У Павла и Константина на фотографии вся грудь в боевых наградах. А вот Петр не успел получить ни одной...

Нет, у него есть лучшая из наград — добрая память любовь народа!

ДВОЕ ИЗ ДОТА

Факты! Они как атомы. Или как горные камешки. Смотришь, оторвался один такой, за ним другие. И сдвинулась гора.

Вот ведь какая загадка: когда же все-таки закончилась в этом районе оборона? Считалось, что когда ушел с границы последний солдат, прозвучал последний выстрел.

О Перемышле рассказывали разное. По документам значилось, что героический гарнизон, согласно приказу высшего командования снялся с позиций в ночь на двадцать седьмое июня. Но многие подразделения сражались еще и двадцать седьмого, и двадцать восьмого июня. Одни прикрывали отход основной группы, другие находились на отдаленных участках, и приказ до них попросту не дошел... А поляки в Пшемысле говорили мне, что своими ушами слышали артиллерийскую и пулеметную стрельбу на берегу Сана еще на день позже — до ночи двадцать девятого. Только тридцатого июня — по их свидетельству — раздался последний оглушительный взрыв, а спустя некоторое время — автоматная очередь. И уже затем все стихло.

Наверно, нет более увлекательного занятия, чем разгадка тайны. Кто летит за ней в немыслимые дали, к звездам, кто пробирается сквозь льды на нартах с собачьей упряжкой. Ну а кто роется в архивах, вглядывается с лупой в каждую буквочку, в каждую уже давно стертую временем цифру на документе — и все лишь для того, чтобы раздобыть в конце концов ничтожную толику истины.

«Стрельба!» А что за стрельба, кто ее вел? Может быть, кто-то из наших остался в городе вопреки приказу? Ведь были же, наверно, такие, кто не мог уйти по каким-то обстоятельствам: ну раненые, например? Или отдельные группы бойцов.

Пока мы не знаем их имен. И вряд ли уже когда-нибудь узнаем. Свидетелей остается все меньше...

Однако ниточка протянулась. Нашлись люди в том

же польском Пшеммысле, дополнившие рассказ своих земляков новыми подробностями. Стрельба велась якобы из недостроенных дотов. Здесь, в городе, их было несколько, но тридцатого — да, да, именно в понедельник, это все хорошо помнят! — стрелял только один дот. Вот этот, под Замковой горой. Нанес он германцам урон немалый: смел на набережной чуть ли не целый взвод, вместе с мотоциклетами, разнес в щепки два или три обоза на подходе к Засанью. И взять его немцы ничем не могли. Тогда ихнее командование отправило на наш берег особую штурмовую группу. Как удалось ей подобраться к доту, — никто не знает. Только грохнул, выбив все окна вокруг, страшный взрыв. И дот рухнул.

«А была еще автоматная очередь?» Да, была. Но тут мнения разошлись. Одни утверждали, что всех, кого гитлеровцы нашли в развалинах еще живыми, они тут же на месте расстреляли. Другие приводят в опровержение рассказ какого-то старика, которого уже нет в живых. Старик этот жил на склоне Замковой горы и видел из окна своего домика, как немцы вытащили из развалин пять или шесть трупов.

Здесь иссякал ручеек факта, и начиналась Легенда. Мучимый сомнениями, я продолжал искать, если уж не имена героев, то хотя бы кого-то из участников обороны, кто знал бы номер части или подразделения, к которой они принадлежали. Может быть, таким образом все же удастся добраться до истины?

Кто-то мне посоветовал заглянуть в картотеку ветеранов войны. С неделю я копался в карточках, вчитываясь в графу: «Участие в боевых действиях». Уже темнело в глазах, отчаянно ныла спина, хотелось все бросить... И вдруг читаю: «Воевал в Перемышле с 22 июня по 3 июля». Причем не одна карточка, а две подряд. Двое. Двое из бывшего Перемышльского укрепленного района, один лейтенант, другой рядовой.

Выписываю их адреса. А потом спохватываюсь. Почему в карточке стоит «по 3 июля», когда мы установили, что последний выстрел в этом районе прозвучал тридцатого июня? Значит, эти двое воевали там еще три дня?

Это оказалось правдой.

...Они всегда были разными. К тому же их разделя-

ло служебное положение: один — Иван — был лейтенантом, командиром дота, другой, Василий — рядовым. Один был непререкаемым авторитетом по всем вопросам — от военного дела до кино или игры в шахматы, он окончил десятилетку и военное училище, другой в свое время едва дотянул восемь классов и на том успокоился. Один отвечал за всех этих восемнадцать бойцов первого года службы, только еще осваивавших свои боевые посты. И за них, и за всю эту секретную и могучую чудотехнику, за все хозяйство дота, который обошелся государству в немалую копеечку. А второй... Второй, если за что и отвечал, то был-то это всего «дегтярь», правда новенький, с иголки, как и все в доте. Еще точнее — за половину «дегтяря», поскольку пулеметчиков было по штату положено двое. Но второй, обещанный, еще не прибыл, и Василий управлялся пока за двоих — чистил, собирал и разбираал пулемет, словом, как положено, держал в боевой готовности. Замечаний по этой части ему еще никто не делал.

Но в этот день Василию влетело. Перед вечером лейтенант решил проверить заправку постелей, и он нашел у троих в том числе у Василия плохо заправленную койку, за что и дал по наряду вне очереди. И другим тоже досталось — за грязь в тумбочке, за нечищенные сапоги. Потом объявил, что в связи с антисанитарным состоянием помещения все временно лишаются права на увольнение за пределы зоны. На вопрос, как долго продлится такая кара, лейтенант ответил уклончиво. Мол, все будет зависеть от вас.

А сам ушел. Долго возился в своем «салоне» (бойцы смеялись тайком: курятником вернее бы назвать эту комнатуху-выгородочку), все франтился перед зеркалом. Вышел весь надушенный, в парадной форме, даже со шпорами, но еще мрачный. Подошел к телефону, постоял над ним, побарабанил пальцами по крышке, потом вдруг махнул рукой. «Будут спрашивать, — наказал помкомвзводу, — скажи, пошел в штаб»

Василий не обиделся на него, как другие. Зачем ему увольнительная, когда ни здесь, в местечке, ни в самом Перемышле у него нет знакомых, и все его мысли по-прежнему далеко отсюда, в родном Подмоскovie. Там, среди россыпи домиков и домишек, дымит его суконная фабрика. Дышат машины, мягко постукивая ходят вал-

ки. Рядом с фабрикой — клуб, бывший хозяйский дом, с лепными потолками, с паркетом из мореного дуба. В этом клубе ему знакома каждая комната — в одной он занимался в струнном кружке, в другой — это когда стал постарше — играл в шашки и шахматы, уже перед армией стал ходить в третью — записался в литкружок. К стихам чудака потянуло. Хоть и грамотой слабоват, а потянуло. Дружки-корешки — свои же, фабричные, чужим он не позволил бы — потешались: ну впрямь чудит парень, ни танцев ему, ни кафе-ресторана не надо, одни стихи в голове. Даже в ревность ударились: «Кто тебе дороже — мы или этот поэт, москвич патлатый, ваш руководитель?» Что им на это ответишь? Да ничего. Только вздохнешь: эх, мол, братцы-кролики, дорогие мои, ни черта вы не понимаете.

И здесь тоже не понимают. Лейтенант раз заметил, что он, Василий, вечером, примостившись у тумбочки, что-то пишет, подошел, не спрося взял листок, прочитал и бросил обратно. Сказал с ухмылкой: «Пушкин, значит. И ручку грызешь совсем как он. Смотри, спрошу за порчу казенного имущества». Ладно хоть другим не рассказал.

Обо всем этом Василий думал, выполняя внеочередной наряд. Перед уходом лейтенант приказал ему пройтись тряпкой по всем помещениям и навести образцовую чистоту. И вот Василий, начав с жилого отсека, ходил, протирал для надежности и без того чистые столы и табуретки, посудный шкаф, у титана задержался, увидев на его никелированном боку свое отражение. Было смешно смотреть: лицо длинное, еще длиннее, чем есть, словно после болезни, и глаза большие, с чистой, как у херувима, голубизной. Его глаза, никуда не денешься. По ним его всегда узнавали — толстел ли, худел ли, менял стрижку, даже если был весь в машинном масле. А с херувимом его еще в детстве сравнивала бабка. Из-за глаз, да из-за тихости...

Потом заглянул в боевые казематы. Но там уже шуrowали артиллеристы: протирали стволы, драили приборы. Пулеметчик невольно позавидовал им. Вот где сила! Темно-зеленые, жирно поблескивающие пушки, были нового образца — с лебедками для подачи снарядов и гильзосборниками, с запасными панорамами, с вращающимися, как в зубном кабинете, креслами для

наводчика. Стволы были вмонтированы в бронированные шары, которые могли вращаться при наводке на цель и одновременно защищали орудийную прислугу от осколков и пуль. Да, здесь, конечно, укрытие надежнее, чем в бронеколпаке,— подумал Василий, стоя с венником в руке,— но уж больно глухо, ни щелочки. Если и увидишь кусочек природы, то лишь через стекло, в стереотрубу. У него же, в бронеколпаке, в прорезь далеко видно — вправо, влево, даже вверх. Хочешь: сядь и любуйся себе. Днем — окрестными холмами, рекой Сан с кустами и песчаными отмелями, журавлями в голубом небе, ночью — луной и звездами.

Он усердно подметал пол, а его мысли снова унеслись далеко отсюда. Почему люди не договорятся, чтобы жить в мире, без войн? Ведь сколько тратится денег на вооружение. Ведь какой рай можно создать на земле, и этой земли всем хватит, если с умом все делать...

Он стукнулся лбом о железобетонную опору и очнулся. Ругнул себя, потирая шишку: нашел время мечтать. И было бы о чем? Нет уж, пока эти фашисты копошатся под боком, будут и диверсии, и провокации, и разговоры о близкой войне. Только пока об этом — о немцах — прямо у нас не говорят, чтобы, наверно, их не злить. И правильно делают.

Из полутемного тамбура он прошел в склад, где хранились боеприпасы, смахнул — для порядка — пыль с ящиков со снарядами и пулеметными дисками и спустился вниз, в машинное отделение.

Здесь в самом большом отсеке, где на двери углем было написано «Вход посторонним лицам воспрещен!», размещалась силовая, питающая дот электроэнергией. Ведал этим хозяйством машинист из вольнонаемных, живший в местечке неподалеку, худой, узкоплечий мужчина, с вислыми черными с проседью усами, молчаливый и необщительный. Он не любил, когда кто-нибудь заходил к нему без нужды, даже сам командир дота. Но к Василию относился лучше, чем к другим, доверяя ему иногда покопаться в машине.

Сегодня машинист выглядел почему-то мрачнее, чем обычно. Когда Василий, предварительно постучав в дверь, вошел, вернее, протиснулся в силовую, машинист стоял хмурый, насупленный и задумчиво оглаживал рукой новенький двигатель. «Добре, что зашел,— сказал

он Василию и, помолчав, добавил: — Хворый я, зараз к доктору иду. А ты тут...— машинист сделал неопределенный жест, как бы обвел круг,— доглядай без меня».

В иную минуту Василий порадовался бы оказанному доверию. Но сейчас он прежде всего пожалел этого человека, впервые увидев его таким мрачным и растерянным. «Идите, конечно, идите,— заговорил он кивая.— А я послежу... Не беспокойтесь!»

Машинист стал переодеваться, а Василий вышел, прикрыв дверь. Второй большой отсек в этом подземном этаже занимала установка для очистки воздуха. Пока она еще не работала. На полу были разбросаны какие-то трубы, флянцы, узлы, над которыми обычно возились приезжавшие из Перемышля монтажники. Но сегодня они почему-то не приехали, может быть потому, что их послали на какой-нибудь другой объект. Так уже бывало не раз. Василий не одобрял эту тянучку, поскольку сам привык любую начатую работу доводить до конца. А тут и дела-то было с гулькин нос: если хорошо взяться, то день, ну два — и шабаш.

Вообще недоделок еще много: только наполовину прорыт ход сообщения, не проложен подземный бронированный кабель для связи с соседними дотами и штабом, не было своего артезианского колодца. Но дот все же заселили. Верхняя, боевая, часть была готова, и пока лето, «точку номер семь», как она именовалась в приказе, надо было обживать. А к осени строители подтянут другие коммуникации. Короче, взводу сказали: «Вот отныне ваш дом!» Приказ есть приказ, его не обсуждают.

Василий снова поднялся в жилой отсек, убрал веник и тряпку, умылся. Все уже поужинали и сидели за столом в ожидании отбоя. Кто резался в домино, кто бречал на мандолине, кто, мусоля карандаш, писал письмо. Василию есть не хотелось, он выпил только кружку чая со сдобной домашней лепешкой — вчера писарь принес ему посылку с бабушкиными гостинцами — посмотрел на часы. До отбоя оставалось пятнадцать минут. А дверь лейтенантского «салона» все была закрыта. «Где же он,— с беспокойством подумал Василий о командире,— такого с ним еще не бывало.— Его даже удивило равнодушие других.— Уж не случилось ли чего?»

Да, случилось. Еще днем лейтенант получил из штаба шифровку, где под строгим секретом предписывалось привести боевые посты в готовность номер один. Предупреждалось, что в случае разглашения тайны виновные будут переданы суду военного трибунала.

Иван не был трусом. И к подобным шифровкам он уже привык. Знал, что время тревожное, что вот-вот разразится война, но не боялся ее. Иногда ему даже хотелось вступить в бой, испытать себя, свои силы. Его кумирами были герои гражданской войны, те, что в восемнадцать лет командовали полками и дивизиями. Вот — судьба! Только в бою выявляется, кто есть кто. Но в себе он уверен. Недаром когда-то пошел в военное училище.

Лейтенант лично проследил за выполнением боевого распоряжения. Собственно говоря, нечего было и выполнять, поскольку в его доте посты чуть ли не с первого дня находились в полной боеготовности, пришлось лишь добавить к имеющимся в рубках припасам еще по одному боекомплекту.

И все же настроение у него испортилось. А еще эта Галка, со своими фокусами. Неделию назад, когда познакомились на танцах, вся так и светилась — и улыбалась, и сама на «дамский» вальс пригласила и, прощаясь, дала себя поцеловать, правда, в щечку. Но вчера, когда снова встретились уже в парке, стала что-то финтить. Села на скамейку в самом людном месте и ни-ни, не то что поцеловать, даже за руку взять не позволила. Тут, мол, народ ходит, и все такое. В дальний угол, в заросли, тоже не пошла, сказала, что боится. «Чего?» — спросил он. Не ответила, только бровью повела. Тьфу, на другую бы плюнул и забыл. Но эта... Нет, в этой было что-то такое, отчего у него замирало в груди. Уж больно хороша. Королева. Волосы как золотая корона. Синие глаза, белая кожа. Словно ее молоком облили.

Бойцы не зря подметили, что он мрачный. Помкомвзвода — ему разрешалось больше, чем другим, — выразил заботу: «Не заболели ли, товарищ лейтенант?» — «Да, заболел! — хотелось ответить. — Но эту болезнь я вышибу из себя, как пустую застрявшую гильзу!» Дав своим подчиненным «разгон», он со строгостью в лице, но, в сущности, бесцельно, послонялся по отсекам, где уже всюю шла работа, и скрылся у себя в «салоне».

Вдруг он вспомнил, что надо бы, наверно, доложить в штаб о выполнении распоряжения. Но как: тоже шифровкой или же открытым текстом? Зашифровать несколько слов было, конечно, пустячным делом, с этим он справился бы за пять минут. Однако докладывать или нет, что он лишил всех своих бойцов увольнительных? Тут загвоздка, еще влетит от политотдела, скажут, что перегнул. Открытым текстом можно, конечно, все объяснить, но на шифровку принято отвечать тоже шифровкой.

Он думал об этом, а сам одевался: сменил гимнастерку, надел новые ботинки, натянул узкие, в обтяжку, сапоги с высокими каблуками (сам заказывал у сапожника, чтобы прибавить росту), пристегнул шпору. Надушился хорошим одеколоном, вылив на себя чуть не полсклянки. Поправил перед зеркалом фуражку и вышел.

Нет, шифровать текст ему почему-то не хотелось. «Доложу в открытую!» Он стоял в рубке связи, продолжая раздумывать. И тут его осенила новая мысль: а что если пойти и доложить лично? Предлог он придумает. И разрядится немного. Слишком уж муторно, невмоготу было для него сидеть сейчас в доте. И он, махнув рукой, вышел.

В штабе застал одного дежурного, тоже лейтенанта, своего сокурсника по училищу. «А где начальство?» — «Чай гоняет, наверно. Служба-то ведь кончена. Тебя что принесло?» — «Хотел доложить о принятых мерах». — «Так можно было и по телефону». Иван слегка покраснел и что-то пробормотал насчет неполадок со связью. Но дежурный, не входя в подробности, записал в книгу, что на точке номер семь все в порядке, затем рассказал пару свежих анекдотов, и бывшие однокашники, выкурив по папироске, распрощались. «Ты сейчас куда — к себе?» — спросил уже на крыльце дежурный. «Да нет еще... — Иван кивнул в сторону поселка. — Нужен мне тут один... товарищ». — «Завтра в Перемышле бал-маскарад, поедем?» — «Поедем... если доживем!»

Продолжая улыбаться, Иван сбежал под горку, прошел через мостик и, сойдя с большака, стал снова подниматься по дорожке, которая вела к домикам, живописно расположившимся на поросшем цветущим шиповником взгорье. Там, в другом конце улицы, жила Галя.

Иван шел к ней. Шел весело, как всегда, когда решение было им принято. Колебания он отбросил в сторону.

Пройдя улицу, он поднялся на высокое резное крыльцо, где вчера расстался с этой гордячкой, как думал — навсегда, и, найдя дверь запертой, решительно дернул бронзовую цепочку звонка. За дверью было тихо. «Неужели нет дома?» Он дернул еще сильнее и углом глаза заметил, что тяжелая штора в окне приоткрылась. Затем слышались легкие шаги. «Она!»

Странная штука жизнь! Иван ожидал чего угодно, только не того, что случилось. Галя, эта гордая галицийская «панночка», еще вчера игравшая в неприступность, сейчас выглядела какой-то растерянной, смущенной. Извинившись за свой вид, — она была в старенькой кофточке, в простой домотканой юбке — девушка взяла своего нежданного гостя за руку и повела его кружным путем, через калитку, в сад. Они прошли, согнувшись, под яблонями, усыпанными уже большими, начавшими краснеть плодами, между густых и цепких кустов шиповника к самому обрыву. Отсюда открывался вид на Сан, на замаскированные под холмики и островки кустарники доты и дзоты, на видневшийся вдаль мост с полосатыми пограничными будками.

Галя усадила его на врытую в землю скамеечку и, не спрашивая ни о чем, стала снова извиняться за свой домашний костюм, за то, что не может провести гостя в дом. «У нас уборка... Мы вас не ждали», — говорила она с виноватым видом. Иван понимал и не понимал. Да в этом домашнем платье она еще прекраснее! Ее золотые волосы раскинулись на плечах, на открытой молочно-белой шее нежно дрожит голубая жилка, а губы, не тронутые помадой, свежее и лучше розовых лепестков...

Он пьянел от присутствия этой девушки, от душного, приторного запаха шиповника и акации, от налитых дневным зноем сумерек, окутавших землю. Уже совсем стемнело, и золотой серпик месяца поднялся высоко, а они все сидели и целовались. Галя уже не ломалась, как прежде, но когда он сказал, что сейчас пойдет к родителям просить ее руки, девушка остановила его, пообещав вначале сама подготовить их к этому разговору.

Конечно, если бы Иван не был так упоен своей победой, он заметил бы, что в его поцелуях гораздо больше страсти, чем в ее. Она, скорее, просто разрешала цело-

вать себя, задумчиво глядя в темное, усеянное звездами небо. «Скажи,— вдруг спросила она,— где Полярная звезда?» Иван показал, объяснив девушке, что, согласно поверию, на нее когда-то молились все путешественники.

Девушка погладила его жесткий, густой чуб. «Иди! — прошептала она.— Уже поздно...» И будто услышав ее слова, кто-то крикнул: «Галю! До дома!»

Затрещали кусты, к молодым людям вышел плотный мужчина в темных штанах, заправленных в сапоги, и белой вышитой рубашке. Это был отец девушки. «Командир, значит?» — дружелюбно спросил он Ивана. Подмигнул и кивнул в сторону реки: «Оттуда?» Иван промолчал, роясь в карманах. Вытащил смятую пачку, смущенно спрятал обратно. «Тютюну нема?» — все в том же тоне спросил хозяин. И, дав гостю еще минуту полюбозничать с дочерью, принес из дома мешочек с ароматным самосадам. Иван с удовольствием затащился, поблагодарив, протянул мешочек хозяину. «Бери! — милостиво сказал тот.— Ще сгодится». И ласково, но решительно подтолкнул гостя в плечо: «А зараз иди, лейтенант, геть!»

Крепок предутренний сон. Особенно если ты лег поздно, после счастливого объяснения с любимой девушкой. Сегодня или, точнее, уже вчера, Иван одержал победу, которая теперь может повернуть всю его жизнь. Галя будет его женой. Он добьется этого, как добился ее поцелуев. И осенью в отпуск поедет с ней в свой далекий волжский городок, родную тьму-таракань. Вот уж, увидев его с этой златокудрой красавицей-галичанкой, дорогие земляки разинут рты!

Конечно, говоря откровенно, он вчера рискнул, отлучившись из расположения на добрых два часа. Но и здесь ему повезло: из штаба никто не звонил, проверяющих не было, словом, вечер прошел спокойно.

Сегодня он отоспится и на утреннем построении объявит об отмене запрета на увольнительные. Пусть ребята тоже погуляют. И за уборку их надо бы поблагодарить — ишь постарались, навели лоск...

С этими мыслями он заснул, чтобы проснуться, как положено по распорядку, в шесть ноль-ноль. Обычно, томимый командирскими заботами, он приказывал ночному дневальному будить его на час или на два раньше, но теперь сделал себе поблажку. Ему хотелось поспать.

Спал он, однако, недолго. Сначала его сморило быстро, и он поплыл в теплых и темных водах, погружаясь все глубже и глубже... И мир со своими страстями исчез. Забылись приказы, распоряжения, благодарности, даже любимая девушка. Только остался нежный и сладкий запах, им была словно пропитана поглотившая его темнота.

Но вдруг из этой приятной и теплой темноты стали проступать какие-то неясные лики. Какой-то горбоносый старик с белой бородой... Женщина в черном, похожая на цыганку... Огромный пес с оскаленной пастью.. И Иван проснулся.

«Чертовщина какая-то!» — подумал он и посмотрел на часы. Половина четвертого, можно еще поспать. Иван повернулся на другой бок. Но сон уже не шел. В груди что-то непривычно ныло. И опять перед глазами или в мыслях возникли неясные, уносящие покой лики.

Нет, в привидения он не верил. Все — от реального, от жизни. И он вспомнил, где видел этих мрачных стариков в черном. Вчера, когда он шел от Гали, в темноте проскрипело несколько возов, наверно, кто-то куда-то переезжал. В свете фонаря проплыла высокая фура, нагруженная вещами, и рядом с ней шли двое — старик и старуха, те самые...

Иван засмеялся: вот тебе и разгадка. Он встал и полуодетый, в бриджах и тапочках на босу ногу, вышел через малый западный лаз на свежий воздух.

Было уже светло, но месяц еще не истаял. С реки тянуло прохладным ветерком, запахом водорослей. Где-то далеко за мостом, вероятно в плавнях, громко квакали лягушки. «Раскричались, пучеглазые», — отметил про себя Иван, закуривая. Запах табака напомнил ему вчерашний вечер, и он повернулся, посмотрел на домики поселка на взгорье. Кажется, этот — ее... Но почему-то сейчас о девушке думать не хотелось. В груди невидимым камнем перекатывалось что-то тяжелое. «Почему они квакают? — мысль его вернулась к лягушкам. — Ведь еще рано».

Иван в сердцах швырнул окурок. Далась же ему! Ну квакают и квакают... И вдруг насторожился. Раз они стали квакать раньше обычного, значит их кто-то потревожил. Его ухо сразу как бы увеличилось в размерах. «Так, так... — отмечал он про себя, — не прячутся ли в

плавнях какие-нибудь диверсанты?» И решил немедленно позвонить пограничникам: пусть проверят. Но тут его остановили новые, уже совсем близкие звуки — шум мотора и собачий лай. Они неслись из-за невысокого плоского холма на той стороне. «Вот тебе и пес...» — мелькнуло без всякой связи.

Хотел засмеяться и не смог. Вернее, не успел. На вершину холма, прямо напротив дота, выползло что-то черное. Танк! «Не выстрелит,— пробовал успокоить себя лейтенант.— Ведь у нас с ними договор...» Полыхнул огонь, раздался свист, затем клекот... Иван упал.

Снаряд пролетел над поляной и разорвался за домиками на взгорье, видимо, где-то неподалеку от штаба.

«Ну, гады!» Иван поднялся, мокрый от росы. В доте уже кричали: «Тревога!» Командир дота пружинисто бросил свое тело в еще зияющее отверстие лаза, нажал ходовую кнопку. Упала защитная решетка, бронированная дверь закрылась, и тут же орудие в западной рубке начало разворачиваться, нащупывать точку прицела.

И вот уже шел пятый день...

За четыре дня, как за четыре года, все и родилось, и утряслось. Теперь не было ни подъема, ни отбоя. Ни приема пищи в положенные часы. Ни учебы в привычном смысле — со строевой и физической подготовкой, с политзанятиями.

Василий уже второй день возился с фильтровальной установкой, пытаясь пустить ее в ход. В первые два дня войны приходилось и отбиваться от фрицев, и вести по приказу штаба огонь по закрытым целям. Были моменты, когда стволы раскалялись, а в боевой рубке ребята дурели от жары и пороховых газов. Командир приставил к огневикам писаря и повара с ведрами, чтобы те отливали угоревших холодной водой. Какой-то умник вспомнил о противогазах, и все тут же напялили на себя маски, да только не помогли они. Не для этих газов предназначали их изобретатели, для других, которых пока еще никто не пускал... В первые дни никто из артиллеристов и пулеметчиков не мог уйти со своего поста даже на час.

И, как на грех, оказалось среди бойцов лишь два слесаря-механика — он, Василий, да еще наводчик с первого орудия. Их снять — все одно, что кошелек переложить из целого кармана в дырявый. «Нет уж,— решил коман-

дир,— дырки потом постараемся залатать, когда выпадет час...» И вот он выпал. Отвалили немцы, приутихли. Даже не верилось: ведь уже под самыми стенами толклись, орали — в колпаке-то сквозь прорезь все слышно: «Рус, капут! Сдавайс!» Только «капут», видно, им самим вышел, так просто они, наверно, не отошли бы... Ну командир еще день выждал, потом сказал Василию, чтобы тот занялся недоделанной установкой.

Вот он и занимается. Вчера, когда впервые попытался разобраться в этой штуковине, у него поначалу даже руки опустились. Не видал он раньше таких машин и близко. Работал у себя на фабрике в фетровом цехе, где стояли чесальные и катальные станки, ими он и занимался. А тут... Пожалел, что нет под рукой ни схемки, ни хотя бы книги какой-нибудь, чтоб на мысль натолкнула.

«Кабы знал, где упасть,— соломки бы постелил!» Василий улыбнулся. А с фильтром что-то вроде бы начинает получаться. С мотором разобрался наконец, с трубками — тоже. Теперь остается понять, куда и что подключается. На большом листе с уже ненужным расписанием занятий он разложил все эти трубки и трубочки, соединительные муфты, гайки и болты... «Так, так,— тихо бормотал он себе под нос,— жил такой чудак!»

Он любил, думая, разговаривать сам с собой. Выходило, будто есть в тебе или рядом какой-то другой человек, который всегда тебя поймет и подскажет. А иногда и поругает, но тоже за дело. Ему можно доверить любую тайну: этот не проболтается, не высмеет. И стихи тоже сочиняет... Это брат, двойник, такой же, как и сам Василий,— белобрысый и голубоглазый, только построже и не острижен под машинку, а с волосами, мягко спадающими на лоб.

Василий собрал один блок, другой... Кажется, дело идет. Медленно, но идет. «У того... чудака... говорят, кишка тонка». Это он уже не про себя, а скорее, про приятеля, про того наводчика. Также — механик, фланец к фланцу подобрать не смог. Сказал, что специальность свою не любил, все мечтал художником стать. А наводчик хороший, чуть ли не с первого выстрела танк подбил.

В одиночку у Василия дело лучше спорилось. Все детали постепенно становились на свои места, зазоры закрывались. Где не хватало фабричных прокладок, он мастерил самодельные, из тонких суконных штанов, из но-

вых портянок, из того же картонного листа с расписанием. Недосчитался металлической трубки,— заменил трубкой противогаса... «Может быть, чудак... не дурак?»

Закончил монтаж. Включил мотор. Поднес бумажку к вытяжному устройству на стене: бумажка заколебалась. Тянет! Поднялся этажом выше — и там система работала. Прошел по этажам, постоял в боевой рубке, принюхиваясь к еще не выветревшемуся кислотовому запаху дыма. Убедился, как свежее здесь воздух, и только тогда доложил командиру, что его приказание по мере сил выполнено.

Лейтенант, уже подготовивший очередную шифровку в штаб, посмотрел недоверчиво. Что значит «по мере сил»? Сколько раз предупреждал, что докладывать надо точно и ясно, без всяких там вводных?

Он дал бы разгон этому чудаку, этому «Пушкину», лишь по недоразумению попавшему к нему в дот, если бы... если бы четыре с половиной дня войны не изменили бы в нем что-то. И потому лейтенант просто молча нахмурил свои черные брови и, как был с шифровкой в руке, подошел к вытяжному устройству.

Он приложил бумагу к вентиляционной трубе, выразительно глядя то на нее, то на бойца. Василий стоял не шевелясь, по стойке «смирно». И видел, что взгляд лейтенанта смягчает, проясняется, как воздух в каземате.

«Молодец! Объявляю благодарность!» Эти слова, которые Василий услышал от лейтенанта впервые, заставили его еще больше вытянуться. «Стоит столбом!» — усмехнулся, глядя на него, лейтенант. И опять, будь другое время, он выговорил бы бойцу за нарушение устава, который требует от подчиненного не молчать, а отвечать на благодарность по всей форме.

Лейтенант махнул рукой и вернулся к столу. А Василий еще постоял с минуту все в той же позе, раздумывая, куда ему идти, и решил, что, поскольку задание выполнено, можно вернуться к себе, в бронеколпак.

Нет, что ни говори, а здесь, на верхотуре, лучше, чем в подвале. Пусть там опасность меньше. Но подвал есть подвал, он хорош для мокрицы либо крота, но не для человека. Человеку нужен воздух. И хотя бы полоска неба. Здесь даже смерть принять легче, чем там, в глухом и темном каменном мешке.

Василий надел каску и выглянул наружу. Солнце уже

висело над самым холмом, по красновато-зеленой траве стелились длинные тени. Было тихо, как всегда в эти часы еще в то, мирное, время. Так же парила нагретая за день река, плескались на отмели рыбки. Кружились над лугом стрекозы, словно слетаясь на свою вечернюю поверку.

Все было так и совсем не так. Не от заката краснеет трава. И стрекозы выются не над цветами. Цветов уже нет, остались одни будылья, политые кровью. И пшеница на поле выгорела. Бились тут наши с немцами — не за страх. Когда огнем не осиливали, поднимались в штыковую... Все-то он видел и тоже своим помогал. Его «дегтярь» службу нес исправно, он на него не в обиде. Только страшно было все это...

«Было!» А будет ли еще? Или, получив по морде, фашисты не сунутся снова? Вчера писарь ходил в штаб с донесением, пришел веселый, сказал, что, по сводке, граница в этом районе и дальше, до самого Черного моря, полностью восстановлена. Кто-то ему там в штабе под секретом поведал: вроде бы Гитлер Сталину ноту прислал, мира просит. Потому, мол, здесь и затишье.

Человек верит в то, во что ему хочется. Василий это знал, знал, что если во что-то поверить сильно, всей душой, то мечта сбывается, только не сразу и не легко... И сейчас он тоже хотел, но боялся верить в эту весточку о мире. Ум ее приемлет, а душа что-то в сомненье берет.

С кем об этом поговоришь? Перед ним на мгновение возник его умный и строгий брат. «Как ты думаешь, будем мы еще воевать?» Брат молчал. Василий печально вздохнул.

Нет, он не боялся за свою жизнь. Все едино, человек рано или поздно уходит с лица земли. Просто он ненавидел всякое убийство. Но здесь он должен и будет убивать, жестокий и коварный враг сам вторгся на его родную землю.

«Товарищ лейтенант, вас — «Тула!» — крикнул телефонист. Иван, прикорнувший на минуту, вскочил. «Арзамас» слушает!» — с бравой хрипотцой отозвался он. И поправил на себе гимнастерку. Говорил начальник штаба. На их участке по-прежнему все спокойно, лишь на левом фланге враг предпринимает атаки небольшими группами. «Видно, выдохся...» Начальник штаба кинул ядерное словцо, но все же предупредил, что надо дер-

жать ухо востро. «Как у тебя с «поросятами»? «Ветеринара» не требуется? А то подошлем... И «арбузов» хватает? Ну-ну! А сорок пятый совсем в покое не оставляйте, посылайте по «арбузику». Для профилактики!»

Все это было уже знакомо и привычно. Поросятами именовались орудия, ветеринаром — орудийный мастер, арбузами — снаряды. Сорок пятым был квадрат на территории врага, по которому проходила рокадная дорога. За эти дни она была надежно пристреляна, и теперь, по донесениям с НП, немцы уже не решались по ней передвигаться большими колоннами. Лишь иногда в поле зрения наблюдателей появлялась одиночная машина или повозка, накрыть которую с позиции было почти невозможно, тем не менее один-два «арбуза» туда все же летели. Как сказал начштаба — для профилактики.

Разговор взбудрил Ивана, сон как рукой сняло. Начальство довольно действиями командира «сесьмой». Нет, впрямую об этом не было сказано. Но Иван понимал и так. Во-первых, с ним говорил не кто-нибудь, а сам начальник штаба. Посвятил в обстановку, замечаний не сделал. И во-вторых, — и это было, пожалуй, самое главное — приказал представить к награде особо отличившихся.

Иван любил оперативность. «Куй железо, пока горячо!» Кто знает, что будет завтра? Вдруг война кончится, и наградные реляции сложат в архив. Или, наоборот, враг снова пойдет в атаку, и тогда уже ему, Ивану, будет не до писанины.

Он сам нашел бланки наградных листов и ушел к себе в «салон». С минуту подумал: с кого начинать представление? О себе писать не принято. Но разве кто-нибудь видел, как все здесь б ы л о?

И он решил представить к награде всех — всех восемнадцать своих подчиненных. Помкомвзвода, командиров орудий и наводчиков — к ордену, остальных, в том числе писаря и повара, работавших в бою вторыми номерами, — к медалям. В этом у него был свой резон: никого особенно не выделять, подать весь гарнизон как образцовую боевую единицу. Но была и своя логика: если в с е х подчиненных наградят, то уж и командира не обойдут.

Он просидел до позднего вечера, заполняя листы. Форма требовала писать пространно. Но Иван к этому

не привык. Пришлось придумывать, вместо короткого и ясного «подавил вражескую огневую точку» описывать, что это была за точка, какой огневой мощи, с каким сектором обстрела и т. д. Он морщился, но писал.

Запечатав наградные листы в самодельный пакет, он приказал писарю отнести его немедленно в штаб. Ночью идти было безопаснее, чем днем, когда в небе кружила вражеская «рама», а в кустах на том берегу подкарауливали снайперы. На всякий случай вместе с писарем пошел еще один боец с автоматом.

Мысль о возможной награде не просто воодушевила Ивана. Она подняла его на какую-то новую ступень. Еще несколько дней назад, встречая на улице военного с орденом на груди, он ощущал, как по телу пробегал ток, и его рука сама тянулась к виску. Он с детства был равнодушен к орденам, знал их историю, часами рассматривал их на картинках...

Так было. А теперь и ему дадут орден. Должны. В бою он действовал грамотно и решительно. Вывел из строя вражеский танк. Разметал несколько колонн. И здесь, на берегу, четко взаимодействовал с пехотой, уничтожил два или три взвода гитлеровцев.

Но это только начало. Главное, что он понял, заключалось для него не в каких-то первых уничтоженных вражеских танках или машинах, а в том, что именно в бою он обретал для себя тот простор и ту свободу, какие, наверное, обретает птица, поднимаясь в воздух. Нет, он предугадал свою стихию: в бою его страсть накалялась до предела, а рассудок оставался холодным и ясным. Страх пропадал.

Иван вышел из дота, как тогда, в те последние мирные минуты. И так же потянулся за портсигаром, но отдернул руку. Здесь курить нельзя!

Но, как бы в насмешку над всеми приказами о светомаскировке, из-за моста в небо взлетела ракета и, вспыхнув, разлилась нестерпимо ярким зеленым светом. Она горела всего несколько секунд. Но почему-то только сейчас он успел рассмотреть, что дома, где жила Галя, нет. Его как смыло. Не было и других, соседних, домов. Маячили лишь черные трубы.

Ракета отгорела и погасла.

Ивану вдруг стало страшно. «А где же Галя, что с ней?» Все эти дни он держал ее в каком-то уголке своего

сердца. И был спокоен и горд, защищая от врага землю, на которой она жила. Но то, что он сейчас увидел, словно перечеркнуло все его заслуги.

И тут же страх сменился злобой — на себя, на девушку, на ее куркуля-отца, на внезапно исчезнувшего машиниста... Эти штатские обманули его, провели как воробья на мякине! В тот вечер они, конечно, уже знали, что через несколько часов начнется война, и спешили удрать и увезти свое барахло. Он вспомнил тайную возню в доме, повозку с имуществом, старика и старуху. Так вот оно что значило! А он: «Любовь!»

Иван походил взад-вперед, посмотрел в черное небо с высокими звездами и немного успокоился. К чему сейчас ругать себя, когда уже ничего не изменишь! Да и тогда не изменил бы. Он ведь не Стенька Разин, который возил с собой свою персидскую княжну. И девушка, может быть, сама не виновата, может быть, она и в самом деле его любит? Любит, иначе не целовалась бы.

Нет, он не выбросит ее из своего сердца. Он лучше отомстит за нее. Повернувшись к вражескому берегу, Иван погрозил кулаком. «Только подойдите еще!» Теперь никто из этих гадов не уйдет отсюда живым. И пусть его девушка не увидит, как он бьет врагов, но она еще услышит о нем!

Тяжелый снаряд скользнул по броне, и колпак зазвенел как колокол. Василий ошалело покрутил головой. «Дают прикурить!» На этот раз каша заваривалась по-серьезнее. «Ишь, как они ярятся...»

Внизу, в боевых казематах, уже грохотало. Ухали выстрелы, клацали орудийные замки. Артиллеристы, с потными, красными лицами, работали, не слыша друг друга, по одной догадке.

Дот все чаще и чаще сотрясали удары. За каких-нибудь полчаса вражеская артиллерия успела хорошо пристреляться. Чего-чего, а точности у фрицев не отнять. Было несколько прямых попаданий. Но железобетонные двухметровой толщины стены пока выдерживали.

Командир дота шарил перископом, пытаясь обнаружить вражеские огневые позиции. Но немцы хорошо замаскировались. К тому же рассмотреть их мешала густая завеса пыли, поднятой взрывами. Иван начинал нервничать. Приходилось отвечать наугад, тратить снаряды впустую.

Из штаба тоже помочь не могли. На НП с разных концов летели просьбы о корректировке огня. Враг, видимо, готовил решительное наступление и прежде всего хотел подавить или уничтожить доты. «Понятно,— с усмешкой повторил про себя Иван.— Мы для них — как «любимый» моль. Только у них гайка слаба...»

Новый, страшной силы удар встряхнул дот, и все падали. На стене обозначился излом. Командир вскочил с пола первым, метнулся к стереотрубе. Вдали, из зарослей над дорогой, опоясывающей холм, сизой голубиной стайкой уходил в небо дымок.

Командир приник к окулярам. Прошла минута, другая, и в разлинованном крестом круге сверкнул огонь. Сквозь красное облако Иван разглядел контур вражеского орудия. Большая пушка черным зевом уставилась прямо на дот. «Вот такую они свинью подвезли!» И подумал не без гордости: значит, тогда, в первых боях, он им здорово насолил, если они притащили сюда эту машину. Лейтенант знал, что орудия таких калибров находятся в личном распоряжении генералов, может быть даже маршалов, или, как их там, у них, фельдмаршалов. Но эта мысль лишь еще больше воодушевила его. «Что ж, потягаемся и с фельдмаршалами!»

Он сам сделал расчеты, сам проверил прицел. «Стрелять только по моей команде!» — приказал он. Его уже захватил привычный азарт. Теперь Иван не думал ни о чем, кроме этой «сверхпушки». Подавить ее было делом его командирской чести!

Он даже отвел себе срок: десять минут. Десяти минут ему хватит, чтобы сделать из нее отбивную. Главное — ушла неясность. Остальное зависит от него.

Первые посланные им снаряды разорвались метрах в двухстах от цели. Один врезался в мост, перекрывавший ложбину. Вспыхнула спрятанная в кустах бочка с заправкой.

Немцы ответили. С минуту тяжелые удары сотрясали дот. На мгновение погас свет. С потолка посыпалась цементная крошка. Василий, которому страшно было сидеть одному в своем колпаке, приоткрыл входной люк — на миру и смерть красна! — и заметил, что наводчик, весь белый, словно вываленный в муке, что-то показывает лейтенанту. Но тот в запарке уже никого не видел и не слышал.

Он готовился взять эту проклятую пушку в «вилку». Последние два его снаряда разорвались уже почти рядом с ней — один правее, другой — левее зарослей. Иван уточнил прицел. «Все, концы,— сказал он себе и взглянул на часы.— Сейчас я ей врежу!» До назначенного срока осталось еще с полминуты...

Он скомандовал: «Огонь!» и приник к окулярам. Увидел, как расступились заросли, взлетела в воздух земля. Но где же пушка? Иван протер рукавом стекло. «Что за чертовщина?»

Невредимая, она выползла из зарослей на дорогу. Вся в грязных маскировочных пятнах, она и впрямь напоминала свинью. А немцы — муравьев. Иван даже задрожал от страха. Но это был страх не за себя, не за своих подчиненных. Он боялся проиграть дуэль, остаться в дураках!

Конечно, где-то в нем говорил и трезвый расчет. Если немцы переведут пушку на новую, тем более закрытую, позицию, то ему и его доту придется плохо. Нет, эту пушку он должен прикончить сейчас, пока она как на ладони. Сейчас... или никогда!

Он лихорадочно крутил лимб, уточняя координаты ненавистой пушки. Только бы она не дошла до поворота! Иван понимал, что у него остаются считанные минуты. Но удача словно покинула его. Он выпускал снаряд за снарядом, и все мимо.

Немцы пока не отвечали, боясь остановиться. Но вдруг, словно угадав, что в доте что-то разладилось, осмелели. Пушка развернулась, из ее пасти вырвался косматый ком огня и дыма.

Ивана толкнуло в спину, отбросило от приборов. Вылетев в тамбур, он попытался подняться, но не смог. Ноги подкосились, голос пропал. Знаком, как немой, он показал подбежавшему к нему наводчику: становись на мое место! И, весь дрожа от злобы на себя, на немцев, на свое бессилие, отвернулся к стене.

Василий, который со своим пулеметом сидел в колпаке пока без дела, спустился вниз, чтобы помочь ребятам. Лейтенанта они оставили в покое. Не до его переживаний. Ну, контузило слегка, нервишки сдали. Ничего, оклемается.

Все: и Василий, и бойцы — запомнили лучше другую сцену, ту, что последовала за этой через каких-ни-

будь десять, ну самое большое — пятнадцать минут. Наводчик, парень степенный, молчаливый, что-то крикнул, подпрыгнул и захлопал в ладоши. И все вокруг у орудия тоже запрыгали, заорали «Ура!».

Лейтенант, который оправился от контузии, сперва не поверил, поднялся, посмотрел в трубу. Потом обнял наводчика, поцеловал и приказал телефонисту соединить его с «Туллой». Начштаба, оказывается, был уже в курсе дела, ему только что доложили с НП. «Молодец! — похвалил он. — За такое, думаю, одного ордена мало!» Лейтенант закусил губу. Но сказал: «Это не я молодец, молодец мой наводчик. И ему, и расчету полагаются все награды. Но не мне». Так и сказал. И тут же ушел к себе.

Немцы успокоились в этот вечер рано. Всегда в девятнадцать ноль-ноль последний снаряд посылали, как точку ставили, а тут задолго до срока свернули, солнце еще и полпути к вершине холма не дошло. Наверное, расстроились. Или какой другой маневр задумали.

Тихо стало в доте. Василий помнит, что никто в этот вечер ими не командовал. Телефон молчал. Лейтенант заперся у себя в «салоне» — то ли спал, то ли писал наградные листы, в любом случае никто без надобности беспокоить его бы не решился. Писарь, малый аккуратный, привыкший к порядку, ждал, когда лейтенант выйдет, чтобы продиктовать вечернюю сводку в штаб, но так и не дождался. Потом его тоже сморило. И штаб не напомнил о сводке. Если по чести говорить, то никто этого и не заметил. У Василия какая-то беспокойная мыслишка, правда, промелькнула. Но он решил, что там уже про них все известно, нечего зря воду толочь...

Легли без ужина: еда в рот не шла. Выкурили «отвальную» — и в сон.

Трое еще продолжали бодрствовать: помкомвзвода, оставшийся за старшего, пока лейтенант спал, дежурный, или вахтенный, — бойцы называли и так, и этак того, кто на верхотуре охрану нес, и сам Василий, задумавший, пока время есть, заделать хоть как-нибудь, хоть на живую нитку, пролом в стене.

Он чувствовал себя как бы нештатным техникосмотрителем, ответственным за все неполадки в доте. «Конечно, мастер из меня липовый, от бедности, но раз

уж лучше его никто из ребят в этих делах не смыслит,— рассуждал он,— то, значит, с меня спросится».

Внизу, в кладовке у строителей, он нашел несколько бумажных мешков с цементом. Все их он решил пока не тратить: мало ли что еще может случиться, да и не хватит цемента, чтобы заделать всю дыру. Он плотно заложил ее, точнее, забил деревянными чурбаками, связал их проволокой, а с выходов замазал цементным раствором. Пришлось потрудиться, особенно снаружи, где ударил снаряд. Все же к полночи одолел.

Утро в доте началось как обычно. Лейтенант вышел из своего «салона» чисто выбритый, умытый, подтянутый. Прозвучала команда «подъем», и все вскочили, сон будто сдуло.

Умывались, пока немец еще молчал, не в доте, а на вольном воздухе, бегали к ручью. Ребята плескались, шутили, только громко смеяться воздерживались, чтобы немец снаряд не пустил.

И командир ходил уже спокойный, серьезный, ни на кого не кричал. Увидел заделанную дыру, спросил, чья работа. Василий не хотел признаваться, сделал вид, что не слышал вопроса, но кто-то, наверно помкомвзвода, выдал. Командир посмотрел на работу, на мастера, усмехнулся и покачал головой. У Василия упало в груди: понятно, мол, самоделок несчастный... «Не знал я тебя»,— только сказал лейтенант. И что-то в его глазах засветилось.

Тихое это было утро. Нагрели титан, чайку попили, покурили. А немец все молчал.

И у нас молчали. Обычно с утра из штаба звонили и давали задание согласно донесению с НП. Или указанию свыше. Короче, без работы не оставляли. Но сейчас там что-то медлили. Невольно подумывалось: уж не в самом ли деле мир заключили? Только вслух такой мысли никто не высказывал.

Было уже часов девять, солнце жарило всюду, снаружи заплату на доте чуть не добела подсушило. Наконец командир не выдержал и приказал телефонисту вызвать штаб. Но соединения не последовало. Сколько ни старался телефонист, аж взмок, ответа не было.

Командир нахмурился. Поначалу он решил, что порвало провод. Наверно, так и было. Но лейтенант, видимо, не захотел при свете посылать связистов искать

обрыв, или что-то его остановило. Он приказал только двоим — писарю и одному из бойцов, тем, что всегда вместе ходили в штаб, — идти туда немедленно.

Станным показалось Василию и то, что пошел было командир к себе за наградными листами, чтобы писарь передал их в штабе, но тоже передумал и лишь напомнил идти по-возможности скрытно.

Иван хмурился потому, что вовремя не отправил в штаб донесение. Следовательно, не получив вчера вечерней сводки из его дота, штаб должен был хотя бы утром запросить о положении дел и уточнить обстановку. Именно этого запроса он, Иван, ждал и хотел честно повиниться перед «Тулой» за свой грех. Впрочем, может быть, виниться и не пришлось бы, смотря как повернулся бы разговор. Командир дота собирался начать его просьбой о повышении награды наиболее отличившимся бойцам — прежде всего, конечно, наводчику, а также еще четверым, в том числе Василию. Такой разговор должен был бы сразу настроить начальство в его пользу: себе, мол, не просит, других отмечает. И вообще, мол, командир бравый, даже ругать как-то неловко.

После вчерашнего Иван сделал для себя один очень важный вывод: от них, рядовых бойцов, во многом зависит успех боя. Не надо все брать на себя, надо давать им тоже возможность проявить свой ум, свою хватку. Ведь недаром же он сам их учил воевать, еще в мирное время...

Иван усмехнулся. «Мирное время», где оно? Откатилось куда-то, даже не верится, что и было. Нет, не ценили мы его. Вернуть бы сейчас эти бескровные войны «красных» и «синих» на маневрах и полигонах, эти стрельбы в тире и метание гранат на стадионе, эти вечера в ДКА с играми и танцами. Снова в памяти встало красивое лицо Гали, звуки какого-то фокстрота или танго. Но он тут же опомнился и вернул себя к своим обязанностям.

Правильно ли он сделал, что послал в штаб связных? Правильно! Так быстрее и надежнее. Полдня может пройти, пока порванный провод найдут и починят. И лучше пусть этим займутся связисты. «Тула» пошлет. Ведь провод мог порвать не только случайный снаряд, а какой-нибудь вполне сознательный двуногий гад, который в любой момент подсоединит его — если уже не подсо-

единил! — к немецкой линии. И тогда конец всем тайнам.

Но была еще одна, пожалуй, главная причина, почему Иван послал связных. И в ней он не признался бы никому. Его, которого вроде бы уже не испугаешь ни богом, ни чертом, вдруг снова обуял страх. Напугала тишина — долгая, томительная, которую он не мог объяснить ни себе, ни своим бойцам.

Нет, он не верил разговорам о мире. Какой там мир, когда гитлеровцами пролито столько крови! Тут дело в чем-то другом, в какой-то новой хитрости. Или они решили передохнуть после вчерашнего боя? «Что ж,— говорил себе Иван,— такое тоже может случиться. Они ведь шли сюда как на прогулку. А мы их свинцом!»

Но каких бы объяснений Иван ни придумывал, тревога в его груди росла. Он никогда не любил тишины. Тишина — это покой, бездействие. Из нее всегда появляется какая-нибудь козья морда, и начинаются неприятности... «Ладно, не надо быть суеверным!» — сердито поправил он себя. Однако и логика не помогала. Если их полевые войска решили отдохнуть, почему действует авиация? Летают же самолеты! Но тоже как-то странно: не обрабатывают, как все эти дни, наш передний край, а пролетают куда-то дальше, в глубину...

«Где они там, не идут ли обратно?» — обращался он уже несколько раз к наблюдателю. Но связных не было. Да и рано, наверное, было им быть: прошел всего какой-нибудь час, а пешком и в мирное время дорога туда-сюда занимала не меньше часа.

Иван мрачнел, беспокойство в его груди росло. Однако прошло еще два часа, а связные не возвращались. И в поле никто не искал на линии повреждений. Он уже жалел, что не послал своих бойцов чинить провод. Сейчас, наверно, линия работала бы.

«Товарищ командир! — раздался сверху испуганный голос, и по ступенькам не сошел — скатился наблюдатель.— Там... там...»

Иван не дослушал и пулей взлетел вверх. Солдат показывал в прорезь. Командир вырвал у него из рук бинокль, взглянул и замер. То, что он увидел, поразило его. Но он стоял молча, не говоря ни слова. Только концы пальцев, впившиеся в бинокль, мертвенно побелели. И по виску из-под фуражки катился пот.

Он увидел в поселке немцев. В центре, где был штаб, развивался на высоком шесте флаг с фашистской свастикой. По дороге шла колонна танкеток, в них победно торчали черные кожаные фигурки. И там, на гребне, в саду тоже виднелись чужие фигурки, шнырявшие по-хозяйски с корзинами в руках.

«Все, конец! — билось тяжелыми толчками у него в мозгу... — А где же наши, «Тула»? От обиды он скрипнул зубами. «Ушли, бросили!» Теперь ему стало все ясно. Они не могли уйти днем, тогда эти, на танкетках, догнали бы и ударили в спину. Ушли, наверно, ночью, скрытно... «А вдруг еще вернуться?» Впрочем, что гадать, сейчас надо держать ответ перед самим собой. Но главное — перед своими бойцами.

Что он им скажет, чем объяснит этот внезапный отход? Неожиданным вклинением противника? Однако ночью никто не слышал выстрелов. Лучше так: ушли временно, по приказу высшего командования, оставив в тылу опорные пункты...

Но объяснять ничего не пришлось. Когда он спустился вниз, его уже ждал строй. У лейтенанта отнялся голос. «Ребята,— шепотом сказал он,— мы окружены». Суровое молчание показало, что об этом все знают. «Что будем делать?» Но тут же по их лицам понял неуместность вопроса. «К выполнению приказа готовы!» — ответил за всех помкомвзвода. Лейтенант покачал головой. «Будем драться!» — уже внятно сказал он. И строй уверенно выдохнул: «Будем!»

Они дрались ожесточенно. Но не так, как дерутся находящиеся в окружении пехотинцы, конники или танкисты, то есть подвижные войска, главная цель которых — пробиться к своим. Вернее, здесь было все, что и у других окруженцев,— и стойкость, и ярость, и безоглядная храбрость, но не было лишь одного — возможности отойти от своего дота. Наоборот, эти железобетонные стены были их единственной надеждой на спасение. Лишь бы они выдержали! А там, смотришь, что-то произойдет: вернуться наши с большими силами и отбросят немцев.

Но стены постепенно рушились, и с ними рушилась надежда. А ожесточение росло. И росла решимость стоять насмерть.

...Вечером второго июля, когда была отбита последняя атака и немцы, утащив с поля раненых, отошли, коман-

дир дота, пошатываясь, подошел к стене и начертил еще одну полоску, одиннадцатую по счету. Потом рухнул на койку, посидел, опустив голову. Пошарив в карманах, нашел портсигар, закурил.

Одиннадцать дней войны, из них четыре — в окружении. Сколько суждено им еще продержаться? Иван прикинул, что у него осталось в активе, и горько усмехнулся. Одно орудие, один пулемет. И всего семь бойцов.

Голова командира клонилась и от усталости, и еще больше от тяжелых мыслей. Каждый день приносил потери — и в людях, и в технике. Счет им открылся еще в тот несчастный вечер, когда он послал связных в штаб. Так и неизвестно, куда делись те двое, наверное, напоролись на вражеское охранение.

На следующий день, уже к вечеру, немцы обнаружили, что в доте остались «красные», и через звукоустановку предложили сдаться. Обещали сохранить жизнь. Ответом были несколько снарядов, разметавших их танкетки на подступах к селу. Но фашисты, не ожидавшие такого ответа, разозлились и, протрудившись всю ночь, отыскали помпу, подававшую воду в дот, и вывели ее из строя.

Теперь воду приходилось добывать с риском для жизни. Бросали жребий — обгорелой спичкой или монетой — кому идти к ручью. Тех, кому выпадала эта доля, нагружали канистрами, банками, котелками, плотно приторачивая их, чтобы не гремели. Осторожно открывалась дверь, и водоносы уходили в темноту. Но окрестность заливал ослепительный свет ракеты, водоносы камнем падали на землю. Первый же из таких походов стоил жизни еще одному.

А дальше? Дальше противник, видимо, уразумев, что этот орешек расколоть не так-то просто, предпринял новый маневр. Его артиллерия принялась обстреливать каждую амбразуру. Стреляли для большей точности не таясь, прямой наводкой. Но силы уже были слишком неравными. И вот прошло еще три дня. Итоги печальные. Одна амбразура уже молчит: орудие заклинило. Бронированный колпак снесло вместе с пулеметом. Хорошо хоть пулеметчик уцелел: повезло, выбросило волной в ходовой люк, только ребра намяло... Электростанция вышла из строя: перебило проводку, теперь чини не чини, толку все равно не будет. Лейтенант распорядился изгото-

вить коптилки из бинтов и ружейного масла. Было два аккумулятора: один отдал в боевую рубку, другой поставил у себя.

«Ослепли, оглохли... Но еще живем!» Эта мысль немного взбодрила Ивана. Где-то он читал про какой-то знаменитый форт, который держался под огнем неприятеля чуть ли не полгода «Значит, можно?» — спросил он у себя. Но тут же посмеялся: другие времена тогда были. Другая точность, другая сила огня. «Сейчас они месяц за один наш день не сменяли бы! А у нас их одиннадцать!» Ему попался на глаза телефонный аппарат. Уже ненужный, в пыли, он валялся под столом и все же напомнил Ивану недавнее: сводки, донесения, разговоры с «Туллой»... Сколько бы благодарностей он заслужил за эти дни? Иван уже спокойнее подумал о своем начальстве. Если он выживет, то когда-нибудь узнает обстоятельства отхода штаба. Вдруг окажется, что и впрямь не могли ему сообщить... Нет уж, совсем простить — не в его натуре. Вот он, Иван, разбился бы, а сообщил всем. Ну да ладно, черт с ними, с этими мыслями.

Не наград бы он сейчас просил, а людей. Убитых, к счастью, больше пока нет, все раненые и контуженые. Но ему, командиру, от этого не легче. Да и здоровым бойцам тоже. Нужно ухаживать за лежачими — лечить, давать есть, пить. Где время и силы заниматься с ними, когда сейчас на счету не то что каждый человек, а каждая нога и рука.

«Ну если так считать, по рукам и по ногам, — поправил себя Иван, — то, кто знает, может, и не семь активных бойцов наберется, а больше?» И он подумал, что еще не знает о самочувствии трех раненых сегодня утром. «Пусть уж простят, не до них было».

Он бережно потушил окурок, положил его обратно в портсигар и пошел в жилой отсек.

В чадном, тяжелом воздухе плавал тусклый одинокий огонек коптилки. Слышался храп и стоны, кто-то бормотал во сне. В полумраке командир различил блеск металла: спали в обнимку с оружием, готовые к бою. Это были здоровые.

Иван прошел в дальний угол, к раненым. Они лежали на матрацах, кинутых на пол. Один из бойцов стоял на коленях перед товарищем и поил его из кружки. Раненый, приподнявшись на локтях, пил судорожными глотками,

проливая воду. Командир узнал в нем наводчика, того самого, который вывел из строя немецкую пушку.

И наводчик узнал своего командира. Но взглянул на него не с укоризной, как того ожидал Иван, а виновато, словно оправдываясь за свое состояние. Его товарищ, напоив раненого, поправил подушку, и тот с тихим стоном упал на нее, закрыл глаза.

«Что с ним?» — спросил командир. Боец обернулся, вскочил. Это был Василий. Он молча показал на живот и сокрушенно покачал головой. Иван все понял.

«Сам-то как?» — снова, но уже шепотом спросил лейтенант.

«В башке маленько еще шумит,— прошептал он в ответ.— Но жить можно». И улыбнулся. Лейтенант угрюмо, отводя взгляд, показал ему на других раненых: а как с ними? Василий пожал плечами; не доктор, мол, не знаю. Иван хотел спросить, что им надо, но не спросил, поймав себя на мысли, что вопрос этот сейчас праздный. У него не было ничего, кроме власти над этими людьми, да и власти-то уже почти нереальной. Он подумал, что будь он сейчас на месте этих несчастных, лежащих на полу бойцов, наверно, ничего бы не изменилось и все продолжали бы воевать так, как они воевали до сих пор...

«Браток... Покурить...» — со стоном донеслось из угла. Василий шагнул к стонущему. Это был все тот же наводчик. Глаза его закатывались. «Хоть разок дынуть... перед смертью».

Василий беспомощно осматривался. Сам он не курил, придется будить кого-нибудь. Но кого, все и так собирают в карманах махорку по крупинке?

Командир приказал ему идти за ним. Привел к себе, достал из-под подушки мешочек с остатками табака-самосада, отсыпал себе в портсигар на несколько закруток, остальное отдал Василию. «Чтоб на всех хватило!» — предупредил он. Солдат благодарно закивал.

«Отдать им аккумулятор? Нет, пока обойдутся». Но велел зажечь еще плошку. «А то там...» — Он хотел сказать «как в могиле», но спохватился. Он не любил таких слов. И не любил темноты. Потому и не отдал в казарму свой аккумулятор.

На другой день немцам повезло с самого начала. Два тяжелых снаряда попали в амбразуру, что называется,

в самое яблочко. Бронированный шар, вышибленный из гнезда, повис на проволоке.

И тут же, словно почуяв легкую добычу, немцы вышли из укрытия и в полный рост, бегом, двинулись к доту.

А он молчал.

В образовавшийся пролом было хорошо видно, даже без бинокля, как веселые разгоряченные гитлеровцы бегут по полю. Их радостная, гогочущая толпа напоминала участников какого-нибудь марафона, приближавшихся к заветному финишу. Некоторые на бегу снимали с себя каски, противогазы и прочую амуницию...

Иван смотрел молча, закусив губу. Мозг его лихорадочно работал. Что делать? Пальнуть в них из автомата? Бросить гранату? Не достанет, они еще далеко. Решиться открыть дверь и пойти в штыковую... Командир дота посмотрел на собравшихся в рубке бойцов. Сюда пришли все ходячие, даже раненые. Девять человек, он десятый. А сколько врагов? Наверно, с полсотни. И вон какие у них морды раскормленные...

«Лихо идут!» — сказал кто-то сзади. Командира как подстегнуло. «Что стоите!» Он выругался и стал поспешно готовиться к бою. Двоих послал наверх: открыть заложённый бревнами и мешками с цементом вход в бывший колпак. Двоим приказал подносить боеприпасы. Двое с автоматами стали у пролома. Двоих легкораненых назначили санитарями. Девятого, Василия, оставил при себе, в резерве.

Первая очередь, посланная в пролом, сшибла лишь одного гитлеровца. Подпрыгнув, как ошпаренный, он упал головой в траву. Другие в замешательстве остановились и через мгновение рассыпались по сторонам. Радостный галдеж смолк. И только какой-то долговязый, вероятно их старший, что-то орал, размахивая руками.

Рассредоточившись по полю, немцы ответили ожесточенным огнем. Однако он не мог причинить осажденным вреда. Пули со свистом ударялись в стены и отскакивали на пол. Поняв, что ярятся без толку, гитлеровцы прекратили огонь.

Воцарилась ненавистная Ивану тишина. Потеряв немцев из виду, он пробрался к пролому, пытаясь предугадать их намерения. Но вблизи не слышалось ничего подозрительного. Только трещали в траве кузнечики. С ав-

томатом в руках Иван бросился к лестнице и полез через разобранную в потолке дыру на крышу.

Так и есть, немцы двинулись в обход. С десяток гитлеровцев шли, пригибаясь, в прибрежных зарослях. Забыв об опасности, Иван высунулся до половины, дал очередь и косил, косил этих гадов, пока не кончился диск.

Когда он упал на руки своих бойцов, в лице не было ни кровинки. Но он был даже не ранен. «Такое мое цыганское счастье!» — пошутил Иван.

Командир дота уже решил, что с пехотинцами они справятся, будь их хоть батальон. Его страшила только артиллерия, потому что тут всегда таилась проклятая неизвестность: никогда не знаешь, какой из снарядов — твой. А главное — теперь ответить нечем. Выход один. Иван вспомнил свою любимую песню: «Штыком и гранатой пробилась ребята!» И он со своими ребятами пробьется. Или погибнет здесь.

Нужно было продержаться до ночи. Иван нетерпеливо смотрел на часы. Ровно в семь немцы уходят на отдых, остается только охрана, ну еще, может быть, небольшая группа саперов или связистов. С этими сладишь... Но лучше и их обойти... «Если бы удалось без шума добраться до леса, тогда нам сам черт не брат». Тяжелораненых оставили бы на каком-нибудь лесном хуторе, а сами подались бы глухими тропами на восток.

«К своим! К своим!» — билось в разгоряченном мозгу командира. Все его мысли захватил этот план. Он уже казался ему простым и осуществимым. Тем более что немцы пока не напоминали о себе. Их артиллерия, сделав свое дело, судя по всему, передала заботы о доте пехотинцам. А те, получив по зубам, уже не лезут на рожон, хотят взять измором. Или думают, что в доте нет никого в живых. А если и есть, то рано или поздно они вынуждены будут вылезти из своего полуразрушенного убежища, когда кончится последний сухарь, последний глоток воды. Стоит ли их добивать, рискуя своей жизнью, когда они и так обречены.

Теперь Иван ждал темноту, звал ее, торопил. Но время шло неумолимо медленно. В пролом виднелся все тот же голубой кусочек неба. «Ну когда же, когда...» — бормотал Иван, скрежеща зубами. И на мгновение темнело, но лишь у него в глазах.

Наконец, не выдержав, он дал команду готовиться к

ночному броску. Определили выкладку: шинели не брать, взять только плащ-палатки, сухой паек положить из расчета на трое суток, оставшиеся табак и воду разделить всем поровну. Оружие: каждому винтовка, пистолет и по пять гранат. Из трех имеющихся автоматов два — впереди идущему и один — лейтенанту.

Командир определил порядок следования, интервалы, для лежачих раненых приказал сделать носилки из плащ-палаток, ходячим, у которых действовала хотя бы одна рука, приказал также выдать по пистолету.

Все принялись за работу. Работали дружно, с каким-то веселым азартом, словно собирались в увлекательный поход. Вдруг появилась ясность и с ней надежда. Не думалось уже ни о времени, ни о предстоящих опасностях, а только о той счастливой минуте, когда они выйдут отсюда, из этих прокопченных стен на воздух, в пахнущую травами и цветами ночь.

Василий, которому лейтенант приказал позаботиться о раненых, готовил носилки. Прошил двойной суровой ниткой брезент, сделал нечто вроде карманов по краям, а для ручек использовал уже ненужные теперь банники. Получилось вроде неплохо. Потом, представив себе, как трудно придется с этой ношей в походе, надумал пришить к носилкам еще лямки.

Чадила коптилка, дым ел глаза. Но хотя по лицу текли слезы, он был доволен. Стежки ложились ровно, лямки получались надежные, крепкие. Теперь нести будет намного легче...

Как и все, он не думал, а вернее, не хотел думать о том, чем может обернуться предстоящая операция. Командир есть командир, он приказывает. Где-то в душе у Василия плавало какое-то смутное облачко, предвещавшее, что так просто это не обойдется, но где и когда, говорил себе Василий, все обходится так, как задумано? Раз уж задумано, надо делать. Будь что будет.

Командир же не сомневался, а был почти уверен, что его дерзкий план осуществится. Наконец-то над полем повисла тень от холма, скоро начнет смеркаться. Стрелки на часах подходили к девятнадцати. Значит, немцы решили отложить свой решающий штурм на завтра. Но завтра они найдут...

Он не успел сказать себе, что эти спесивые гусаки найдут здесь завтра, лишь злорадно усмехнулся, как

вдруг услышал вверху, над головой, какой-то странный шум, будто птица клевала в крышу. Иван вскочил, бросился к ведущей наверх лестнице. И замер на месте. В дыру, куда он вылезал днем, смотрел черный ствол автомата.

Сама дыра была наполовину закрыта, осталось только маленькое отверстие, в которое не пролетела бы даже граната. К тому же невидимый автоматчик был не один. На крыше шла какая-то деловитая возня, слышались голоса немцев, удары ломом или еще чем-то...

В нем все кипело: добрались все-таки! Еще утром он шуганул бы их, только пятками засверкали бы. Но сейчас надо было молчать и таиться. Главное — дождаться наступления темноты. Не вечно же эти будут там, на крыше?

Немного успокоив себя, он вскоре услышал такие же звуки справа и слева. «Что они делают? Уж не собираются ли продолбить стены?» Но тут же прикинул, что здесь работы им хватит надолго. Иван пробрался по стене к пролому и выглянул, пытаясь хоть что-то увидеть. Хлестнула автоматная очередь, он отпрянул.

Ему показалось, что немцы тянут какой-то провод. Но еще раз подойти к пролому он не решился. Скорее всего, они размонтируют телефонную линию. Командира дота это уже не волновало. Говорить теперь не с кем...

Пытаясь не слушать назойливые стуки, он прошел по отсекам, проверил готовность бойцов к ночному маршброску: так Иван называл эту операцию. Когда-то, еще в училище, он поклялся, что никогда в жизни, что бы ни случилось, не отступит. И пока ему вроде бы удавалось. Но сейчас... «Ничего,— повторял он,— мы еще повоюем. Только бы выбраться отсюда».

Вид бойцов, которые исполняли его приказ спокойно и четко, не отвлекаясь на звуки, вновь воодушевил командира. «Лишь бы немцы ушли, лишь бы ушли!» — повторял он про себя, как молитву. Но эти попались какие-то упорные. Стрелка на часах давно уже перешла девятнадцать ноль-ноль, а стук не умолкал.

И вдруг он прекратился. Иван не поверил, подкрался к пролому и увидел темно-синий клочок неба и золотистый прозрачный серп нарождающегося месяца. Вокруг было тихо. Чтобы убедиться окончательно, что немцы

ушли, Иван надел на ствол автомата фуражку и высунул наружу. Выстрела не последовало.

Командир созвал бойцов к выходу из дота. «Труссы в карты не играют! — сказал он. — Надо произвести рекогносцировку подступов к лесу. Добровольцы есть?» Вызвались почти все. Командир отобрал двоих, тех, что, по его мнению, были позорче и похитрее, еще двоих поставил у выхода для страховки, и нажал ходовую кнопку.

Железобетонная махина дернулась, но не сдвинулась. Иван снова нажал кнопку. Дверь стояла на месте. «Что за чертовщина, неужели и ее заклинило?» Лейтенант нетерпеливо давил на кнопку, пытаясь вызвать хотя бы звук. Но дверь словно вросла в землю.

«А ну, ребята, навались!» — крикнул лейтенант. И все навалились, стали толкать. «Раз — взяли! Два — взяли!» Иван уже хрипел. Но дверь не поддавалась.

Оставался еще один, запасной, выход: маленькая бронированная дверь, которую бойцы называли «калиткой». В мирное время, уходя и приходя, обычно открывали ее. У «калитки» имелся глазок, позволявший видеть на шаг-другой, что делается вокруг.

«Калитка» тоже не открылась. На счастье, «глазок» каким-то чудом уцелел. Но счастье оказалось цыганским! Командир увидел вкопанный снаружи железобетонный столб, припиривший дверь.

Иван растерялся. Немцы обхитрили его. Уж не узнали ли они о готовящемся броске? Он оглядел исподлобья своих бойцов. Нет, их подозревать глупо.

Что же делать? Кто-то предложил попробовать выломать дверь. Но пощупали броню и отказались: такую не возьмешь, хоть из пушек пали. Да и немцы услышат.

Иван ходил как тигр в клетке. На лбу набухли жилы. Так хорошо продуманный им план рухнул. «Дурак, дурак, не мог отогнать этих фрицев от дота! — ругал он себя и тут же оправдывал. — А кто бы мог? Хотелось бы посмотреть на такого героя!»

Его рука потянулась к пистолету. «Лучше смерть, чем плен!» На лицах бойцов он прочел жалость и презрение. Нет, он не имеет права оставлять их. Умереть никогда не поздно.

Кто-то шагнул к нему. «Товарищ командир...» Иван остановился. «Пушкин», чего ему надо? Сидел бы со своими ранеными». Лейтенант почему-то не решался

взглянуть ему в глаза. Но услышал: «Там внизу есть еще эта... как ее... пантера. Может, попробовать?»

Командир бросился к бойцу, расцеловал. «Быстро туда!» Они спустились в нижний этаж, и Василий, расчистив пол, показал на круглую чугунную крышку, прикрывавшую люк.

Подняли крышку. Это был вход в п а т ё р н у — ход сообщения. Строители, как знал Иван, протянули его под всем дотом и еще дальше, на добрую сотню метров, но не достроили и прикрыли пока плитками и землей.

Василий, освещая лейтенанту дорогу, спустился первым. Под люком начинался туннель из железобетонных труб. Идти по нему можно были лишь согнувшись, даже Ивану. Но идти, черт побери! Идти!

Василий шел осторожным шажком, всматриваясь в темноту и одновременно прикидывая, куда ведет эта труба. «Может, к реке, к плавням?» На стенах трубы сверкали капли. Василий принялся. Пахло сыростью, тиной. «Или правее, к болоту?»

Смущало его одно: пламя чуть заметно подрагивало. Значит, там где-то есть и дырка... Он тоже знал, что строители, уходя, плотно закрывали траншею. Василий остановился, покрутил головой.

«Ну, что ты там мудришь?» — Лейтенант нетерпеливо подтолкнул бойца. — «Вперед!»

Василий сделал еще несколько шагов и снова остановился. Почему-то на ум пришла сказка: «Направо пойдешь — смерть найдешь, налево пойдешь... как там... костей не соберешь?» Он усмехнулся, посмотрев на дрожащие, причудливо скрюченные тени. Направо и налево хода нет, только прямо.

Они шли согнувшись: Василий в руке с плоской, Иван с автоматом. «Иди, не бойся», — шепотом подбадривал командир. Боец делал шаг за шагом, уже не думая

И вдруг уперся в стену.

Лейтенант, оттолкнув, опередил его, но ударился головой о камень. Коптилка погасла. И в темноте, далеко-далеко, словно на дне глубокого колодца, послышались голоса.

Иван нашел в кармане коробок, и дымное пламя снова осветило стену. Это была заслонка из железобетона. Василий водил коптилкой по стене, пытаясь отыскать подъемник. Но тот находился по ту сторону туннеля.

Голоса приблизились. Лейтенант и боец смотрели вверх — там был большой зазор, позволявший слышать, что творится наверху. Вот по полу волоком протащили что-то тяжелое. Потом кто-то совсем рядом, через стену, громко засопел, бряцая железками. Затем снова послышалась громкая немецкая речь и веселый хохот, и все смолкло.

Василий ничего не разобрал в этой тарабарщине. Но, посмотрев на лейтенанта, понял, что произошло что-то страшное. Тот сидел, прислонившись к мокрой стене, и по его лицу текли слезы.

«Товарищ лейтенант,— испуганно забормотал солдат,— не надо, уж как-нибудь...» лейтенант вдруг встрепенулся, схватил автомат и забарабанил прикладом в заслонку. Он бил с ожесточением, ругаясь и плача, пока не разнес приклад в щепки.

«Все, конец!» — повторял он. И теперь, кажется, в самом деле было все кончено. И хотя то, что должно было произойти и поставить точку всем его усилиям, мыслям, желаниям, всей его молодой и многообещающей жизни, еще не произошло, но сейчас — он знал — через какие-нибудь секунды произойдет, и помешать этому он уже не в силах.

В отличие от бойца лейтенант разобрал в немецкой речи два слова — «динамит» и «капут», они объяснили все. В его воображении живо встала картина: вот хохочущий фриц — почему-то это был тот самый долговязый пехотинец, которого он, Иван, утром гонял по полю,— сидя в кустах на берегу, поджигает запал... вот теплится, бежит по шнуру беспощадный огонек... вот доходит до ящиков за стеной...

И вдруг ему стало легко. Он даже не понял, что произошло, какое чудо. Просто его взяли за руку, мягко, по-матерински утерли слезы и что-то говорили, говорили — тихо, в самое сердце.

Взрыва он не услышал.

Мужчина небольшого роста, опрятно, даже щеголевато одетый, расхаживает по комнате и объясняет, что они двое остались в живых потому, что взрывная волна пошла вверх, следовательно, разрушила верхние этажи, а нижний, где они были, только тряхнула.

«Тут все просто и понятно,— говорит он.— Закон детонации». И, снисходительно улыбаясь, рисует на бумаж-

ке схему: вот это дот, вот тут, в казарме, находились его бойцы,— он чертит несколько палочек-туловищ, с кружочками вместо голов,— тут, этажом ниже, почти строго по центру, сидели, или, скорее, лежали они с Василием. Где-то неподалеку, за стенкой, произошел основной взрыв. Но взрывная волна пошла вот так — веером. И, конечно же, в казарме всех завалило. Мой собеседник показывает, как многопудовые стены обрушились и сплющили фигурки. «А мы оказались в вакууме!»

«Как, Вася, я правильно объясняю?» — обращается Иван (нет, так называть его уже неудобно, пусть он будет Иваном Ивановичем) к сидящему поодаль, у окна, Василию.

Василий, который смотрел на прыгающих по подоконнику синиц, встрепенувшись, переспрашивает: «Что?» И смущенно краснеет. «Простите, недослышал немного». Иван Иванович повторяет и показывает чертеж. Василий согласно кивает, бормочет: «Все так... так». Но неожиданно заключает: «Остались вот... Значит, не судьба».

Иван Иванович, улыбаясь, похлопывает приятеля по плечу. «Сколько лет прошло, а наш Вася все тот же!» И подмигивает мне. «Ты лучше расскажи как живешь?»

Василий что-то вспоминает, и морщинки на его длинном лице начинают светиться. «А что? Дом свой. В палисаднике георгины, табак, перед окном — липка растет. Запах божественный, соседи, что в новом большом доме живут, прибегают к нам душу отвести. Молодые просят: «Дядя Вася, подари цветочек. В ларьке-то таких георгинов не сыщешь».

Нет, он доволен жизнью. Здоровьишко пока есть. Жена заботливая, покладистая. Сама работает и еще дом везет. Он тоже работает, в том же чине, что и до войны.

Иван Иванович своей жизнью тоже в общем-то доволен. Живет он в большом волжском городе, работает на транспорте. Квартира хорошая, со всеми удобствами.

И свою жену он хвалит: директор школы, много работает и за квартирой успеваешь следить. Но вот про детей говорить не хочет.

Иван Иванович, закусив губу, нервно расхаживает по комнате, от его недавнего довольства не осталось и следа. Нет, своей дочерью он просто огорчен. Подумать только: поступила в транспортный институт, а с третьего

курса ушла, с какой-то экспедицией уехала куда Макар телят не гоняет, к белым медведям. За год прислала одну открытку. Сын-школьник тоже чудит — дудку себе купил.

Василий сидит, слушает. Его голубые глаза, окруженные сетью мелких морщинок, словно два светлых озера посреди ничем не примечательной равнины. И трудно понять по этой чистой, спокойной глади, что таится в глубине.

«А ты, Иван Иванович, детей своих любишь?» — вдруг тихо, буднично спрашивает он. И, не дожидаясь ответа, признается:

«Я вот все мучаюсь, что, верно, мало своих люблю, ну не так, как надо бы». Он вздыхает. «А ведь их любить надо. Если они это чувствуют — любовь-то,— все от родителей примут».

Иван Иванович смотрит не него недоверчиво.

«Давай, братец, подниматься,— говорит он Василию.— Мой поезд через час, к ночи я должен быть дома. Утром у меня важное совещание».

Василий тоже поднимается. «Раз вместе, так уж вместе». Он мнетя. И уже у двери вытаскивает из кармана пальто помятую школьную тетрадку, быстро сует ее мне, шепчет: «Почитайте вот, если не затруднит. А возвращать не надо. Оставьте себе... на память».

...Стихи, скажем прямо, были весьма слабоватые. Я насчитал в тетрадке более трехсот строк. Потрудился ветеран. Впрочем, может быть, это для него не труд, а отдохновение души, возвращение в мыслях к незабываемому прошлому, в места, где для него началась война?

Поэтому привожу лишь одно четверостишие. А за правду, думаю, Василий на меня не обидится.

Есть в Польше такой городок Перемышль,
Пшемыслем теперь он зовется.
Там мирная жизнь. И уж больше не кровь,
А песня веселая льется.

МЕДЫКСКАЯ БАЛЛАДА

...Нет, сколько бы лет ни прошло, мне вряд ли забыть случайную встречу с этой женщиной и ее рассказ,— трогательный, доверчивый, проникнутый наивной верой в чудо...

Последний день моего пребывания на древней перемышльской земле выдался погожим: ночью выпал первый снег, и утром, выглянув из гостиничного окна, я увидел обычно тесное и мрачноватое скопище продымленных черепичных крыш словно обновленным, радостно сверкающим под лучами солнца. Искрились деревья, сияли купола церквей. На минуту с души отхлынули заботы, вспомнилось детство. Хотелось без конца любоваться этой ожившей сказкой. Но открылась дверь, вошел розовый с морозца, неизменно веселый Бронек и напомнил мне о делах. Предстояла поездка вдоль границы: надо было посмотреть места, где проходил восточный рубеж обороны. Едва ли мы вернемся до вечера. А вечером я хотел еще посидеть в библиотеке, порыться в старых книгах, в которых рассказывались всякие любопытные эпизоды из более чем тысячелетней истории Перемышля...

Попетляв по узким улочкам старого города, наш газик выбрался на Львовское шоссе. Отсюда было рукой подать до границы. Дорога шла по заснеженным пологим холмам, а когда машина поднималась на вершину холма, то открывался широкий вид на приграничье с его полосатыми будочками и розовым домиком таможни у переезда. В одном месте мы увидели вынырнувший из-за поворота польский пограничный наряд — трех «жолнеров», и бегущую впереди на поводке собаку. Солдаты громко разговаривали, смеялись, их веселые голоса были далеко слышны. Вокруг стояла умиротворенная тишина. И я невольно вспомнил рассказы тех, кто сражался

здесь, на этой земле, в те июньские дни. Наверное, не было на всем стокилометровом участке обороны боев более жестоких и страшных, чем в Медыке,— восточном предместье Перемышля. Немцы рвались сюда, на Львовское шоссе, которое, как они считали, открывало для них дорогу к сердцу Украины, Киеву... Завязался кровопролитный бой между нашими частями и персправившимися на эту сторону Сана полками гитлеровской легкопехотной дивизии и поддерживающей ее танковой группой. У нас не было ни тяжелых танков, ни бронепоезда, ни обилия других подвижных средств, какие были у противника. Тем не менее захватчики ни в первый, ни в последующие дни не смогли добиться решающего перевеса. Оборона зарывалась все глубже и глубже. Эта земля, рассказывали очевидцы, была вся вдоль и поперек в траншеях, изрыта воронками от снарядов и авиабомб; горели хлеба, воздух сотрясался от грохота...

Но напрасно мой взгляд шарил по холмам, пытаюсь отыскать хотя бы одну полузасыпанную траншею или воронку от снаряда. Ничего такого не осталось. Поля мирно розовели под лучами яркого солнца. Тихо струились над крышами поселка прозрачные дымки. Ребятишки, радуясь выпавшему снегу, весело протапывали первую лыжню...

И вдруг в стороне от дороги я увидел яркое красное пятнышко. Оно алело на снегу, как расплывшаяся капля крови. Что это?

— Здесь когда-то был дот,— сказал Бронек.

Я попросил остановить машину и пошел по направлению к маленькому холмику с алеющим пятном. Подойдя ближе, увидел на снегу крупную пунцовую, видимо совсем недавно положенную сюда, гвоздику. Сам дот, вернее его бывшая боевая рубка, поднимался над землей метра на два. Бойницы были зацементированы, наверное, для того, чтобы ребятишки не лазили внутрь, толстая бронированная дверь схвачена железными заклепками. «Когда-то ты был страшен врагам и твои бойницы дышали смертоносным огнем,— подумалось мне.— А сейчас ты всеми забыт и никому не нужен...» Но тут же поймал себя на слове: «Забыт?» А этот красный цветок? Его положили, наверное, в память о тех, кто здесь сражался когда-то. Но кто, может быть, школьники?

Я огляделся, ища следы на снегу. И увидел, но не

несколько пар, как ожидал, а лишь одну пару — следы взрослого человека. Они шли через поле к одному из домика на краю поселка.

Бронек перехватил мой взгляд.

— Гадаете, откуда здесь цветок? Его принесла сюда одна... пани Магдалена. Я знаю ее — она моей матери коллежанка, то есть подруга. Была когда-то в молодые годы замужем за русским военным, он погиб или пропал, точно сказать не могу. Словом, сгинул. Но только эта Магдалена стала с тех пор, как мать говорит, какая-то понурая и все поминает своего бывшего мужа — то цветок сюда, на камни, положит, то просто придет и стоит над этим дотом, сумная такая, и думает, думает... А у самой уже давно другая семья — муж, дети.

— Странно,— сказал я,— почему она ходит именно сюда, а не на кладбище, наконец не к памятнику или к вечному огню?

Бронек пожал плечами.

— Такая у нее причуда.

«Вряд ли,— подумалось мне,— это просто причуда. Скорее всего, с этим дотом у нее что-то связано...»

— Может, мы зайдем к ней на минутку,— предложил я.— Если это удобно?

— Что ж здесь неудобного? — Бронек усмехнулся.— Не на блины идете, по делу.

И он направился к домику.

Дверь открыла женщина в наспех наброшенном платке.

— К вам можно?

— Прошу, панове...

Хозяйка немного растерялась. Она посторонилась, пропуская нас в тесную прихожую, освещенную тусклой лампочкой. После яркого солнца и слепящего белизной снега мы почувствовали себя как в склепе. Это впечатление усиливалось закрытыми ставнями на окнах и тишиной, нарушаемой лишь тиканьем ходиков на кухне.

Хозяйка вопросительно смотрела на нас. В сумерках прихожей ее глаза, окруженные густой тенью, казались усталыми и испуганными.

Бронек сказал ей, кто я, и спросил, разговаривает ли она по-русски.

— Да, да, конечно... И понимаю, и могу даже сама поговорить... поговорить. Только зачем я понадобилась

пану?..— Она смутилась.— Это я по-нашему вас так называю. В Советском Союзе, я знаю, надо говорить «товарищу».

Я хотел сразу перейти к делу и спросить, действительно ли она положила цветок на заброшенный дот? Однако сейчас, глядя на лицо женщины, еще не старое и не потерявшее привлекательности, но бледное и грустное, почему-то не решился произнести заученную фразу.

— Видите ли... нас привели к вашему дому следы на снегу... И мы решили, что это, может быть, ваши следы...

Женщина печально улыбнулась и закивала головой.

— Да, это я ходила. Сегодня ведь первое декабря, я всегда туда хожу первого и семнадцатого числа каждого месяца.

Мне стало понятно, что означает «туда», но меня заинтересовало, почему она ходит к доту именно в эти дни.

Женщина вздохнула.

— Потому что их я запомнила очень хорошо. Одно из них было для меня когда-то самым счастливым, второе — самым несчастным.

И вдруг, как бы спохватившись, замолчала.

Я смотрел на ее лицо, строгое, почти суровое, с тонким прямым носом и немигающим взглядом печальных глаз. В то же время была в облике этой женщины странная, почти неуловимая нежность — в длинных пушистых ресницах, в мягкой округлой линии подбородка, в девически стройной шее. Женщина стояла, прислонившись к стене, и словно ждала, когда мы уйдем. А я уже понимал, что задуманное мной короткое интервью мне ничего не даст. За словами женщины угадывалась какая-то непростая, может быть, даже загадочная история. Но захочет ли она нам ее рассказать?

Я спросил об этом прямо, почти уверенный, что она откажет. И не ошибся.

— По цо? — сказала она, пожав плечами. И добавила, чтобы не обидеть меня: — Зараз нет настроения, может, в другой раз.

Но Бронек, которого эта история интересовала, повидимому, не меньше чем меня, поспешил мне на помощь.

Подойдя к женщине вплотную, он что-то быстро зашептал ей на ухо. Я догадался, что говорил мой энергичный «гид», какие доводы приводил. «Другого раза не бу-

дет, товарищ завтра уезжает к себе на родину...» До меня доносились отдельные, понятные мне, слова. Но женщина продолжала печально и упрямо повторять: «Ни-ни. Не для чего».

Я уже сделал шаг к двери, сожалея о том, что своими вопросами затронул в душе хозяйки какую-то больную струну. Бронек, кажется, тоже потерял терпение. Он двинулся было за мной, раздосадованный, что привел меня к этой странной, непонятной, упрямой женщине, но в последний момент, подойдя к ней, что-то сказал.

Женщина снова изменилась в лице. Но теперь в ее глазах мелькнуло недоверие, смешанное с надеждой. Губы дрогнули и раскрылись, щеки порозовели, словно она, находившаяся до сих пор в полусне, проснулась и теперь смотрела на меня уже с другим, чуть ли не молитвенным, выражением.

— Хорошо, хорошо,— поспешно заговорила Магдалена,— я расскажу... Только куда бы мне вас провести?

Хозяйка приоткрыла дверь в одну из комнат: там было совсем темно, лишь в дальнем углу светился глазок ночника и поблескивало что-то на стене — то ли рамка картины, то ли распятие.— Здесь еще спят, здесь тоже. Дети, у меня их трое, учатся в школе в вечернюю смену, ложатся поздно, я им даю поспать. Впрочем, можно разбудить...

— Нет, нет, не надо,— запротестовали мы.

— Тогда вам придется немного подождать, пока я приберу в нашей спальне.

Она скрылась в дальней комнате, оставив нас одних.

Я недоумевал: что случилось с хозяйкой? И что сказал ей Бронек? В ответ на мой вопрос он загадочно улыбнулся. «Пообещал, что вы напишите про нее, и тогда о ней узнают все в вашей стране». Мне этот довод показался неубедительным. Женщина не выглядела тщеславной, скорее здесь было что-то другое...

Ожидая ее, мы разглядывали скромное убранство прихожей: вешалку с тремя детскими пальтецами и мужским брезентовым плащом с капюшоном, круглый столик с грудой каких-то старых журналов, овальное зеркало в золоченой потрескавшейся раме. Под вешалкой, у самой двери, на резиновом коврике стояли болотные сапоги с длинными голенищами и фонарь в металлической оправе с разноцветными стеклами...

— Проходите, панове, прошу,— сказала женщина, появляясь в дверях.

Мы разделись и прошли за ней. В небольшой комнате, наполовину заставленной двумя широкими деревянными кроватями, была еще кушетка, застланная клетчатым пледом. Хозяйка посадила нас на нее, а сама уселась на низкий стульчик, стоявший у старенького трельяжа.

— С чего же мне начать? — тихо сказала она, словно спрашивая у самой себя.— Начну, пожалуй, с того довоенного времени, когда впервые встретилась с ним... Было мне тогда восемнадцать лет, я только что окончила школу и поступила работать в швейную мастерскую. В эту осень произошли большие события: Красная Армия пришла к нам в Перемышль, и границу установили по Сану. Не скажу, чтобы новая власть всем понравилась: люди побогаче боялись потерять свои дома, магазины, сеяли слухи, что большевики будут отбирать у местных жителей имущество, а их самих отправят на каторжные работы на восток. Бедняки, наоборот, приветствовали Советскую власть, которая дала им землю и работу. Мои родители находились где-то посередине: отец мой служил кладовщиком на лесном складе, имели мы вот эту каменичку, домик, где сейчас находимся, была я у них единственная дочь, и они заботились, чтобы я выучилась у хорошего мастера и стала модной портнихой, заботились и о том, чтобы удачно устроилась моя личная жизнь. За мной ухаживал один молодой человек — подробнее я скажу вам о нем после, звали его Вацек, был он из хорошей семьи — отец его работал техником на железной дороге, и сам Вацек тоже решил пойти по стопам отца и поступил во Львовское железнодорожное училище. И хотя теперь мы жили в разных городах, но Вацек каждое воскресенье приезжал домой в Перемышль, чтобы повидаться с родителями и, как он говорил, со мной. Я ему верила — верила, что он любит меня, но не могла ответить ему тем же.— Женщина замолчала и тихо, почти неуловимо улыбнулась, впервые за все время.— У каждой девушки, наверное, есть своя мрия — заветная мечта, так? Была она и у меня: встретить человека, которого рисовало мое воображение — похожего на героев моих любимых книг. Я зачитывалась тогда историческими романами Сенкевича, Жеромского и других писате-

лей, описывающих жизнь, совсем не похожую на ту, какой мы жили в нашем городе...

Пани Магдалена подошла к двери, прислушалась, плотнее прикрыла створки и вернулась на место.

— Нет, не подумайте, что Вацек был мне противен, я питала к нему симпатию, которая, может быть, со временем переросла бы в любовь, если бы однажды не произошло событие, повернувшее мою жизнь. Как-то вечером за мной зашла подруга и пригласила меня в дансинг. Мы отправились в клуб, куда по вечерам собиралась местная молодежь, но мы с Вацеком обычно туда не ходили, а гуляли по улицам или сидели дома, потому что Вацек был по характеру хлопец тихий, домашний, танцевать не любил и вообще сторонился всяких шумных компаний. Моя же подружка всегда меня корила за то, что я, по ее словам, живу, как монашка, и нет-нет вытаскивала меня «в свет» — на пикник, на вечеринку, разумеется, когда не было Вацека. Вот и тогда, кажется это была суббота, Вацек еще не успел приехать, и мы пошли в клуб. Там мне понравилось; сначала артисты давали концерт, пели модные песенки, показывали фокусы, потом заиграл оркестр и начались танцы. Мою подружку здесь многие знали, и она танцевала без усталости — то с одним кавалером, то с другим. Я же стояла скромно у стены и смотрела на танцующих.

И вдруг почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулась и увидела высокого, красивого советского офицера, который стоял в группе своих товарищей — военных и смотрел в мою сторону. Я почему-то страшно смутилась и спряталась за колонну. Но заиграли вальс, и офицер нашел меня за колонной и пригласил на танец.

Мы выбрались из толпы в круг. Офицер что-то мне говорил, но я тогда плохо понимала по-русски, к тому же его слова заглушала музыка. И вообще, все было как сон. Танцевал мой партнер необыкновенно легко и сам был ладный: высокого роста, широкоплечий, смуглый, как цыган, с черной, густой чуприной, с огневыми черными глазами. Когда танец закончился, офицер отвел меня на место, к колонне, и спросил, одна ли я здесь. Я сказала, что с подругой, и та, как бы в подтверждение моих слов, тут же подбежала и стала кокетничать с офицером, но тот, когда снова заиграла музыка, опять при-

гласил меня... Так мы с ним протанцевали весь вечер — никогда в жизни я, наверное, столько не танцевала, а когда танцы закончились, офицер попросил разрешения проводить меня до дома. И здесь я не посмела, или не захотела, ему отказать — такие у него были глаза, что их взгляд, казалось, проникал в самую душу. Когда мы шли с ним по темным улицам, он крепко сжимал мою руку и говорил: «Магдалена, милая, мы обязательно должны еще где-то встретиться». Он пригласил меня погулять в парке на Замковой горе. «Через два дня вечером я буду ждать вас у старой башни», — сказал он на прощанье. Я не обещала. Но и не отказала. Офицер мне понравился — так понравился, что даже стыдно было признаться самой себе. Что я о нем знала? Только то, что его зовут Николаем... Но его черные глаза и смуглое лицо, смелый и ясный взгляд виделись мне в моих мечтах — и в ту ночь, которую я провела почти без сна, и на следующий день... Пришел Вацек, привез мне из Львова какой-то подарок, но я даже не поблагодарила его. «Что с тобой? — тревожно спросил он. — Ты заболела?» Мне стыдно было обманывать моего друга. Да и врать я никогда не умела — ни тогда, ни теперь... Я попросила, чтобы он сейчас ни о чем меня не спрашивал. «Когда-нибудь ты все узнаешь», — сказала я ему. Мне показалось, что он понял: у него стало такое грустное-грустное лицо... Я чуть не заплакала от жалости к бедному Вацеку: как мне хотелось в ту минуту любить его. Но у меня перед глазами неотступно стоял русский офицер. И когда Вацек наконец ушел, я почувствовала облегчение. И еще почувствовала, что не смогу не пойти на свидание к Николаю. Ничего подобного со мной никогда не случилось — по-видимому пришла моя пора и появился тот человек, которого мне было суждено полюбить...

Я едва дождалась дня свидания. Помню, бежала на Замковую гору, не замечая никого и ничего вокруг. Он уже ждал меня, ходил у подножия башни, поглядывая на дорогу. Увидев его, я спряталась за дерево, достала зеркальце, поправила прическу, успокоилась, только потом вышла ему навстречу. «А я уже думал, что вы не придете! — сказал он, весь сияя от радости. И взял меня под руку. — Можно, я буду звать вас просто Лена?»

У нас, поляков, Лена это Гелена. Но я не стала возражать, раз ему так хочется... В этот вечер мы гуляли,

танцевали, потом ушли на дальнюю аллею, на склон, и там он меня поцеловал. И я его поцеловала. Не думала, хорошо ли это или плохо — целоваться с человеком, которого видишь второй раз в жизни. До того я целовалась очень редко — с Вацеком, но это были другие поцелуи, скорее как у брата с сестрой. С Николаем целовалась совсем не так — каждый поцелуй был словно объяснение в любви. Может быть, неудобно об этом говорить, да еще вам, чужим людям, только ведь, по-моему, надо стыдиться плохих чувств, а то чувство было светлое, вот как сегодняшний день — с солнцем, с первым снегом...

Через несколько дней Николай пришел к нам домой, чтобы познакомиться с моими родителями. Они встретили его вежливо, но сдержанно, когда же Николай сказал, что хочет на мне жениться, отец с матерью, переглянувшись, не ответили, решили сделать вид, что не понимают по-русски... Тогда я им сказала, что люблю этого человека и буду его женой.

Какую бурю мне пришлось выдержать, когда Николай ушел. Отец кричал на меня, топал ногами: «Чем плох для тебя Вацек? Он сын хороших родителей, мы его семью знаем. А кто такой этот русский офицер? Еще увезет тебя в Сибирь!» А мать сокрушалась, плакала, ей было непонятно, как я, ее всегда послушная дочь, вдруг проявляю такое упорство. «Чем он тебя околдовал? Ведь он даже не говорит по-польски, а ты едва знаешь по-русски. И знакомы-то вы всего несколько дней. А для того, чтобы стать мужем и женой, надо хорошо знать друг друга».

Они решили все рассказать Вацеку, чтобы тот со своей стороны повлиял на меня. И бедный Вацек пришел ко мне, но не стал меня отговаривать, только взял мою руку и спросил, посмотрев в глаза: «Скажи, Магдаленка, ты его очень любишь?» Я, глотая слезы, кивнула. Тогда Вацек тихо поцеловал меня в лоб, словно прощаясь навеки. «Что ж, я понимаю тебя. Будь счастлива». И в тот же день он уехал во Львов. Больше я его в Перемышле не встречала до сорок четвертого года. Но об этом потом...

Мы поженились с Николаем в мае сорокового года. В церкви, конечно, не венчались, опять же к неудовольствию моих родителей. Но тут они, кажется, поняли, что

советский офицер не может придерживаться старых порядков. Мать, пожалев меня, повесила мне на шею ладанку с девой Марией — хранительницей домашнего очага. «Тому не бывает счастья, кто пошел против родительской воли,— сказала мать.— Но, может быть, судьба будет к тебе милостивой». Николай только посмеялся над суеверием пожилых людей. «Люди сами хозяева своей судьбы!» — говорил он.

Жить я перешла к нему в квартиру в военный городок — вы видели, наверное, большие серые дома на Львовском шоссе, когда ехали сюда. Там у него была комнатка — три шага в ширину, три в длину... Но мы не замечали ни тесноты, ни неудобств. Жили счастливо.

Многое могла бы я вспомнить о том времени, и все хорошее — как мы ходили в Дом Красной Армии на концерты, как учили друг друга языкам — он меня русскому, а я его польскому, как я впервые сварила щи — у нас, поляков, этого кушанья нет, а я желала угодить мужу, но такое наготовила по неопытности, что сама едва могла съесть две-три ложки, но Николай съел целую тарелку и все меня нахваливал... И помню еще птичий щебет по утрам. Под окном у нас росло дерево, на нем всегда было много птиц, и едва начинался рассвет, они поднимали такой шум, так звонко щебетали, что мы просыпались и радовались, как дети, что встает солнце, начинается день — он был для нас словно коробка с подарком...

Весной сорок первого года я родила сына — мы называли его Владимиром. Теперь нас стало трое. Но прожили мы вместе недолго. В конце мая Николай получил назначение в укрепрайон и перешел жить в цитадель, то есть в дот, как вы его называли. И находился этот дот неподалеку от каменички моих родителей. Николай сказал мне, что будет лучше, если я с ребенком поселюсь у них — тогда мы сможем чаще видеться, чем если я останусь в городке, который находился за несколько километров от дота.

«Там, смотришь, хоть на полчаса, а вырвусь, чтобы вас повидать», — сказал он.

Пришлось мне уговорить родителей принять меня с Володей. К тому времени они немного поостыли, видимо, привыкли к Николаю, хотя виделись с ним редко — обычно в гости к ним я ходила одна или с ребенком. Ни-

колай зла к ним не имел, но был гордый, знал, что они его не жалуют. Теперь же, когда я снова поселилась в родительском доме, моему мужу пришлось часто заглядывать к тестю и теще: прибегал иногда по нескольку раз в день, но на короткое время — каких-нибудь десятков минут. Таков был приказ командования: жить в доте почти неотлучно. Там, в своей цитадели, он и его солдаты и ели, и спали... «Зачем это надо?» — спрашивала я мужа. Николай отшучивался: «Затем, чтобы ты обо мне больше соскучилась». — «И когда же кончится такая жизнь?» — «Скоро», — успокаивал он. Но срока не называл.

Когда я впадала в тоску, отец с матерью смотрели на меня с сожалением. «Привыкай к разлуке, — говорил отец, — не дай бог, может случиться еще хуже».

Понимала ли я, на что он намекал? Не знаю, вернее не помню. В молодости не думаешь о плохом, гонишь от себя страшные мысли. И тосковала я не потому, что меня мучили какие-то мрачные предчувствия, а потому, что хотела быть чаще с моим коханым... А он скучал ли обо мне? Наверное, тоже скучал, но для него, как впрочем для всех вас, русских, главным было другое — служба, дело... Я помню еще спрашивала его: «Почему у нас, поляков, есть два понятия «любить»: одно «кохать» — только для обозначения любви, а другое просто «любить» для всего остального; у русских же — всего одно «любить»: «люблю девушку», «люблю хорошую погоду», «люблю щи и кашу»? Он смеялся, говорил: «До этого я не додумался. Значит, мы, русские, здесь что-то не доработали».

За месяц до начала войны его только два раза отпускали на несколько часов, и встречались мы в нашей комнатке в военном городке. Часы эти пролетали как одно мгновение...

Женщина тихо улыбается, взгляд ее повеселел, словно оттаял, и зеленые глаза (прежде, в темной прихожей, они показались мне карими) молодо светятся из-под опущенных ресниц. И снова я удивляюсь тем странным превращениям, какие происходят иногда в человеке. Еще недавно эта женщина выглядела сумрачной. И вдруг такая откровенность, почти детская доверчивость. Но вот улыбка гаснет, во взгляде появляется тревога. Хозяйка,

видимо, спохватилась, вспомнив, что еще не ответила на мой вопрос.

— Тераз... тераз...— говорит она, опустив голову.— Сейчас расскажу об этом.

И, немного помолчав, собираясь с мыслями, продолжает.

— Первый снаряд упал недалеко от нашего дома, возле большого здания, где был какой-то военный склад. Что там хранилось, я не знаю, но только нам, цивильным, близко подходить к нему не разрешалось... Мы, вся наша семья, проснулись, и отец велел нам быстро одеться и спуститься в подвал, который был вырыт во дворе под сараем. Пока мы собирались, в поселке разорвалось еще несколько снарядов и всё в районе склада. Уже опускаясь в подвал, я услышала гул самолетов, затем слышались глухие взрывы такой силы, что наш подвал задрожал, посыпалась земля. Мне стало страшно — и за себя, и за моих близких, но я еще не понимала, что это война. А когда поняла — подумала о моем муже. Не о ребенке, нет, он был у меня на руках. А Николай — где-то там, в поле, в своем каменном мешке, и это на него сыпались снаряды и бомбы. Мой отец, когда стрельба утихала, выходил из подвала посмотреть, что творится вокруг, и от него мы узнали, что поле, где проходила полоса укреплений, все изрыто воронками. Немецкие самолеты, сбросив бомбы, улетали и вскоре снова возвращались... Было невыносимо сидеть в убежище, ничего не зная об участии мужа. Его дот был недалеко отсюда, я увидела бы, если бы в него попала бомба, и все хотела выйти из подвала. Но родители не выпускали меня, отец кричал: «Глупая, подумай о своем ребенке!»

Конечно, я все равно не смогла бы ничем помочь моему Николаю. А в воображении рисовались картины: вот его ранило и он ползет по полю, истекая кровью, вот, с черным, обгоревшим лицом идет, спотыкаясь, протянув вперед руки, ищет дорогу к дому...

Однако все это было лишь начало. В полдень стрельба вдруг прекратилась. Мы немного успокоились, отец снова вышел из подвала, но вернулся еще более испуганный, чем раньше, и сказал, что в поселке немцы.

«Что теперь с нами будет, что будет?» — запричитала мать. Отца тоже трясло, как в лихорадке: от мысли, что немцы могут расправиться с ними из-за моего мужа,

его пробирал страх сильнее, чем от бомбежки. Мне было больно на них смотреть.

Я уже хотела отдать им моего малыша и выйти на встречу немцам — пусть они сделали бы со мной, что хотели: расстреляли, повесили, мне было все равно, лишь бы я отвела опасность от моих родителей и сына. Но вдруг подумала о Николае: а может быть, я ему еще буду нужна? И тогда откуда только у меня взялись силы! Я крикнула на отца с матерью, чтобы они взяли себя в руки и прекратили панику. «Будем сидеть здесь и ждать, пока наши выгонят фашистов!» Отец, правда, пробормотал, что такого еще не было, чтобы фашисты отступали, но все же его немного успокоил мой тон — столько, вероятно, в нем было уверенности...

А ведь так и случилось: вскоре перестрелка возобновилась, наши пошли в атаку и выбили немцев из Медыки. Тут я не выдержала и вышла из подвала. Во дворе встретила двух красноармейцев, забежавших, чтобы попить воды. Напив их, спросила про доты в поле — целы ли они? «Целы! — сказали красноармейцы. — Слышишь выстрелы — это из дотов стреляют, по немцам огонь ведут». Я воспрянула духом. И мой отец тоже обрадовался: здесь, может быть, впервые я поняла, что он душой за Красную Армию...

Поздно вечером стрельба прекратилась, и мы перешли из подвала в дом, поужинали, легли спать. Перед сном я вышла на улицу, чтобы закрыть ставни. В поле было темно, только иногда в небо взлетала ракета, озаряя зеленым светом все вокруг. Напрасно я смотрела вдаль, пытаюсь увидеть черный бугорок над землей...

С рассветом снова начался бой. Опять прилетели фашистские самолеты, стали бомбить позиции красных. Несколько бомб упало в поселке, послышались крики и стоны раненых. Прибежал сосед, сказал, что надо уходить к холмам, где можно надежно спрятаться в пещерах, вырытых давно, наверное, в первую мировую войну. По словам соседа, немцы снова готовились наступать, только еще большими силами, чем в первый день. «Будет такая валка! — говорил он. — По цо чекаете?» Но я сказала родителям, что никуда не уйду из дома, хотя бы мне пришлось здесь погибнуть. Без меня они тоже не хотели уходить, и мы опять спустились в подвал.

Над нами кипел бой: слышались чьи-то крики, топот

ног, орудийные выстрелы. Теперь бой не затихал ни на минуту. Отец уже не решался выйти из подвала, только иногда приподнимал дверь, чтобы выпустить табачный дым. Бедная моя мама вся дрожала и шептала молитву. А я сидела, прислушиваясь к взрывам, и прикрывала платком лицо моего малыша, чтобы ему в глаза не попала земля, которая сыпалась сверху.

Так мы снова просидели до вечера, пока затих бой. А когда поднялись наверх, то увидели, что у нас в саду расположились красноармейцы с пушкой. Мой отец был этим недоволен, он говорил, что теперь немцы будут стараться разбомбить пушку и наверняка разбомбят и наш дом. Но мне почему-то стало спокойнее на душе: я знала, что эти солдаты не дадут нас в обиду. Их командир, который пришел к нам вечером, чтобы познакомиться, был чем-то похож на Николая — такой же высокий и чернявый, с такими же белыми зубами. От него я узнала, что немцам пока не удалось уничтожить ни одного из наших дотов в этом районе. «Их никакая бомба не возьмет, — сказал он про доты, — разве только прямым попаданием». О тех, кто в них воевал, говорил с гордостью.

— Молодцы, врагу много шкоды наделали. Возле каждого дота немцев навалено, что снопов!

Как я обрадовалась его словам! Значит, мой муж жив и воюет, как богатырь. Когда командир пушкарей ушел, то отец, хотя и продолжал ворчать, все же подобрел и сказал, что в этой войне Гитлер свернет себе шею...

Ночь нам казалась раем. А с утра начинался ад: бомбежка, стрельба, пожары. Мы уже стали привыкать к этой нашей кротовой жизни в подвале — принесли туда матрацы и подушки, кое-что из съестного, даже керосинку и кастрюли, чтобы готовить пищу. Отец уже не метался как в первые дни, а сидел тихо, только вздрагивал при особенно сильном взрыве и ругал «проклятых швабов». Я, как могла, успокаивала маму и возилась с моим малышом, который, словно не слыша страшного грохота, не кричал, не плакал, а спокойно лежал на подушках.

Так мы прожили неделю. И вот однажды, поднявшись наверх, мы увидели, что красноармейцы уходят из нашего сада и увозят свою пушку. Их командир подошел к нам — он уже не улыбался, лицо у него было мрачным и растерянным. Стараясь не глядеть в глаза,

попрощался, сказал, что получен приказ сменить позиции. Но я сердцем поняла, что это отступление. И тут же, конечно, подумала о муже. Неужели мой Николай тоже уйдет, так и не простившись со мной, с сыном? Первой мыслью было побежать в поле к его доту, и я побежала бы, если бы у меня на руках не было малыша... Слезы сдавили мне горло. Чуть не плача, я смотрела, как уходят красноармейцы. Наконец, они скрылись в темноте, наступила ночь...

Рано утром мы слышали треск мотоциклов. Это были немцы. Они разъезжали по поселку, заходили в дома, требуя молока, яиц, масла. Зашли и к нам, набрали в саду полные каски вишен, поймали несколько кур. Один из немцев увидел меня с ребенком на руках, спросил, где мой муж. Не помню, что уж я ему ответила, но только он погрозил мне пальцем, сказав, что всем женам и детям «красных» скоро будут делать «пух-пух». Моя мать, перепугавшись, хотела уничтожить фотографии Николая, которые были у нас в альбоме, но я не позволила — взяла и спрятала их под матрасом.

По Львовскому шоссе на восток прошла, громяхая, колонна немецких танков. Затем через некоторое время следом за ней двинулись большие, крытые брезентом автомашины с солдатами. Они шли и шли, казалось, им нет конца... И вдруг раздались орудийные выстрелы, колонна немецких машин смешалась, некоторые из них загорелись, многие свалились под откос.

Для всех это было, как гром среди ясного неба. Значит, «красные» не ушли? Среди немцев началась страшная паника. Шоссе быстро опустело. Орудийные выстрелы прекратились, наступила тишина. Она казалась угрожающей.

Я поняла, что стреляли из дота. Возможно, среди тех, кто там остался, был и мой муж. Но теперь я боялась за него еще больше, чем прежде. Ведь теперь кругом враги, борьба с ними бессмысленна. И все же в моей душе с новой силой вспыхнула гордость за мужа и его товарищей.

Отец тоже радовался, что эти смельчаки всыпали «проклятым швабам». Но говорил, что немцы наверняка примут все меры, чтобы сравнять ненавистный им дот с землей. «Не дай бог, если кто-нибудь из «дотовцев» попадет к ним в плен — они его изрежут на куски», — так, помню, сказал отец...

Вскоре прилетели немецкие самолеты и стали бомбить дот. Они сбросили не меньше сотни бомб, перепахав все поле. В небо взлетали огромные черные столбы земли. Пыль застилала солнце. Даже до нашего домика долетело несколько осколков. А что творилось там, куда падали бомбы? Нет, я не могла смотреть туда — легла на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Моя мама шептала свою молитву, и я шептала вместе с ней. Но о чем мы молились, на что надеялись? Разве наши жалкие слова способны были предотвратить беду?

Самолеты улетели. Немцы убрали с шоссе остатки обгоревших машин, затем солдаты из строительной команды чинили разбитую дорогу. Теперь дот молчал.

На другой день с утра по шоссе снова прошли танки, за ними проследовала колонна машин. Сначала машины шли с большими интервалами, соблюдали осторожность. Потом осмелели и двинулись плотной колонной.

И тут снова случилось чудо! Грянул орудийный выстрел — один, другой, третий... Мы не поверили своим глазам, видя, как на шоссе горят и валяются под откос машины. Стрельба была частой, точной — там, в доте, торопились расстрелять вражескую колонну, не дать ни одной машине уйти невредимой.

Затем все повторилось: перепуганные немцы бежали, санитары уносили раненых, прилетели самолеты и часа два кружились над полем, сбрасывая бомбы.

Но был еще день, когда дот обстрелял фашистскую колонну. Суеверные люди в нашем поселке стали поговаривать, что красноармейцы там, наверное, заколдованные, если их не берет ни одна бомба. Придумывали всякие версии: и что у дота имеется подземный ход длиной чуть не до старой границы, по которому защитникам дота доставляют продовольствие и боеприпасы, и что сделан дот из какого-то особого, сверхпрочного строительного материала...

В этот день немцы бомбили дот особенно долго. На подмогу самолетам в Медьку с той стороны Сана пригнали бронепоезд, который стрелял по доту из тяжелых орудий... И только тогда дот замолчал. Под вечер, когда по шоссе пошла колонна машин, по ней не раздалось ни одного выстрела.

А красноармейцы, что стало с ними? Я видела, как группа немцев ходила осматривать разрушенный дот.

Когда они вернулись, набралась смелости спросить у одного из них, унтера, квартировавшего в соседнем доме, удалось ли им взять кого-нибудь в плен. Немец сказал, усмехнувшись, что брать было некого, потому что всем «капут».

Итак, все они погибли! Был ли среди них мой муж — этого, я, повторяю, не знала, но если бы мне разрешили попытаться отыскать его труп, пошла бы туда. Как смогла бы я найти его в развалинах — об этом тогда не думала...

Ночью я лежала, не смыкая глаз и прислушиваясь к каждому шороху. Все чудилось, что вокруг дома кто-то ходит — то слегка постучит в ставню, то скрипнет калиткой. Несколько раз, накинув шаль, выходила на крыльцо и подолгу всматривалась в темноту. Но вокруг никого не было. Поселок казался безлюдным, не светилось ни одно окно, даже собаки не лаяли.

И вдруг я услышала, как кто-то скребется в дверь. Затаила дыхание. Мне вспомнилась притча о душах погибших, которые возвращаются в дом. Вот дверь заскрипела, послышался слабый стон... Сорвавшись с кровати, метнулась к двери и споткнулась о лежащее у порога тело. Человек! Я упала на колени, дрожащими руками дотронулась до него. Его одежда была липкая от крови, шершавая от песка. Сердце у меня страшно забилося — от жалости и от какого-то необъяснимого предчувствия. Нащупав лицо человека, чуть не закричала. Это был он, мой муж, мой коханный! Не помню уж, что я говорила ему, но он тоже узнал меня. «Мне плохо, Лена, — простонал он. — Товарищей убили, я остался...» Он попросил воды и пил долго, жадно. Потом сказал, чтобы его спрятали. Мои родители тоже проснулись и совершенно оцепенели — или от неожиданности, или от страха. Отец, обычно деятельный и находчивый, не знал, что предложить, только бегал в нижнем белье по комнате, поминутно заглядывая в дверь — не идут ли к нам немцы...

Я попросила отца посторожить у калитки, сама вместе с мамой стала оказывать Николаю первую помощь. Мы сняли с него пропитанные кровью гимнастерку и штаны, стянули сапоги и, согрев воды, промыли раны, которых было множество, но, к счастью, не глубоких. Больше он страдал не от ран, а от контузии: его, как он

сказал, завалило при взрыве дота, и он потерял сознание. Может быть, потому немцы и решили, что в доте все погибли, поскольку не слышали ни криков, ни стонов... К ночи Николай пришел в себя, выбрался из-под обломков и пополз по полю к поселку. Идти он не мог: правая нога у него отнялась.

Мы забинтовали Николаю грудь, переодели его во все чистое, напоили горячим сладким чаем — от еды он отказался — и решили спрятать в единственном более-менее надежном месте — в подвале под сараем, где мы прятались в дни боев. Снова перенесли туда матрац, постельное белье, кое-что из посуды. Вход в подвал отец замаскировал сеном, а для того, чтобы в убежище мог проходить воздух, прокопал дыру. Боясь обыска, военную одежду Николая мы закопали в глубокую яму во дворе, смыли кровь с крыльца. Мы знали (об этом говорил приказ немецкого коменданта), что за укрывательство советского офицера фашисты могут расстрелять всю нашу семью. «Може, треба его замельдовать?» — спросил у меня отец. Но что значило замельдовать, то есть зарегистрировать Николая в немецкой комендатуре? Это значило обречь его на верную смерть: он же был не только командир и коммунист, он был тот самый ненавистный «дотовец», который причинил фашистам столько бед. Я так посмотрела на отца, что он, вероятно, оробел от моего взгляда и больше не обращался ко мне с подобными вопросами.

Страх? Да, я не героиня, а обычная женщина и страшилась расправы. Но все искупала радость встречи с любимым. Я была счастлива, что снова вижу его, вижу, как он начинает поправляться, как у него появляется аппетит, сходят черные пятна с лица, как блестят его глаза, с какой благодарной нежностью он держит в своей руке мою руку. Я готова была сидеть возле него часами — он стал моим вторым ребенком и даже, как мне иногда казалось, более дорогим, чем первый. Часто, чтобы не отлучаться от мужа, я приносила к нему в подвал сына, и это были минуты большого нашего счастья. Мы забывали, что сидим под землей, что вокруг враги, которые могут в любой момент обнаружить нас, подвергнуть пыткам, убить...

Я знала, что моему счастью скоро придет конец. Николай говорил мне:

«Вот отойдет нога, смогу ходить — и уйду на восток, к нашим».

Удерживать его было бы бесполезно. Такой человек, как он, если уж что решит для себя, то никакие уговоры не помогут. Поэтому я и не отговаривала его, только вздыхала.

Приполз он к нам ночью первого июля, а через неделю уже начал вставать и, пригнувшись, ходить по подвалу. Три шага от стены до стены, но и этот путь он преодолевал с трудом, волоча онемевшую ногу. «Так ты далеко не уйдешь, надо лечиться», — говорила я, понимая, что лечиться ему негде: врача сюда, в подвал, не позовешь. Но Николай решил лечиться сам. Целыми днями он массировал больную ногу — пощипывал, разминал мышцы. «Я буду ходить, как прежде, вот увидишь!» — упрямо повторял он. И что же вы думаете: уже через пять-шесть дней он перестал волочить ногу. Теперь подвал стал для него мал. «Я хочу пройтись по двору», — сказал мне Николай и попросил разведать, нет ли поблизости немцев. На счастье, их не было. Квартировавший по соседству унтер со своей командой куда-то уехал, во всем поселке остался один немецкий жандарм, который жил далеко от нашего дома, у самой станции.

Ночью Николай поднялся из подвала, я взяла его под руку, и мы стали прохаживаться взад-вперед по двору. Была теплая, лунная ночь. Ярко светили звезды. Вдруг одна из них упала. «Загадай желание», — сказала я Николаю. Он улыбнулся: «Ты мое желание знаешь». — «Поскорей уйти на восток?» Вероятно, в моем голосе ему послышалась обида, и он вдруг остановился, прижал меня к груди, погладил по голове. «Еще мне хочется, — тихо сказал Николай, — если я погибну, чтобы ты приходила иногда на мою могилу». Я закрыла ему рот ладонью. «Не смей даже думать о смерти!» Он кивнул и молча поцеловал мою руку.

Прошло еще несколько дней, и Николай впервые попробовал ходить без моей помощи. Ходил и все смотрел на часы, считал шаги.

«Я должен делать сто шагов в минуту», — говорил он.

Можно было удивляться его упорству. Бывало, ходит взад-вперед от сарая, что за огородом, до ворот без передышки, весь покрывается испариной, лицо бледное, губы сжаты, но в глазах какое-то бесовское выражение, слов-

но хочет доказать кому-то, что добьется своего. А накануне того дня он с радостью сказал, что делает семьдесят шагов в минуту. «Еще немного, Лена, и можно в поход!»

Помню, эти его слова больно кольнули мне в сердце. И вдруг пришла в голову мысль: а что, если я пойду вместе с ним? Ведь я же не буду ему обузой, наоборот, мне — женщине, легче и добыть пищу в дороге, и разведать, есть ли в том или ином селе немцы... Набралась храбрости и сказала об этом Николаю. Он даже онемел от удивления. «Вот не думал, что ты могла бы решиться,— наконец проговорил он.— Ну а как же быть с нашим сыном?» — «Оставлю у родителей»,— ответила я. Мой Володя уже тогда был на искусственном питании: от пережитых волнений у меня пропало молоко. «Так какая же разница,— думала я,— будет малыш на моем попечении или на попечении мамы». Но решила пока до последнего момента ничего не говорить родителям, которые наверняка сочли бы меня сумасшедшей. Я знала, что они скажут, в каком будут ужасе. Но такой был у меня тогда решительный характер. Или была такая любовь...

И вот настал тот день — семнадцатое июля. Утром я принесла Николаю в подвал завтрак, он с аппетитом поел и почему-то захотел побриться. К тому времени у него отросла большая черная борода, и он совсем стал походить на цыгана. Еще посмеялся: «Как из табора, только серьги в ухе не хватает». Мы уже знали, что фашисты истребляют цыган, как и евреев, и Николай, видимо, решил сбросить свою смоляную бороду, чтобы потом в дороге его внешность не так бросалась бы в глаза. Я пошла домой, чтобы принести ему отцовскую бритву, помазок с мыльным порошком и горячую воду.

Здесь надо сказать, что я не особенно соблюдала осторожность, потому что немцев близко не было, а жители поселка редко ходили друг к другу: с момента оккупации все стали жить скрытно, замкнуто... И вот, когда вышла из дома с кувшином и бритвенными принадлежностями и уже пошла к сараю, то меня окликнули. Я замерла от страха, но, увидев, кто меня позвал, немного опомнилась и от сердца у меня отлегло. У калитки стоял знакомый хлопец наш же посельчанин Левко Круть, которого еще недавно, до войны, мы знали как

нашего молодежного активиста. Тихий и дисциплинированный, он состоял в совете местного клуба и часто дежурил на вечерах, ходил с красной повязкой на рукаве, не пускал на танцы выпивших и плохо одетых...

Мы поздоровались. «Ты по цо, Левко?» — спросила я. — «К твоему отцу за тютюном», — ответил он и подошел ко мне. — «А ты что, голярню открыла?» — Левко, усмехнувшись, кивнул на бритву. Я не растерялась и сказала, что дома у нас уборка и отец решил побриться в сарае. «Разумию», — сказал Левко и направился к дому, но я его опередила и попросила подождать на крыльце, сама сходила к отцу, взяла у него горсть табаку и вынесла Левко. Он поблагодарил и ушел.

Я решила, что Николаю незачем знать о приходе соседского хлопца. Мне казалось, что Левко ни о чем не догадался, хотя на душе и остался какой-то неприятный осадок от его усмешки. Но я отогнала опасения: уж кто-кто, а Левко не выскажет никому своих подозрений, даже если они у него и возникли.

Спустилась в подвал. Николай прибавил свет в лампочке, приладил на стене зеркальце и стал намыливать лицо. Помню, я ему еще посоветовала сохранить хоть немного бороду и усы, это поможет, когда мы пойдем, сбить немцев с толку: ведь они знают, что советские военнослужащие бритые. Николай похвалил меня за догадливость и сказал, что мне можно быть разведчицей...

Он брился, я смотрела не него. И вдруг над нами слышался топот сапог, дверь в подвал приподнялась, и в щель просунулось дуло автомата. «А ну вылезайте все, кто там есть!» — раздалась команда, сначала на немецком, потом на русском языке. Николай задул лампочку и схватил топор — единственное оружие, которое здесь было. «Ты выходи, а я останусь!» — сказал он мне и встал за стойку у лестницы. В его глазах сверкнула решимость. Нет, враги не взяли бы его живым...

Но тот же голос наверху повторил приказ, добавив, что если будет оказано сопротивление, то всех в доме расстреляют.

Тогда Николай отбросил топор и поднялся наверх. За ним поднялась и я. Наверху стояли с автоматами и винтовками наперевес четверо: немец-жандарм и трое полицейских из местных жителей, двоих из них я знала. Один, уже немолодой, имел когда-то, до прихода Сове-

тов, свой склеп, то есть магазин, который у него отобрали. А другой... другой был Левко. Теперь он стоял, не улыбаясь, с таким же серьезным и строгим выражением на лице, как раньше, когда наводил порядок в клубе. Только теперь у него на рукаве была не красная, а белая повязка, как и у остальных полицаев.

Николая увели, даже не дав попрощаться с сыном. Я видела, как он шел, ковыляя, с непокрытой головой, в старом отцовском пиджаке с заплатой на локте, и слезы лились у меня из глаз. Мне хотелось броситься вслед за ним, разделить его участь. Уже в конце улицы, у поворота он оглянулся и помахал мне рукой. Он словно пытался меня ободрить...

Не могу передать, что творилось у нас в доме, какой переполох. Мои родители дрожали от страха, что теперь немцы заберут и расстреляют нас всех. Отец поспешил вынести из подвала все вещи, предупредив меня и мать, чтобы мы не признавались, что прятали Николая, а говорили, будто бы он скитался неизвестно где и только в этот, последний день заглянул проведать жену и сына.

Однако нам повезло. Немцы почему-то не только не забрали нас, но даже не пришли с обыском. Несколько дней мы не смыкали глаз ни днем, ни ночью, но опасность миновала нашу семью. А может быть, отец дал жандарму или полицаям взятку. Но я была тогда в таком состоянии, что не думала ни о чем, кроме как о судьбе Николая.

Наконец моя мать не выдержала, видя, что я хожу сама не своя, и призналась под большим секретом, что отцу удалось узнать, вероятно, от того же жандарма или полицаев, будто Николая по распоряжению коменданта отправили в лагерь военнопленных. Представьте, как я обрадовалась. И решила, не говоря ничего родителям, сама пойти в комендатуру и добиться разрешения на свидание с мужем.

«Он жив, жив!» — ликовало мое сердце. Ведь я была уверена, что его расстреляют. Но немцы, верно, не дознались, что он не простой солдат, а командир. А Левко смолчал, получив от отца куш...

В комендатуре мне никто не мог сказать, в каком лагере находится Николай Дмитриев. И тут я подумала, что при допросе он мог и не назвать своего настоящего

имени. Но как я теперь его найду? Пришлось долго упрашивать чиновника из комендатуры разрешить мне посещение окрестных лагерей. Я говорила, что мой муж местный житель, но в армию его призвали в первые дни войны, что он контужен и не может ходить — одним словом врала, пытаюсь разжалобить немца. Наконец мне удалось: чиновник выписал пропуск.

Как на крыльях летела домой. По дороге забежала в костел, помолилась, веруя, что бог поможет моим поискам, даже зажгла свечку перед святой Магдаленой — моей покровительницей. Дома, конечно, не удержалась, показала родителям пропуск. Те только руками замахали: «Сама себя, сказали, за проволоку хочешь упрятать, не выпустят они тебя из лагеря!» Но разве я их слушала! Быстро напекла лепешек, наварила яиц, отрезала большой шматок копченого сала, завернула все в хустку, выпросила у отца теплую комзолку, чтобы мой Николай не мерз по ночам, насыпала в мешочек табаку и в путь.

Ближайший лагерь находился на другой стороне города, в Засанье. Туда я и пошла. Лагерь мне представлялся чем-то вроде тюрьмы, где пленные живут в камерах. Думала: пройду по камерам, и Николай увидит меня... Только все оказалось не так. Лагерь занимал огромную поляну, обнесенную густой сеткой из колючей проволоки.

В домике у главных ворот меня принял начальник лагеря — пожилой эсэсман, лысый, с седыми висками, но в небольшом чине, судя по лычкам на мундире. Он взял мой пропуск, повертел его в руках, потом насмешливо оглядел меня. «И кто ж есть твой пан,— спросил он,— генерал или комиссар?» Я ответила ему то же самое, что и чиновнику в комендатуре. «Что ж,— эсэсовец милостиво кивнул,— иди, ищи его, если хочешь. Но свой узел оставь здесь, мы еще проверим, что там есть».

Он вызвал полиция и сказал, чтобы тот сопровождал меня. Мы прошли через две маленькие калитки, оплетенные колючей проволокой, и контрольный пост и очутились в лагере.

Теперь я увидела этих несчастных собранных здесь людей не издалека, а вблизи.

Сколько часов я провела в лагере — не знаю: может, час, а может, полдня. Но почувствовала, что мои силы

на исходе, еще немного, и я упаду. Николая нигде не было видно. Думаю, что он заметил бы меня. Так я и ушла ни с чем...

В комендатуре мне сказали, что многие красноармейцы и командиры, попавшие в плен в районе Перемышля, находятся в другом лагере — в городе Санок. Я решила отправиться туда. На беду, в пути меня застал сильный дождь, мне некуда было спрятаться, и я добралась до Санока вся мокрая, босая — туфли пришлось снять и нести в руках.

То, что я увидела в лагере в Саноке, было еще страшнее, чем в Засанье. Стена из проволоки окружала глинистое поле, все в каких-то ухабах и ямах. Ливень превратил поле в подобие болота, и пленные сидели и лежали под открытым небом, вставать им, как и в первом лагере, без команды не разрешалось.

Я растерянно озиралась, и мой взгляд повсюду наткнулся на глаза, в которых застыла немая мольба. В руках у меня был узелок с едой — здесь мне разрешили пронести его в лагерь, и я отдала бы им все, что было в узле, если бы еще не надеялась встретить здесь Николая. Но нигде не увидела его, хотя обошла весь лагерь. Начало темнеть, и полицай повел меня к лагерным воротам. Улучив момент, когда он отвернулся, я сунула узелок кому-то из узников...

Много лагерей я обошла — была в Стрые, в Дрогобыче, и все напрасно. Мой Николай как в воду канул. Мне не верилось, чтобы он, увидев меня, не объявился бы... Но кто мог сказать, что с ним случилось, если ему пришлось назвать себя чужим именем? Те, кто его арестовал, вероятно, соврали отцу, чтобы успокоить меня. А может быть, он даже умер в лагере? Я гнала от себя эту мысль: ведь однажды я уже похоронила его в душе, а он пришел, так же может прийти и теперь. Часто просыпаясь по ночам, прислушивалась к каждому звуку — к порыву ветра, к скрипу ставен, к шуршанию мыши под полом... И снова мне чудилось, что мой любимый — истощенный, обессиленный — лежит у порога. Я вскакивала с постели, подбегала к двери, но за ней было пусто. Иногда он снился мне и всегда таким, каким был до войны: здоровый, красивый, улыбающийся... «То недобрые сны!» — твердила мать, и я плакала: в несчастье становишься суеверным... Бывали минуты, когда мне

хотелось умереть, наложить на себя руки от тоски и отчаяния. Но надежда, пусть слабая, что Николай все-таки жив, меня останавливала... И маленький сын был лучиком радости, он все больше походил на отца — так же сдвигал свои темные бровки, когда сердился, так же смотрел исподлобья черными глазенками, так же неожиданно широко улыбался, показывая первые прорезавшиеся зубы.

Прошел год, за ним другой. Говорят, что время способно залечить любую душевную рану... И я не умерла от горя, значит, и моя рана оказалась не смертельной. Но что-то во мне изменилось, будто я постарела сразу на двадцать или даже больше лет. Мои кожанки — а среди них были такие, кто, как и я, потеряли мужей — постепенно опомнились от горя. Война войной, но ведь она шла где-то там, вдали от наших мест, а здесь, в глухом тылу люди жили по-разному: одни уходили в леса, в партизаны, а другие уживались с немцами — работали на фабриках и в мастерских, а по вечерам ходили в казино, на танцы. «Живи, пока живется!» — рассуждали некоторые из моих кожанок и тоже, может быть, из лучших побуждений, чтобы развеять мою тоску, приглашали меня в кино или в дансинг. Но все их уговоры были напрасны. И постепенно все мои сверстницы махнули на меня рукой.

Летом сорок четвертого года Красная Армия и польские войска генерала Берлинга освободили Перемышль от фашистов. Здесь у меня мелькнула последняя надежда, что, может быть, Николаю все же удалось в свое время бежать из плена, он пробрался на восток, к своим. Я ждала его весточки. Но ее не было. Ждала, что придет кто-нибудь из товарищей Николая, который знает о его судьбе, но тоже напрасно.

Однажды — это было поздно вечером — к нам в окно кто-то постучался. Отец вышел со свечой в сени, отпер дверь и вернулся в дом — с кем бы вы думали? С Вацеком! Да, с тем самым Вацеком, который когда-то ухаживал за мной, а потом, узнав о моей любви к Николаю, куда-то исчез...

Сейчас Вацек был одет в польскую военную форму. Он рассказал, что летом сорок первого года, в первые дни войны, был призван в Красную Армию в железнодорожные войска, затем его отправили в глубокий тыл,

куда-то на Урал, где он занимался перевозками к фронту различных военных грузов. Потом, когда стали формироваться польские воинские части, его перевели в одну из них. Сюда, в Перемышль; он вернулся уже бывалым солдатом, прошедшим с боями от самого Днепра.

Мы сидели и пили чай с печеньем, которое принес Вацек, даже выпили по глотку водки из его фляжки. На столе горела свеча, и я видела, как по-прежнему блестят глаза Вацека — то ли от моих печальных вестей, то ли от радости, что он снова в нашем доме.

«Не надо быть такой понурой! — говорил мне Вацек. — Скоро войне конец, придет на землю покой, и все дурное канет в прошлое. А для меня, — добавил он, — война, я мыслю, уже закончена. Нашу часть оставляют в Перемышле восстанавливать железнодорожный узел».

Вацек стал приходить к нам почти каждый день и обязательно что-нибудь приносил — то банку варенья, то кулечек конфет. «Это не тебе, это Владимежу», — так по-польски он называл моего сына. И мальчик привязался к нему, ждал с нетерпением его прихода. Придет Вацек, он тут же заберется к нему на колени, рассматривает пуговицы на мундире, всякие нашивки. А какое удовольствие доставляло ему расхаживать по комнате в Вацековской конфедератке! «Ты его балуешь», — как-то сказала я Вацеку. Тот засмеялся и спросил меня как бы в шутку: «Ему это приятно. А тебе?» — «Мне тоже. Но я мать». Тогда Вацек как-то странно посмотрел мне в глаза и тихо сказал: «А я хотел бы быть его отцом».

Вскоре Вацек сделал мне предложение. «Я больше никогда никого и не полюблю», — были его слова, которые он мог бы и не говорить. Я понимала его: сама не способна любить дважды. Но теперь мне было не восемнадцать лет, жизнь научила меня ценить добрые чувства — ведь это не так часто встречается. К тому же Вацек хорошо относился к моему сыну. Но образ Николая все еще стоял перед глазами. Я ответила Вацеку, что дам согласие только в том случае, если буду убеждена в смерти мужа. Решили ждать до конца войны...

Однако война кончилась, а я все тянула со сльобом — у русских это называется свадьбой, все бегала на станцию, через которую шли поезда с запада, спрашивала у военных, у освобожденных из лагерей, не встречал ли кто-нибудь Николая Дмитриева, показывала его

фотографию, описывала приметы... Нет, о нем никто ничего не знал. И никакой весточки не получила. Только осенью, когда через Перемышль прошел последний эшелон с военными, послала запрос в Москву. Оттуда ответили, что лейтенант Дмитриев числится в списках пропавших без вести и сведений о его местонахождении не имеется.

Когда я вышла замуж за Вацека? Числа уже не помню, но помню, что это было где-то в начале зимы: вот так же выпал первый снег и светило солнце. По желанию родителей мы венчались в церкви, потом все — и родители, и гости — поехали в ресторан, где было много приятных речей, и все нас с Вацеком благославляли на долгую и хорошую жизнь...

С того прошло двадцать лет. Не могу гневить бога: живем мы с Вацеком дружно, муж он, как говорят у нас, пыльный — чуткий, внимательный, у нас трое детей — три дочки, старшей шестнадцать лет. Работает Вацек на железной дороге старшим мастером — на работе его ценят, уважают. Достатка особого, как видите, в доме нет — три девочки, их надо одеть, обуть. Родители мои умерли, все хозяйство на мне. А где сын? Тут же, в Перемышле — окончил бухгалтерские курсы, работает, женился, скоро я, наверное, уже бабушкой стану... Да, видом он весь в отца, хотите покажу?

Женщина достает из комода две фотокарточки. На одной, так называемой, «кабинетной», сидит, положив ногу на ногу, и впрямь цыганского вида лейтенант — жгуче-черные глаза пристально, упрямо смотрят из-под разлетающихся бровей, кучерявый чуб зачесан на левое ухо, в белозубой улыбке есть что-то дерзкое, бесшабашное.

На маленькой карточке — сын. Те же глаза, те же брови, тот же короткий с горбинкой нос... И все-таки есть различие: черты у сына неуловимо мягче, расплывчатее что ли, словно у бледноватой копии, сделанной с яркого оригинала.

— И зовут его Владимир Дмитриев — поинтересовался я.

— Да,— ответила женщина.— Вацек предлагал дать ему свою фамилию, но я не решилась. По цо?.. *

* Зачем (польск.).— Прим. авт.

Она не договаривает, но мы догадываемся, она не захотела, чтобы прервалась живая связь с прошлым — с ее первой и, может быть, единственной любовью, с первыми семейными заботами о том малыше, который был когда-то их общей радостью... Вероятно, и Вацек это тоже понимал: он относился к чужому сыну так же нежно, как к собственным дочерям, и не настаивал, чтобы усыновить мальчика.

Магдалена признается, что ко второму мужу у нее с годами возникло чувство привязанности, душевной симпатии, общности семьи, интересов.

— А все же счастливым, я мыслю,— задумчиво говорит она,— человек бывает только в молодости... То есть таемница, тайна, что все прошлое помнится до минуты, а настоящее забывается. И я удивляюсь: сколько лет минуло с той поры, а у меня в душе живет каждое его слово — от самого первого, когда он пригласил меня в дансинге, и до последнего, когда его арестовали...

Она собирает фотографии и, задержав взгляд на карточке своего бывшего мужа, вдруг спрашивает:

— Скажите, а вы правда напишете о том, что я вам поведала?

И, не дожидаясь ответа, словно умоляя, заглядывает мне в глаза, говорит быстро, краснея и задыхаясь:

— Ведь все может быть, да? Я читала про одного военного, который был сильно хворый и не вернулся к семье... О, если бы с ним так было — разве я колебалась бы хоть минуту — принять его или нет? Всю жизнь буду его дочекать. И если жив — пусть знает... про меня... про сына... пусть.

В передней чей-то тонкий голосок зовет мать.

Женщина торопливо вытирает слезы, прячет фотографии в комод и выходит из комнаты.

— Дети проснулись,— говорит она, снова входя.

Провожая нас, пани Магдалена желает мне счастливого пути.

Когда мы ехали обратно, то еще долго стояли перед глазами высокая женщина с тонкими чертами бледного и грустного лица, разрушенный дот, присыпанный первым снегом, и красный цветок на снегу, как капля крови... А душа наливалась болью за чужую судьбу. Еще одна судьба, еще одна повесть из несобъятной книги подвигов и страданий, имя которой — война.

НА ВЕЧЕРНЕЙ ПОВЕРКЕ

(вместо эпилога)

— Поздно мы стали встречаться, поздно! — говорил незадолго до своей кончины генерал Ильин.

Человек кипучей энергии и большого ума, он был одним из тех, по чьему почину состоялась в середине шестидесятых годов первая встреча перемышльцев в Киеве. Здесь были все, кого удалось отыскать по городам нашей необъятной страны,— спустя четверть века после тяжелой и героической страды. Все, кто остался в живых, кто откликнулся...

Объятия, слезы, радость узнавания боевых товарищей — все это не могло не тронуть каждого, кто был свидетелем встречи. Особенно трогательным бывает всегда самый первый момент. Вот два пожилых человека идут навстречу друг другу по тенистой улице возле серого здания окружного дома офицеров — идут не спеша, словно насторожившись, и вдруг с каким-то только им понятным возгласом бросаются, широко распахнув объятия, и целуют друг друга: «Ты? Неужто? Жив... Жив! Ну слава богу! Да где ж ты был все это время?!»

Видя такое, у кого не дрогнет сердце!

Но имелся в этой встрече и другой, непреходящий смысл — она пополнила историю новыми интересными фактами. Ну кто, например, мог знать, что пропавший без вести в первые дни войны лейтенант-пограничник Яков Николаев «преобразился» вскоре в польского партизана Чуваша, стал поистине грозой для гитлеровцев на оккупированной ими Люблинщине и героически погиб под польским городком Влодавой, оставшись навсегда в памяти людей, чью жизнь и честь он так отважно, так самоотверженно защищал? Бурными аплодисментами встретили собравшиеся оглашенный с трибуны Указ Президиума Верховного Совета СССР о посмертном награждении лейтенанта Я. Н. Николаева орденом Красного Знамени. И хотя многие уже прочли Указ в газетах, принадлежность героя к славной когорте защитников Перемышля стала известна впервые.

Приветствовали и еще одного пограничника, тоже считавшегося пропавшим без вести,— бывшего политрука знаменитой 14-й заставы — «заставы Патарыкина» —

Михаила Скрылева. К счастью, в документ вкралась ошибка. Скрылев попал тогда в другую воинскую часть, прошел славный боевой путь, награжден многими орденами и медалями. Отрадно было бывшим однополчанам смотреть на моложавого, собранного, еще не седого человека. Нет, бывший политрук Михаил Захарович Скрылев не только не «пропал» — он стал полковником запаса, кандидатом наук, воспитателем молодежи.

Узнали перемышльцы о поистине легендарной судьбе еще одного лейтенанта, зачисленного когда-то в списки убитых. Это был командир одной из укрепленных точек на левом фланге, возле городка Леско, молодой лейтенант Кривоногов. Тогда, в первые дни боев, фашистам удалось окружить наши еще полностью недостроенные доты, не имевшие надежной связи с командованием укрепрайона. Те из дотов, что не удалось взять штурмом, фашисты взрывали. Был взорван и дот Кривоногова. И разве мог кто-нибудь предположить, что тяжело контуженный лейтенант выживет, потом, едва окрепнув, снова возьмет в руки оружие и будет бороться, но уже в тылу врага. На счету у Кривоногова много смелых дел, но самое дерзкое — это побег с немецкого острова Узедом к своим на вражеском самолете. Тот самый легендарный побег, осуществленный летчиком Девятаевым, Кривоноговым и еще девятью узниками фашистского лагеря смерти за несколько месяцев до конца войны.

Примерно в то же время, что и Николаев, был награжден посмертно бывший перемышльский политрук Евгений Доценко. И тоже о его подвиге узнали много лет спустя после войны. Но если могила Чуваша находится поблизости от родной земли, у польско-советской границы, то прах Доценко погребен на другом конце Европы, в далекой Бельгии. Как это случилось? Товарищи, знавшие Евгения по совместной службе в 1-м стрелковом полку, рассказывали, как смело он воевал и в самом Перемышле, и под Уманью. А затем ранение, фашистский концлагерь, дерзкий побег и поиски тех, кто сражался против фашизма. Тайные лесные тропы привели Доценко и его товарища по побегу сначала в Голландию, затем в Бельгию. Там им удалось связаться с патриотическими силами Сопротивления. Бельгийские партизаны приняли советских бойцов в свои ряды.

И вскоре оценили их храбрость. Мы не знаем, владел ли Евгений к тому времени французским языком, или приходилось прибегать к помощи переводчика, но мужество, военная смекалка и благородство в бою понятны и без перевода. Бельгийцы и французы, составлявшие бóльшую часть партизанского отряда, выбрали советского коммуниста Доценко, по новой партизанской кличке Жана, комиссаром. За его голову, как и за голову Чуваша, гестаповцы назначили огромную сумму — полмиллиона франков! Весной 1944 года, всего за два месяца до прихода союзников, комиссар Жан погиб в сражении с карателями. Его похоронили на холме у живописного городка Комблен-о-Пон, поставили памятник с надписью на двух языках — французском и русском: «Слава тебе, Евгений Доценко из города Сталинграда!». Бывшему перемышльскому политруку, а после партизанскому комиссару Жану было тогда немногим более тридцати лет.

И что ни судьба, то легенда! Даже самые простые свидетельства вызывали удивление. В боях на Правобережной Украине героически погиб начальник 92-го Перемышльского погранотряда подполковник Яков Иосифович Тарутин. Четверть века спустя на встречу перемышльцев приехал из Москвы полковник Энгель Яковлевич Тарутин — сын погибшего командира пограничников. Он напоминал отца и внешне — высокий, красивый, с открытым лицом, и манерой держаться — скромным достоинством, неторопливой, спокойной речью. Его не просто признали «за своего», но и полюбили. Впрочем, он имел отношение к Перемышлю не только как сын бывшего начальника погранотряда, в сорок первом году — школьник, эвакуированный из-под огня, но и как бывший молодой лейтенант, участвовавший в освобождении этого города летом сорок четвертого года.

И Калякин Александр Михайлович, бывший сержант-пограничник, участник знаменитого контрудара 23 июня 1941 года, вернулся сюда вместе с войсками только уже офицером через три года и одним из первых стал разыскивать могилы боевых друзей. Четверть века потребовалось для того, чтобы открылись многие тайны войны, в том числе и эта. Собирая по крупице факты, документы, свидетельства местных жителей, установили наконец подлинные места погребения останков совет-

ских воинов. А еще через некоторое время Александр Михайлович и его товарищи имели возможность увидеть памятник, поднявшийся на берегу Сана у легендарного места первого боя советских пограничников Перемышля с гитлеровцами.

Фотография молодого мужчины, темноволосого, в кителе без погон, с боевыми наградами на груди — Валентина Степановича Убыша. Он был начальником физподготовки 92-го погранотряда. Вскоре после первой встречи ветеранов он прислал письмо с описанием боев, которые вели защитники Перемышля на других фронтах, где он участвовал сам. Сразу после войны Убыш стал работать учителем.

И Убыш, и Патарькин, и бывший старшина Привезенцев, вернувшийся после войны в родное депо, машинистом, и многие из героев Перемышля, прошедшие с честью пути-дороги величайшей из войн, не требовали для себя отдыха: они сразу принялись за работу — восстанавливали разрушенное войной хозяйство, растили и воспитывали детей, убирали хлеб, водили поезда... И в этом тоже была своего рода дань памяти павшим в боях.

Песни, стихи, книги... Так бывает лишь тогда, когда время дает возможность увидеть подлинное величие подвига. Проходят годы, уходят люди, но остаются свидетельства, из которых рождается вечное — Эпос.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ОГНЮ	3
В НАЧАЛЕ ДНЯ	131
ДВОЕ ИЗ ДОТА	170
МЕДЫКСКАЯ БАЛЛАДА	207
НА ВЕЧЕРНЕЙ ПОВЕРКЕ (вместо эпилога)	235

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

ПЕСНЬ О ПЕРЕМЫШЛЕ

Повести

Заведующий редакцией *Г. М. Некрасов*
Редактор *В. Н. Курбатов*
Художник *А. Г. Тюрин*
Художественный редактор *Г. Л. Ушаков*
Технический редактор *З. И. Сарвина*
Корректор *Е. Н. Непомнящая*

ИБ № 813

Сдано в набор 18.09.80. Подписано в печать 23.03.81. Г-44601. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л. 12,60. Уч.-изд. л. 12,98. Тираж 100 000 экз. № заказа 1531. Цена 85 к. Изд. № 3/2102.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР
129110, Москва, И-110, Олимпийский просп., д. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, Минск, Ленинский просп., 79.

